

К 1168613

Иван Бодрёнков

СЛЕДЫ ЖИВЫЕ



Иван
Бодрёнков

**СЛЕДЫ
НИВЫЕ**
повести, рассказы



Архангельск
Северо-Западное
книжное издательство
1991

84P7
Б75

ISBN 5-85560-171-4

© Северо-Западное книжное из-
дательство, 1991

ПОВЕСТИ

СЛЕДЫ ЖИВЫЕ

1. Воз

Редактор Иван Иванович отвел меня в сторонку:

— Купим тебе брюки, Илюхин. Сотруднику газеты неловко показываться на людях в таком виде.

У меня едва-едва хватило бы денег разве только на кепку, и я ответил уклончиво:

— Столько дела! Лучше в другой раз.

Он истолковал мой отказ по-своему:

— Ага, вижу, и сапоги у тебя не сапоги, а опорки. Но с этим придется обождать. У меня у самого, гляди, неважные, и купить негде. Дай срок, все будет, только ты от нас не удирай.

А я твердо надумал уйти. Все мне осточертело тут: шаткий, залитый чернилами стол, хриплый приемник «Рекорд», секретарь редакции Алешка Коноплев, рябой большерукий мужлан, от которого постоянно за версту несет пивом. Он никогда не правит чужих заметок, зато без конца строчит свое. При этом упрямо не признает точку с запятой, уверяя, что точка и запятая существуют лишь каждая сама по себе. Когда я ему сую под нос книгу, он не глядит:

— Нечего! Опечатки бывают не только в нашей газете.

Весь долгий день он видит одного меня:

— Марш, Илюхин, вниз за оттисками!

— Почему застрял неизвестно над чем? Читай свежую колонку! Запроси по телефону, выправь, запиши...

К тому же у меня не клеилось с четой Пироговых. Востроглазая Паша должна с утра пораньше записывать радиоинформацию. Но за все время — а она здесь около года — Паша так и не узнала, как включить при-

емник. Я же, по ее милости, с рассветом встаю и позже всех покидаю редакцию. В конце дня у меня рябит в глазах.

Что может быть нуднее долгой диктовки?

— Внимание, внимание! Передаем информацию для районных и городских газет-т... Заголовок. Полевой заслон. Повторяю: Полевой заслон-н... Даю по буквам: Пелагея, Ольга, Леонид, Елена, Василий...

Впрочем, с Иваном Ивановичем мне неохота расставаться: он мягок и доброжелателен, и не только ко мне. Недавно он обмолвился, что ни дня не сидел за партой — читать и писать научился самостоятельно. «Умешь ли ты пахать землю, Илюхин? Мне было одиннадцать, когда отец подвел меня к плугу: паши, Иван...»

Когда я, набравшись смелости, объявил об уходе, он пристально поглядел на меня и с холодком сказал:

— Не смею удерживать, только прошу повременить месяцок. У нас же не остается ни одного сколько-нибудь грамотного сотрудника.

— А Коноплев? — невольно вырвалось у меня.

— Что Коноплев! — досадливо пробормотал редактор. — Вчера он такое отмочил!

В редакции все знали, что в спешке Коноплев испортил передовицу чужеродным абзацем. Иван Иванович ждал внушения свыше.

От редактора я вышел в общую комнату, где в одиночестве сидел корреспондент Нил Одинцов. Писать для него — сущая каторга. К нам он попал вынужденно. В районной торговле, где он служил раньше, обнаружилась растрата. Прямой вины Одинцова не нашли, но с торговлей ему пришлось проститься. Необычные, чуждые его натуре обязанности вынуждали его мотаться по селам и деревням. В редакцию он возвращался обессиленный, похудевший, с запавшими глазами. Писал скупо, медленно и неопределенно. Из опасения, что Коноплев засмеет, бедняга Одинцов мне первому показывал свои записи и жаловался:

— Этакая чертовщина, брат!

— Возможно, ты и в Печах не бывал? — изумлялся я, видя на бумаге всего-навсего несколько плохо связанных между собою слов.

— Как не бывал, ты что, Илюхин? Заглянул всюду, многих порасспрашивал, заночевал даже, но не пишется, хоть тресни. Смотрю, как мужики трудно живут, как

пашут, сеют, празднуют, женятся, плачут... Но надо-то из головы, а не о живом Петре или Ульяне, словом, для примера надо. Я так понимаю. А Петр в примерные не годится, он жену бьет.

— О Петре хочешь? Режь о Петре, как есть, без утайки! — требовал я.

— Как есть? — пугался он. — Хорошо ли, Илюхин? Мне ж в Печи и еще придется.

— Струсил? — торжествовал я. — Как это можно? Пиши, нечего мямлить!

Перед тем как уволиться, чтобы мое место не пустовало, я посоветовал Ивану Ивановичу:

— На корректуру можно бы посадить Пашу Пирогову, грамоты хватит.

Редактор недоуменно поглядел на меня:

— Только и не хватало легкомысленной Паше доверить корректуру!

— Но кого-то все равно придется.

— Постой, а где ты живешь? — вдруг участливо спросил Иван Иванович.

— Нигде.

И то была чистая правда: постоянно я нигде не жил. За жилье, даже самое бедное, надо было немало платить, а у меня никогда не было денег. Поначалу я ночевал у знакомых моего сонинского дедушки Герасима, но мой обтрепанный вид не внушил старикам доверия. Просился я во многие дома, и лишь на окраине нашлись добрые люди — поместили на время в холодных сенях. Я радовался, когда в редакции запаздывали гранки: в ожидании можно было подремать в тепле. Прочитав и поправив, я нес их вниз, к печатной машине — старому ручному чудовищу, громыхающему подобно пустой телеге на кочковатой дороге. Под утро я выбирался на воздух, бродил, полусонный, по улицам до начала дневной работы. Нигде ни души. Стучали доски под ногами. Дома то взползали на холм, то бежали под уклон к запавшей в берега речке Тёше. Холодок взбадривал.

За мною следом в редакции появлялся Алешка Коноплев — свежий, выпавшийся, казалось, еще пополневший. Он баловнем жил при отце с матерью. Что ему чужие заботы? Говорил он всегда свысока и с подко-выркой.

— За ночку у тебя, Илюхин, надо полагать, стих вылился на бумагу? Может, даже фельетончик, а?

У меня ничего не вылилось, кроме единственной строчки: «Мой дом велик и строен...»

— Дом?! — широко ухмыльнулся он, выслушав меня. — Да откуда ты взял такой дом? Ага, тебе хочется пожить в таком доме! Мечты и грезы, Илюхин. Хватал бы лучше, что лежит рядом, как я, как другие. Верь, писателем тебе не бывать, а грезы тебя заведут, ой, заведут! Попомни!

От его угроз мне стало не по себе.

Он подозревал, что я сплю и вижу, как бы выбиться в писатели. Пусть подозревает! Я был уверен, что Коноплеву не придумать подобной строчки. Чтобы меня подзадорить, он на том же листке написал: «Грядущая посевная увенчается полным успехом!»

— Каково?

— Набор чужих слов. Недавно диктовали по радио, ты запомнил.

— А ну, к редактору!

Однако Иван Иванович не стал читать ни того, что написал я, ни того, что написал Коноплев, а доброжелательно у меня осведомился:

— Где ночевал?

— Уйди я на ночлег, газета опоздала бы к утру, — ответил я.

Редактор перевел глаза на Коноплева:

— Почему, секретарь, много лишнего повешено на Илюхина? Не умеет отказаться, поэтому, да? Где Пироговы, где Одинцов? И вообще, кто чем у нас занимается?

Но редакторской пылкости Коноплев ни капельки не боялся: знал, той же минутой Иван Иванович остынет. Мне бы гордиться, что я один везу такой воз, а у меня слипались глаза от ежедневного недосыпания.

Едва Коноплев исчез, Иван Иванович начальнически строго сказал:

— Отныне хватит день и ночь торчать в редакции. Работай столько же, сколько и все. А где обедаешь? Опять нигде? Сегодня ко мне домой пойдешь. Чур, не отказываться!

С похолоданием мне самому пришлось заботиться о теплом ночлеге.

В трех верстах от города жила тетка Анна, сестра моей матери. Жила бедно — другой такой бедной избы не найти было во всей деревне. И стояла изба не в общем ряду, а на задворках. Зимой в ней было разве лишь чуть теплее, чем на улице. Я давно пообещал тетке подбить венцы куделью, но все еще не выкроил ни дня. Еда у тетки, хоть в будни, хоть в праздники, — картошка. То мятая, то нарезанная кружочками, то в мундире. Мое городское занятие оставалось для нее туманным. Она рассуждала просто: какое бы ни занятие, а денег на безбедную жизнь у меня должно хватать, но я появлялся у нее в донельзя изношенной одежонке да еще никогда не отказывался от еды.

— Бросал бы ты свое недобыточное дело, Васька, — советовала она. — И шел бы к нам стадо пасти. Одних дойных коров три сотни. Вот тебе и доход.

Когда я за обе щеки уплетал картошку, тетка сидела на лавке и сурово глядела на меня. Внешне она была непривлекательна, мужского склада, с грубым лицом, и возможно поэтому осталась в старых девах. На судьбу, однако, не жаловалась.

— Найдешь доходную работу, можно и невесту выбрать, тебе, гляди, к восемнадцати подпирает, — рассуждала тетка. — На отца с матерью рассчитывать не след, может, приедут, а может, на стороне приживутся.

Дедушка Герасим, теткин отец, лет десять тому рыжий, а ныне седовласый, живший с нею в одной избе, тоже не понимал, что у меня за служба. Кто-то из своих деревенских уколол его: твой-де внук вовсю ругает людей в газетке — один лежебока, другой притворщик, третий еще какой-нибудь отщепенец. А имеет ли он, желторотый, на то право? Выждав момент, дедушка стал толковать об этом моем праве.

— Значит, народ бранишь, Васька?

— Бывает, дедушка, — признался я, стесненно себя чувствуя. — За плохое.

Он снисходительно ухмыльнулся:

— Откуда же тебе знать, что плохое, а что хорошее? Да и как ты смеешь ругать, к примеру, меня, ежели я старше тебя, почитай, на целых пятьдесят годиков? Я же долго при старом режиме жил! Вот наш кузнец, Савел Журавлев, — хороший иль плохой? Мужики похвалят — он кует безотказно, что кому надобно, то и сумеет.

А бабы, напротив, только клянут — он-де никудышный, озорник и ругатель. Видишь, а человек-то один... Умничаешь, Васька, и весь сказ. Одумайся! Был бы рядом с тобой отец, то же бы сказал. Нет у тебя настоящего дела. Воображаешь, будто пишешь от большого ума, а у кого ум большой, тот не станет разводить тары-бары, скажет по крайней надобности одно-два слова, а ты сам догадайся, что к чему. Догадался, стало быть, разумный человек, не догадался, нет в твоей голове твердого основания. В жизни, брат, так...

Дедушкины слова больно ударили по моему самолюбию. В них я усматривал умысел: дедушка, как и тетка Анна, не умел ни читать, ни писать и как бы оправдывал себя. Только прямо ему не скажешь это: его учила и хорошему и плохому долгая тяжкая жизнь.

Ночевка в дедушкиной избе мне нравилась. Одно неудобство — приходилось рано вставать, чтобы успеть на работу.

После двухдневного отсутствия в редакции Одинцов размышлял за столом, что и как написать о тележных колесах: в отдаленном чиргушском колхозе хватает лошадей, есть телеги, да вот беда — каждая вторая без колес.

— С чего бы ты начал, Васек, и чем кончил? — нутужливо кашляя, спросил он, не написав пока не словца.

— Начал бы с этого самого, в Чиргушах все есть: избы, лошади, телеги без колес, — ответил я. — И взять колеса негде. Кончил бы так: пора колеса самим делать.

— Хм, значит, самим? — переспросил он. — Ишь ты, как просто! А и вправду, давно ли делали сами? Пожалуй, выйдет у меня статейка.

— Давай начну.

Нам помешал поднявшийся снизу, из типографии, Иван Иваныч:

— Газета давно не видела твоего стиха, Илюхин. Ты что, забыл это свое дело?

Нет, я не забыл.

Мальчишкой мне довелось жить в глухом лесу, в дымном бараке, среди молчаливых трудовых людей. Гордый, ходил я однажды между ними и хвастался:

— Глядите, вот мое сочинение!

Хмурый набожный старик Кирилл, кутаясь в старую облезлую шубу, хотя в бараке было тепло, взял у меня листок и, шурясь, по складам прочитал: «Сосны да ели над рекой шумели...»

Мне хотелось, чтобы он всем показал: вот чего Васяка Илюхин придумал, ай-да молодец! Но Кирилл сухо пробормотал сквозь гнилые зубы:

— Складно. А про нашу вот эту жись ты сумеешь?

В обращении ко мне Ивана Ивановича я услышал: сумеешь?

Коноплев подхватил:

— Итак, Илюхин, ты нам выдашь наилучший стихок!

Он быстро писал не только о посевной и о починке тракторов. Недавно он приподнято вещал об инкубаторе. «Тысячи желтых комочков покидали белую скорлупу. И вокруг ни единой несущки! Можно не сомневаться, последуют новые чудеса. Даешь!» В таком же патетическом духе он прямо-таки кричал о закладке парка на бывшей соборной горке. «Стоило соединиться саженцам с матерью-землей, как их корешки начали жадно всасывать живительную влагу. Итак, в нашем городе есть парк, да, он есть! Сядь на лавочку, человек, отдохни!»

На стене, над мудрой головой Коноплева, висел бумажный портрет Бальзака. Когда спрашивали, чем привлёк Коноплева знаменитый писатель, он, не моргнув глазом, отвечал:

— Еще на школьной скамье я поклялся последовать его примеру. Верьте, я сочиню грандиозную драму!

Иван Иванович ошарашил меня:

— Садись за фельетон, Илюхин! Стихи подождут.

— У меня ж не выйдет,— в смущении пробормотал я.

— Надо, Вася, понимаешь, надо! Гляди, сергачская газета выдает фельетон за фельетоном, а у нас ничего, сухо.

— Пусть Коноплев...

— Опять суешь Коноплева. Пиши, будь добр!

В столовке я обедал с Коноплевым за одним столом. Довольный, он потирал руки:

— Говоришь, вынь да положь фельетончик? То-то, не задирай нос, стихотворец, спустись с неба на землю.

Но и соблазн был велик: дай я фельетон, и в нашей редакции у меня создалась бы некая монополия.

И вот я ринулся в бой за чистоту дворов и примазинных площадок, я совестил тех, кто портит облик города. «Водопады — великое творение природы. Они украшают землю, наполняют мощным гулом леса и горы. Только нам в пору сказать не о тех чудных творениях, а о мелких, обыденных, что создает сам городской житель...»

В тот день, когда плод моей фантазии появился на свет, я принимал восторги коллег. Паша Пирогова скакала на одном каблучке и отчаянно била в ладоши:

— Илюхин, браво! Смотри-ка что выдал! Это вам не грустные стишки. Браво!

— Какой творческий взлет! — дружески облапил меня ее супруг Геннадий.

А Одинцов откровенно позавидовал:

— Умеешь, сукин сын!

Только ехида Коноплев — ни слова, будто ничего не случилось.

Но после обеда в редакцию зашел пожилой взъерошенный человек, и напрямик ко мне:

— Возможно, вы полагаете, черт возьми, научили меня жить? — резко приступил он. — Нет, мальчик, я кое-где побывал и немало видел таких умников. Да знаете ли, что по вашей милости я слечу с работы? Служака Ромоданов спит и видит, как бы ко мне придраться. И вы ему оказали большую услугу. Кто поверит, что это из добрых намерений!

«Ну вот, дедушка Герасим прав, пожилого я вздумал учить уму-разуму», — пронеслось у меня в голове.

Да, то был Кандалаков — в фельетоне он стоял первым. В смущении я хотел объяснить, как было дело, но он, разгневанный, исчез так же неожиданно, как и появился.

Отношение ко мне изменилось моментом. Паша проществовала мимо, как бы меня не заметив. Ее Геннадий во всеуслышание сказал:

— Первый блин комом.

Одинцов не подсел ко мне с просьбами, хотя, как обычно, самостоятельно не мог написать ни строчки.

Коноплев торжествовал:

— И на стихах можешь сорваться, как сорвался на фельетонах.

Лишь Иван Иванович посочувствовал:

— Держись, Вася, оплеухи тоже бывают.

Встревоженный, в сумерках я отправился к Кандаलाкову. Жил он у казенного пруда в старинном обветшалом доме с деревянными круглыми колоннами по углам. Узкая крутая лесенка поднималась в сумрак. На пороге меня обдало духом детских пеленок. Единственное оконце у потолка светило слабо. Слышались детские голоса, хотя я никого и не видел. Когда глаза попривыкли, я различил на полу тройку ребятишек — мал мала меньше.

— Хозяина бы.

— Дедушка придет с минуты на минуту, — ответил грудной женский голос.

Вспыхнула потолочная лампочка. Комната большая, с высоким потолком, но выглядела бесхозным чуланом. По стенам на гвоздях висели в беспорядке полотенца, женские платки, детские штанишки и рубашонки. Проходу вперед мешали табуретки, кровать, чугунки на полу.

— Чей же он дедушка? — полюбопытствовал я.

Женщина рукою указала на детишек.

— Неизвестно, как бы мы жили, если бы не он. И полгода не прошло, как утонул в пруду мой муж. Мальчишку чужого спас, а сам не выплыл.

Пришедший вскоре Кандалаков как бы и не узнал меня.

— Из редакции.

— Ну-ну. С извинениями? Но дело сделано. Ромоданов сияет: совершенно, мол, правильно, мы ждали именно такого сигнала. Завтра я уже не работаю. Меня стукнули, но ребятишки... Деньги, думаю, примешаны.

— Деньги?! — Кровь бросилась мне в лицо.

— А так-то зачем бы?

Ушел я обескураженный. Дорогой мне слышалось: деньги, деньги...

Утром Геннадий Пирогов подошел ко мне прикурить, хотя отлично знал, спички могут быть у кого угодно, только не у меня. Паша испуганно вскрикнула:

— С ума спятил, Илюхин, глянь на часы!

Я не моргнул глазом.

— Он не помнит, Гена, он ничего не помнит! — распростерла руки Паша. — Пиши информацию! Сорвешь, что тебе будет?

Она всегда с угрозами. Ей не сказать тихо и просто: садись и пиши. Отныне меня та самая информация ничуть не касалась, хотя, судя по времени, диктор твердит:

«Даю по буквам...»

— Сама садись! — осмелел я. — Будь добра, садись и пиши, все равно придется. А то больно хитрая, на других верхом ездить.

— Нет, ты рехнулся, точно! — завопила Паша, зло поводя глазами. — На нем, видите ли, кто-то ездит, он лишку работает! Как же я буду?

— По штату.

Она топнула.

— По какому штату, ты что, в самом деле?

— Не прикидывайся! — Я тоже повысил голос. — Ты еще и корректуру на себя возьмешь.

— А ты?

— Буду сидеть над заметками. Ни стихов, ни фельетонов, я не писатель.

Паша оскорбленно поджала розовые губки, а ее сузившиеся глаза-щелки будто ничего не видели.

— Ненормальный!

Что дальше, угадывалось наверняка. Паша развонит, какой негодный человек Илюхин — за все берется, и ничего не умеет путем. Она вытащит из своего столика газету с моим плохоньким фельетоном и скептически спросит: да разве это фельетон? Коноплев ответит за всех: конечно же, это не фельетон, а бог знает что.

И я остыл, обмяк, отошел к приемнику, привычно отыскав волну, услышал:

— Даю по буквам: Тимофей, Ольга, Кирилл... Ток-к. Запятая.

В душе ругал себя за уступчивость.

Вечером я вышел вслед за Иваном Ивановичем. Отважился:

— От меня больше не ждите ни единого фельетона.

— Почему?

— Потому что я не писатель.

Мне подумалось, Иван Иванович расхохочется, а он, нахмурившись, осторожно взял меня за руку:

— Верно, Вася, ты не писатель, но что за связь меж-

ду фельетоном и писательством? Ты наш сотрудник. И вообще, мы достаточно возимся с тобой и готовы еще повозиться, только, прошу, не слишком разграничивай — тут мое, а там чье-то.

— Не вы ли сказали недавно, что мое прямое дело — заметки? — храбрился я.

— Прямое, но не единственное. У тебя уже самомнение. Нехорошо! А, впрочем, ничего, потрясет тебя жизнь на ухабах, как меня, как Одинцова, вспомнишь когда-нибудь наш разговор. Пока же мой совет — бери на себя побольше и не бойся, не переломишься. Обиделся?

Разойдясь с Иваном Ивановичем на площади, я свернул туда, где решил переночевать: затемно в деревню к тетке Анне не пойдешь. В старом городском саду пустует театр, а попросту, дощатый сарай со множеством скамеек. Ночлег без постели и уюта, но под крышей.

2. Надежда и Родион

Не так и плохи наши сельские дороги, если дожди выпадают короткие и не каждый день. Идешь не спеша едва проснувшимся от больших снегов полем. И кажется, видишь всю из края в край землю. Вон за той сизой горою должно быть непременно море, а за тем синим лесом, точно, белеют снеговые горы... А вот и деревня темным облаком расползлась по рыжевато-мускатному косогору. Однако надо тебе не в эту деревню и даже не в ту, что тремя верстами дальше, а в ту, что еще не видна. Впрочем, ты и сам не знаешь, в какой деревне тебя застигнет ночь. Только и знаешь, что ты неподалеку в такой же деревне родился.

Первым делом нужно правление колхоза. Как водится, с ним район связан телефоном, но провода оборвало весенней грозой, и когда починят, одному богу известно. А газета не может не оповестить, сколько гектаров вспахано в далеком колхозе, кто проложил первую борозду. Тебя манит крайняя изба, хотя ты и не знаешь, кто там. Может, вышедший из годов старик плетет лапти или орет во все горло оставленный без присмотра ребенок...

Дорогу я нарочно выбирал подлинней. В таком вот поле, еще не потеплевшем, но уже зеленом, живом, есть что взять птицам, и они носятся стаями.

Контору узнать легко — она под железом.

За считанные минуты взяв все нужное для газеты, я вышел к первой же попавшейся на глаза избе. Совсем голая изба: ни крыльца, ни двора, ни забора. И внутри ни души. Но вот из подпола показалась косматая бабья голова. Два больших косовато поставленных глаза смотрели не на меня, а куда-то в потолок.

— Бяда-то, все затопило, картошка плавает, ловлю, — донесся сипловатый утробный голосок. — Плохо одной-то.

— Приму и высыплю, — с готовностью сказал я.

— Неужто правда? Пособи коли. Мой-то ни за что не пособит.

Недолго мы работаем вместе — она подает тяжелое ведро, я высыпаю мокрую картошку на пол.

Голова над полом показалась целиком. Костлявые руки выпихнули худое тело, и я увидел оборванный подол сарафана, черные босые ноги.

— Петя? Ан нет, вижу, не Петя. Городской? Живу, видишь, как. К Макарычевым бы шел, они рядом. К ним все городские заходят и ночуют. У них табуретки белые и самовар ведерный новенький. А у меня ничего такого нет, я и воду грею в чугуне. И хлеб у меня с лебедой.

Лицо у бабы нестарое, но все в морщинах, глаза карие, крупные.

Велики наши села и деревни — тянутся по холмам версту, а то и две. То хмурые при непогоде и веселые при ясном солнышке; то народ толчется подле каждой избы, а то за весь день не увидишь человека. Велики они и своими печальями и своею буйной короткой радостью, непоправимыми бедами и малыми удачами. Никто не позовет: «Расскажу, а ты запиши все как есть». Всяк норовит отмолчаться или махнет рукой: «Зачем болтать лишку? Живем, и ладно».

С опаскою привык деревенский люд смотреть на бумагу. Протоколы, вызовы, квитанции, повестки, предостережения — все шло от бумаги, от ее таинственной и властной силы. Потому-то и говорят: «Живем...» А ты сам смотри на эту жизнь с холодком или с состраданием.

Но в руках у меня не было бумаги, ни о чем я не расспрашивал. А хозяйка, как видно, прониклась доверием еще и за малую мою помощь.

— Когда я надумала замуж выходить, тятенька ворчал: понапрасну ты, Надька, от нас трогаешься. Ныне

ты хоть и недосыта хлеба ешь, а все-таки живешь. А с тем бесом, Родионом, не будет у тебя ладу... Он чистый бес, мужик-от мой. Тятеньки я не послушалась. Какой у девки ум? Близкий да задний. Хватишься, ан поздно — брюхатая. Такая я в ту пору и ходила, брюхатая. Родион только поспит, и нету. Ничего не знает, ничего не видит, нечистый дух. Как стояла изба без двора, когда я вышла, так и поныне стоит. А у тятеньки я привыкла к жизни обдуманной, хозяйственной. Голая жись мне хуже горькой редьки... Пожила я, значит, так-то, и принялась своими бабьими руками уделывать. Топор да молоток с утра дотемна в ходу. Думаю, хоть козу да куренок завести. Какая жись в нищете? Хлевушок и поставила.

Она перевела дух, глядела на меня долго и внимательно, как бы спрашивая, а зачем же, мол, я перед чужим душой настежь распахиваю?

— Родион не то, что помочь, смеяться надо мною стал. Ты, баэт, Надька, самая настоящая несознательная дура и кулачка. Зачем же нам собственное хозяйство, ежели вскорости мимо нашей избы потекут молочные реки, а мы только и знай черпай молоко пригоршнями? И зачем нам куры, ежели казенных яиц навезут, сколько желательно? Мне смешно: а пока, до казенного, зубы, што ль, на полку? И все норовлю его к делу приспособить. Близкую родню я его знала: у него и отец такой был, и мать такая — всю жись молоко у чужих брали. А яйцо и не знали, чем пахнет. Да, стала приспособливать, а он не дается, упирается. Мы-де на разных горках с тобой стоим... Появилась у меня коза и три курицы. Родион вредить стал. Козу на посевы выпустит, кур выгонит на мороз. Мне бы на него пожаловаться, да знаю — самой же себе хуже: Родион при конторе вился, ловко языком болтать насобачился. Да еще с моим тяткой тяжбу затеял. Мне и говорит: твой тятка мошенник был, от верного наказания увильнул. Но постой, мы все равно его на чистую водичку выведем!..

— Мстит за что или по зависти? — полюбопытствовал я.

— Нет, опять же из озорства... И стал он тятенькой помыкать. Наболтает про него в конторе всякого вздору, про какие-то посторонние доходы, и на тятю добавочный налог навалят. А то в колхозе на невыгодную работу

поставят. И никакого стыда у Родиона — придет к тятке, вина требует: я твой зять, давай. Напьется, давай куражиться. Попрекает, будто тятенька надул его, приданого со мной не дал. А какое приданое, если я сама, без свадьбы, к Родиону в захудалую избу переселилась?

— Отец богато жил?

— Какое богатство? В урожайный год хлеба натягивали, без лебеды обходились. Лошадь, коровка... Родились у нас двойняшки. Жить бы да радоваться, а тут горе. Тятенька и думать про меня забыл: убежала, сама и знай, как жить... Родион из конторы приходит и свои фантазии передо мной разыгрывает. Подожди, мол, Надька, как мы с тобой заживем! У нас и дом будет каменный, и ребятишек при нас не будет, а будут они вырастать в казенном дому на всем готовеньком. Так что весь наш заработок пойдет на самих себя. Что нам сапоги и сарафаны, нам подай наилучшую городскую одежду и обувь! А сам он ни пахать, ни сеять, даже дров запасти не умеет и не хочет. Я и ребят корми, и на поле иди, и по избе. Не знаю, когда спать, когда поесть.

— И контора на него сквозь пальцы смотрит? — заметил я.

— Пойду ли жаловаться? И пожалуюсь, какой прок? И так я отчаялась, что умереть казалось легче. Нет у меня жизни и, видно, не будет. И такое стало мниться — всем от меня одно лишь зло: отцу с матерью, моим детишкам, соседям. А в соседстве Глаша жила, старуха верующая и твердая. Ничего я ей не сказала, посоветилась, а она догадалась как-то, что со мной делается, и давай корить: глупая ты, Надька, почему тебе добром не живется? Одумайся, себя помни. А тут из конторы приходят и бают, хватит тебе, Надежда, за чужой спиной прятаться, трудись в поте лица. Это я за спиной у Родиона прячусь, вот ведь чего!

Вытащив ухватом на шесток чугуна, Надежда налила мне кружку крутого кипятку, нарезала черного хлеба. Мне с горечью думалось о Надежде: не одна она вот так бьется, сколько их по деревням, кто скажет?

Крупный черноголовый Родион, зайдя, сунул мне руку и, узнав, кто и откуда, похвастался:

— Пашня всю идет. Да и все дела идут на большой. Похвали нас, заслужили. Почему, хозяйка, водой угощаешь гостя? Где вино?

— Ты оставил вина-то? — ворчливо отозвалась На-

дежда.— Вчерась с Мишкой Бахваловым всю бутылку вылакали.

— Разве всю? — ухмыльнулся Родион и, ничуть не смутясь, продолжал: — Ежели и всю, не грех... Мою бабу не слушай больно-то, товарищ. Несерьезные слова. Покорми-ка меня, Надька, беготни опять было!

О ее печалях-заботах он — ни слова.

Еду она ему поставила особо, как хозяину.

Переспав в конторе на лавке, с восходом я тронулся в обратный путь. За крайней избой меня догнала груженная подвода. Мужик в картузе, лишенном козырька, вез новые подковы. Молодая, отощавшая за зиму лошадка шла не прытко. Чтобы скоротать дорогу, мужик посадил меня. Картуз у него на голове свалился набок: наши здешние мужики носят картузы как попало — кто боком, кто задом наперед, а кто еще и вывернет наизнанку. А у этого и убогий пиджачишко застегнут наперекоски — второй дырой на верхнюю пуговицу.

— В городе, видно, подков не стало? — кивнул я на поклажу.

— Есть, да казенной выделки, — нехотя буркнул мужик. — А эти своей, стало быть, надежней.

— Кузнец?

— Не я кузнец, а мой брательник. У него руки, можно сказать, золотые. К примеру, я ничего узорного не откую, а он откует. Хотя и кровь у нас с ним одна, а поди ж ты... Но-о, заснула!

— На паях с ним?

— Он кует, я сбываю. Так и живем. Скрытости у нас нет, по бумагам работаем.

— И землю пахешь?

— Было время, пахали и сеяли. Земли наши богатые, не то что вблизи города. Вблизи-то все соки из земли вытянули. Тутешние земли молодые, на моих глазах у леса отнятые. Но не по нам стала земля. Ремесла вернее. В этот заезд у меня большая забота: железа бы где взять подешевле. Не знаешь ли такого лица?

— Откуда мне знать?

— Расплатился бы, — уговаривал мужик. — Матерьялу у брательника осталось дня на два.

В полуверсте от города, на Лукояновской горе, я сошел с телеги. Недалеко отсюда, за белым березовым

леском, лежало мое Гаврилово. Мне думалось: вот этот мужик с подковами и его брат-кузнец охладели к земле, занялись ремеслом, Родион без пользы себе и людям трется возле конторы, мой отец заготавливает лес в далекой стороне, я сам, родившись в избе, пожалуй, не вернусь в Гаврилово: там у меня ни избы, ни близкого родства. Но что-то влечет — постоянно, неотвязчиво.

3. Проводы

Поспешно настрочив о вспашке и похвалив пахарей и сеятелей пофамильно, я весь день с душевным подъемом писал о Надежде. Все мне представлялось живым, близким. Родион — бессовестный тиран, это ясно, а Надежда — губительница своей судьбы. Перечитав лишний раз то, на что убил уйму времени, я в волнении влетел к Ивану Ивановичу и по-рыцарски выпалил, держа листки наготове:

— Надо оградить женщину!

— От кого и от чего оградить?

Чтение для редактора трудная работа. Читал он, не произнося ни слова и не меняясь в лице. Ободрит он меня или выгонит ни с чем?

— Все так, Илюхин, есть и мысль и слог,— кивнул Иван Иванович.— Но время-то какое? Посевная! Просьба, не распыляйся. Ты ж хочешь, чтобы напечатали?

— Хочу.

Он опять уткнулся в мое писание, читал еще медленней, как бы желая угадать, нет ли чего и между строчками. Черные глаза его не раз возвращались к началу. А с какого-то места он взялся яро подчеркивать карандашом слова и ставить вопросительные знаки.

— Нет, не можем, Вася,— ударил он ладонью по столу.— Дело портят твои слезы, твое сострадание. Мы не нытики и не вправе жизнь всех женщин района подвесить под одну гребенку. Почему, позволь спросить, ты выхватил именно Надежду, а не какую-нибудь Марью или Аграфену, у коих судьба совсем, совсем другая?

— Потому что Марья и Аграфена во мне не нуждаются,— ответил я.

— Видишь, какой у тебя странный, произвольный отбор фактов! — В этот момент вошел Коноплев — толь-

ко его и не хватало! — Давай спросим других. Вот секретарь нам скажет: он тоже в некотором роде сочинитель.

Едва только Коноплев начал читать, по его мокроватым губам прогулялась едкая ухмылка:

— Ничего себе!

— Что ты там нашел? — не выдержал я.

— Потерпи, — ответил он. — Если мне попало, я не могу с кондачка.

Кое-где он задерживался, что-то помечал карандашом на бумажке. У него такая манера — выдергивать из чужого текста отдельные слова и целые фразы, чтобы потом ловко ими воспользоваться. Он умудрялся даже смысл простых слов подать по-своему, искаженно.

Ему в руки дался хлеб, и какой!

— Ну? — поторопил Иван Иванович, когда Коноплев наконец-то положил на стол листки.

— Грамотно, можно позавидовать, — начал он всерьез. — А вдуматься, такая чертовщина! Поразительно узко и бледно. Иван Иванович, вы не заподозрите, я начистоту. Все вертится вокруг несчастливой Надежды и ее мужа, явного приспособленца. Ну, а что Надежда? Что Родион? Делают ли они погоду? Разве деревня Малоратка в целом у нас на последнем счету? Никак нет! Сам же Илюхин только что доставил оттуда цифры, коим иные колхозы могут позавидовать, как недостижимым. Если некая Надежда — кстати, автор почему-то обошелся без ее фамилии — действительно живет так, как обрисовал Илюхин, то и пусть. Она сама себе хозяйка. Захочет, выкарабкается, попросит помощи. Это ж всего лишь мелкий осколок жизни.

— Ты вправе, Илюхин, писать о чем угодно, и об осколках тоже, — сказал Иван Иванович. — Лишь бы не страдало твое прямое дело.

— Но в том и штука, что дело страдает, и еще как страдает! — возвысил голос Коноплев. — Вот ведь как, кого-то жалеет, кому-то соболезнует, до прямого ли дела тут?

Выйдя от редактора, я вгорячах подумал: ничего, ничего не буду больше писать, послушаюсь дедушки Герасима!

Выбитый из колеи, я слонялся по редакции и попал ж вездесущему Коноплеву на заметку:

— Сочинять для души, по себе знаю, одно удоволь-

ствие. А ты гони строчки на газетную полосу. Гони, Илюхин!

Несколько дней меня словно берегли, никуда не посылали, и я правил лишь чужие заметки, печатавшиеся под неизменной шапкой «Нам пишут». Я так наловчился латать и перешивать чужое, что одновременно успевал болтать с Пашей Пироговой. Два дня Геннадия, ее благоверного, в редакции не было, и она уделяла мне больше времени. Ее бессвязные причудливые мысли перепархивали с одного на другое.

— Чудила ты, Илюхин, такой чудила! — говорила она нараспев. — И зачем писать то, что сразу же не идет в газету и за что не получишь ни копейки? Такую роскошь ты позволяешь себе, пока холостой и бездомный. А погоди-ка! И вообще, зачем тебе во все вникать. Не все печатают. У моего Геннадия ничто не пропадает.

Говорить с ней я мог о чем угодно: о базарной толчее, о погоде, о районных происшествиях, о солнечном затмении позапрошлого, тридцать шестого года, о наших общих знакомых, — лишь не о своих сочинениях. Дело это я считал сокровенным, не подвластным чужому суду.

— Как информация? Ты освоилась?

— Никогда бы не подумала, что ты жестокий, — укорила она. — За кого-то, говорят, душой страдаешь, Васенька? А мне приходится рано вставать и поздно, в темноте, возвращаться домой. Вчера...

Вчера ее напугали — это с утра от нее все слышали, и не раз. Не хочет ли она своими рассказами подбить меня на проводы? От девичества в ней сохранилась стройность и наивно-растерянные глаза. От кого-то я слышал, будто замуж она вышла как бы шутя.

— Хочешь, я покажу тебе тихую безопасную дорожку? — И в самом деле, ей можно добираться не берегом ручья и не через кусты, а вблизи улицы.

— Будь другом, выручи! — обрадовалась Паша.

Она отбежала к приемнику, откуда донеслось:

— Даю по буквам...

В какой-то день все, как по уговору, оставили меня в покое. Иван Иванович не требовал больше ни стихов,

ни фельетонов. Нил Одинцов советовался по поводу своих писаний с Пашей. Коноплев меня вроде не видел. А мне и ладно: я писал, писал как бы украдкой от самого себя. Только уже не о Надежде, а о старом Прохоре — живом для меня лице. То и мой дедушка Герасим, и наш бывший гавриловский сосед Лихорь, и надорвавшийся на тяжкой лесной работе Кирилл, — словом, все, кого я в разное время знал и жалел и кто оставил след в моей душе. Прохор плел добротные лапти, и когда его спрашивали, зачем он день-деньской занимается неодоходным ремеслом, в ответ лишь слышали: «Стало быть, надо...» Спрос на лапти упал. Много их, готовых, высохших, висело у Прохора в сенях и на чердаке. Денег он почти не выручал, а лыко было привозное, базарное. Свой секрет Прохор раскрыл лишь перед смертью:

— Обувка эта гожа для таких, как я, отживших свой век стариков: на том свете легче бегать в лапотках.

Тихо было в эти дни у меня на душе, я жил будто в ином мире, по-особому устроенном.

Время глухое, полуночное. Орали петухи по задворкам. На тополях, возле невидимых с земли гнезд, в полусне били крыльями грачи. Красно горели вдалеке пристанционные огни. По мосту прогрохотал груженный состав. Паша шла первая, я намеренно отставал. Сперва, для сокращения дороги, двигались густым береговым ракитником. Здесь редко кого можно видеть днем, а ночью и вовсе пусто.

— Завел ты меня, Илюхин! — У Паши в тревоге дрожал голос. — Вот она, твоя безопасная дорога.

А бояться было и нечего: за два года, пока я живу в городе, единственным происшествием была гибель магазинного сторожа полуслеплого Кеша — по пьянке он утонул в проруби. После того миновала зима, весна, лето, а Кешей продолжали пугать маленьких: поозоруй, вот Кеша на дно утащит! Взять Пашу под руку я не смел. Когда выбрались из ракитника на простор, она упрекнула меня со смехом:

— Одни сочинения у тебя в голове, думаешь, не вижу? Да еще женщины.

— Какие женщины?! — изумился я.

— Несчастненькие, о которых ты пишешь. Других не замечаешь. Будто другие счастливее.

Мои невинные поначалу проводы неожиданно приобрели иной смысл.

— Не то, Паша,— неловко проговорил я, коснувшись рукою ее руки.— Какое, например, у тебя горе?

— По-твоему, я каменная? Ой, Вася!

Это доконало меня. Внезапно осмелев, я обнял Пашу и поцеловал в губы. В ту же минуту случившееся стало представляться мне таким нелепым, что я, пока шли к ее дому, даже в темноте не смел глядеть ей в глаза.

— А если Геннадий дома? — шепнул я у крыльца.

— Боишься, глупенький... — Она сама поцеловала меня.

Обратно улицей я несся ошеломленный, не зная, что будет после поцелуев.

Утром, как мне думалось, все уже знают о моих ночных любовных похождениях. Нахально вскинул на меня глаза Коноплев. От своей двери долго глядел в мою сторону Иван Иванович. Даже Одинцов меньше кашлял и хитровато щурился. Я был как больной. Работа не шла на ум — слова не соединялись между собой, жили сами по себе. Когда вошел вернувшийся из командировки Геннадий, я был готов провалиться сквозь землю. А Паша как ни в чем не бывало выбежала на цыпочках из комнаты, где принимала информацию, и, поджав под себя ноги, повисла у него на шее.

— Где ты так долго пропадал, а, Гена? Я не знала, что и подумать.

— Собирался вернуться вчера, не удалось. Был-то я знаешь где — идешь да едешь.

Как бы поддразнивая меня, Паша долго вертелась возле Геннадия, дважды залезала к нему в портфель, расспрашивала, что он видел, где ночевал и не голодовал ли. Нашла повод для недовольства:

— Представь, Илюхин о себе так возомнил! Наотрез отказался принимать информацию, и все повисло на мне. А ты знаешь, каково идти домой поздно вечером!

Геннадий скрылся за редакторской дверью, а Паша, к моему изумлению, подседа ко мне и, глядя прямо в глаза, томно сказала:

— Обещай, Илюхин, ты и сегодня проводишь меня.

— Ни за что! — объявил я.

— Почему?

— Потому что ты... ты...

Я потерял дар речи — слова застревали у меня в:

горле. Я не смотрел на Пашу, видел лишь ее пальцы с розовыми ноготками.

— Ах, так! — произнесла она сердито. — Ты капризный мальчик, слышишь?

Геннадий отбыл по срочному заданию, а Паша вечером опять сидела у приемника.

Отмякнув, я вышел ее проводить.

— Понимаешь, живу будто взаперти, — жаловалась она. — А ведь я вольная птица, привыкла к большому городу, к шумным улицам. У Геннадия голова забита собственными планами, цитатами из своих и чужих статей и заметок. Ни единого живого слова. Как это ужасно!

«Ага! — подумалось мне. — И ты идешь со мной только потому, что слышишь от меня живые слова...»

— Но тебе ж от него не уйти, — вырвалось у меня.

Она от души рассмеялась.

— Не уйти, правда. И куда уходить? Не с тобой ли? Теперь ты один бездомный, а стало бы нас таких двое, только и всего.

Она продолжала смеяться.

Сузив свои обязанности, я отвергал попытки Коноплева навязать мне что-нибудь еще, кроме правки заметок. Иван Иванович по-прежнему не заикался о стихах и фельетонах. А тут как-то зашел к нам городской стихотворец Юра Щелчков и без обиняков стал навязываться хоть на какую-нибудь должность.

— Ты просился, Илюхин, — напомнил Иван Иванович. — Я отговаривал, полагая, что будет обоюдная польза. Теперь вижу, только лучше, если уйдешь. Жизнь помнет, потолкает тебя, без этого не обойтись. Иди, Вася!

Что ж, скорей, скорей! Часа за два я управился с формальностями. Денег у меня в кармане было немного, лишь на ближнюю дорогу.

Влекло побывать перед отъездом в деревне у дедушки Герасима, однако нетерпение пересилило — поезд вечером, живей на станцию!

4. Архаровцы

По прибытии в Нижний — название города старое: новое еще не успело устояться во мне — я получил в канцелярии рабфака картонный ярлык на койку в общежитии. У входа сивобородый дед-волгарь пристально поглядел на меня и с твердым оканьем сказал:

— Бегом наверх! Там в зале пятеро орхаровцев, ты будешь шостым.

Моментом отыскав залу — большую, гулкую, уставленную железными кроватями комнату, я увидел одного архаровца, невысокого, полураздетого. Не удостоив меня взглядом, он продолжал свое: суча руками, имитировал драку, легко подскакивая. На вид ему было под тридцать. Пройдя к окну, я соображал, как наскрести денег на хлеб. Пожалел, что ехал не в жестком — в плацкартном.

Наконец новый знакомый закончил разминку и, усиленно дыша, гортанно объявил:

— Будь, друг, как дома. Кровати получше разобрали, осталась одна — у двери. Приехал бы завтра, и эта попала бы другому.

Было утро, в поезде я выспался, и постель меня не интересовала.

— Дальний сам-то? — спросил я.

— Тамбовский. А ты?

— Здешний, из района.

— Из района, а без молока и без пирогов, — усмехнулся он загорелым до черноты лицом. — А ну, подойди-ка. Не бойся! Что у тебя за ручки? — Архаровец бесцеремонно схватил мою руку и взялся тискать мышцы. — Одни жилы и те вялые. Сразу видать бумажного человека. Так не пойдет — ничего не зашибешь. За один выход начисто выдохнешься, дистрофик! Где тебя так выжали?

Мне бы обидеться, однако я терпел и в смущении переминался.

— За свою работу я получал на хлеб.

— Не склады ли сторожил? — всерьез спросил тамбовец.

— Не инвалид, — ответил я.

— Может, честной народ обманывал, хотя бы на счетах?

— Не доводилось.

Двумя окнами комната выходила на Волгу. Река открывалась в легкой дымке. Басовитые и пронзительно-тонкие гудки неслись беспрестанно. Цоканье копыт на мостовой, гром трамвая, звон, крики, пиликанье гармошки в садике — все было для меня ново. Если бы не пустой желудок, можно бы начинать иную жизнь без оглядки.

Тамбовец опять взялся за упражнения — вскидывал и опускал гири. Ладное тело его напряжилось, отливало глянцем.

— Ух-ух, ух-ух...

— Каждый день так? — полюбопытствовал я, когда он остановился.

— Без выходных и праздников. А завтра на баржу. День потаскаю дровишки, и подай пятьдесят целковых.

— Ого! — не поверил я. — Да мне за целый месяц платили двести.

— Работа работе рознь. Пойдешь со мной, испытаешь. Волга всем работу дает.

Возможность заработать на хлеб насущный — пусть не сразу пятьдесят, а хотя бы считанные рубли, окрылила меня.

Мы шли вдвоем каменистым берегом. Ни деревца, ни травинки, лишь асфальт, бетонные ступени, деревянные перила. Всюду люди, много людей. Всех приметней в разношерстной толпе грузчики и носильщики — с холщовыми лямками на плечах, в ветхой одежде. Старики и молодые.

— Столько в городе заводов, а они не на заводской работе, — понедоумевал я.

— Сдобным калачом не заманишь. Тут чисто ган: отнес — подай денежки. Нагляделся я на такой народец!

Приближались красные, ломающиеся по горам стены кремля. Белый жидкий парок с реки переливался через зубцы. Пущенный сверху камень с шумом пронесся к воде. Рядом плыла баржа с бревнами.

— Нас не обижают, подают, — показал рукою на баржу тамбовец.

На улице, среди людей, он не выглядел таким мощным и ладным.

— Мне тоже приходилось ворочать лес,— сказал я, чтобы он не побоялся дать работу в бригаде.

— Даже ворочать? Где? Когда? Впрочем, какая разница? Но такой уговор: бери на себя ту же ношу, что и все. Не потянешь, добром уйди.

Из форточки первой же попавшейся нам столовки валил пар, налитанный жареным и пареным. Тамбовец подошел к расположившейся у входа в столовку лоточнице.

— Дай-ка нам, белый фартук, целый пирог. С чем? А хоть с чем! Только не этот, а вон тот — самый большой, на всю трешку.

Моментом управившись с едой, мы полезли в гору — к каменным изящным домам.

— Учиться пока не собираюсь,— поведал свой секрет тамбовец.— Буду работать. Я же намного старше вас, желторотых. Да и связанный по рукам и ногам. Семья...

В комнату вернулись вечером. Жители были в сборе. Первым бросился мне в глаза верзила саженого роста, назвавшийся Мукетом Тарантуловым.

— Не пройдет и часу, как ко мне пожалует девочка,— похвастался он.— Здесь отличные девочки, и каждая ждет со мной встречи. Скажи, Доронин, так или не так? Вчера мы гадали, кого к нам поселят на последнюю койку. Дождались: поселили заморыша. Но так и должно быть: на свете живут не только такие, раздобревшие на отцовских хлебах, как я и Доронин.

Щеки у толстяка Доронина светились, глаза сияли.

— У нас с Мукетом южный рацион,— пояснил Доронин.— Привезли мешок груш. Но грушами сыт не будешь. Папаша перед моим отъездом заколол барана. Вижу, Илюхин, как ты отощал, ешь груши и баранину. Не стесняйся, все бесплатно и от души.

Он выложил на стол пяток крупных груш и два куса баранины. Груши я ел да похваливал, к баранине не смел притронуться.

Едва состоялось мое знакомство с южанами, тамбовец Аким вышел на середину комнаты и сообщил, что завтра я иду с ним на заработки.

— Неужели? — удивился Тарантулов.— Пришибет тебя, Илюхин, первым же бревном, а мы оплакивай. О, горе!

Ночь я спал в тепле, на настоящей постели. Утром меня потащили за ноги:

— Опоздаем, Илюхин, другая артель схватит баржу, и все пропало: болтайся без дела несколько дней.

На Акиме выгоревшая куртка и такие же штаны. У меня для работы одежды не было.

— Пойдут заработки, купишь,— утешил Аким.

Мы выбежали.

Улицы нехотя пробуждались. Над рекой висел пар, и белые трубы пароходов поверх его, казалось, плыли независимо. Асфальт был влажен и чист. Не успевшая очнуться после ночи вода лениво накатывалась на песок. На берегу в ожидании работы толпились грузчики. Из проулка появился десяток женщин в разноцветных сельских сарафанах, и набережная огласилась гомоном.

Груженная лесом баржа была возле берега. Акима окружили полуголые люди. Посыпались недовольства:

— Вон ты какой, Аким!

— Нализался, поди, вчера, и про дело забыл.

Опоздание Акима было налицо, и он не стал огрызаться и оправдываться, кинулся за подрядом на разгрузку. Уполномоченный в ожидании стоял поодаль — независимый, важный.

— Еще немного, и работа бы от вас уплыла,— сказал он, свысока поглядывая на Акима.— Но не стоит обходить стороной таких, как ты.

— Сколько положишь на кон, начальник? — приступил к торгу Аким.

— Бери тысчонку. Полагаю, за глаза.

Но Акима голыми руками не возьмешь, он рядится не первый раз:

— Тысчонку?! Смеешься, Петр Петрович. Другие пусть берутся за тысчонку. А я бы поглядел, как они бегают по сходням за тысчонку-то. Вон там, в устье Оки, видишь, баржа в два раза меньше твоей. Хоть сейчас разгружай за тысячу двести.

— Э-э, видно, так и быть,— расстроено воскликнул уполномоченный, будто его обижают.— Бери тысячу двести!

— Тысячу двести?! Да меня кореша уколошат первым же осиновым колом, если я соглашусь,— продолжал яро торговаться Аким.— Мы ж по десятке за целый день не заработаем. На еду без выпивки.

— Мастак набивать цену, Аким. Говори окончательно.

— Две с половиной, ни копейки меньше!

Уполномоченный схватился руками за голову.

— Ой-ой! Как это у тебя легкой птичкой вылетело! Да меня директор базы и в контору не пустит, он меня со свету сживет, если уступлю. Раньше ты здраво рассуждал. На тебе полторы, и ни рубля больше!

— Чтобы не ругаться и не затягивать, выкладывай две с четвертью.

— Хватай, пока даю, одну семьсот,— проговорил уполномоченный упавшим голосом.— Только знай, это грабеж среди бела дня. Разве бы разумный человек дал такие бешеные деньги?

Они еще поторговались и наконец сошлись. Уполномоченный продолжал еще ныть, но Аким, отойдя, велел бригаде готовиться к работе. Народ все пронюхал: кто-то потирал руки от выигрыша, а кто-то опасался, что старший сильно продешевил. Толпа повалила к барже. Гора сосновых и еловых чурбаков распирала ее железные бока. Зыбкие мостки пролегали от середины баржи к пустой площадке на берегу. Толкаясь и глухо матерясь, грузчики выстраивались цепью. Заняв место в середине, я страшился опозориться.

Люди с ношей заскользили по мосткам.

— Не растягиваться, ближе друг к дружке! — донеслась команда.

Мне на плечо взвалили сосновый чурбак. Берег задрожал в моих глазах. Ноги не слушались, подгибались. Я не мог поспеть за идущим впереди.

— Эй там, нога к ноге!

Пот застлал глаза. Двигался я наобум. Доски кончились, ноги ступили на камни — я не увидел это, лишь ощутил. Еще несколько отчаянных шагов... Чурбак соскользнул в штабель. На обратной дороге я отпыхивался, сердце стучало.

И опять:

— Наливай!

На меня «налили» ношу потяжелей. Качались под ногами доски. Сзади напирали:

— Не стой столбом!

И еще:

— Наливай!

Окликнул Аким:

— Молодцом держишься, Илюхин!

Он тоже ходил в общей цепи.

Баржа, пустая, медленно поднималась.

— Пять минут — хоть кури, хоть пляши, хоть воду пей! — последовал клич.

Со мною в соседстве на бревно сел человек в очках и дружески сказал:

— Вижу, как ты, неприспособленный, ходишь.

— Первый день.

— По-твоему, завтра будет легче? Нет, потрудней будет. Шел бы лучше юбки шить.

Меня будто хлестнуло кнутом:

— Сам и шей!

Очкастый не обиделся:

— Было время, шил. И ничего, скажу, дело добыточное. Слабый пол любил меня за подход и за умение. Только оплошал я в какой-то момент, пришлось бросить шитье... Но и береговая работа мне по силам. Хоть с каким чурбаком управлюсь, как с легкой жердочкой. Не веришь? Приглядишься, как ходит Федя Дедов!

У него короткие толстые ноги, могучее тело, руки несоразмерно длинны. Грудь широка и волосата. Он напоминал ломовую справную лошадь, для коей катить груженую телегу не в труд, а в разминку. Я глядел на свои неокрепшие руки, на белые жидкие ноги, и жалел себя.

— Может, и ничего, втянусь, — неуверенно сказал я.

— Телом тебя отец с матерью обделили, — добродушно продолжал Федя. — И еды могло не хватать, это смотря по тому, где и как жил. Разум хочет того же, что все делают, а тело не везет.

Мне оставалось только завидовать ему и утешаться: к его годам я окрепну.

Людей поднял окрик с баржи:

— Засиделись!

Доски опять задрожали под ногами. Федя ходил впереди меня, ходил легко, с кем-то перекликался, над кем-то подтрунивал.

Под исход долгого дня, когда красное дымное солнце светило вдоль Волги, как бы прощаясь с нею на ночь, уполномоченный принес деньги.

— Подчистили посудину, и ладно. Получайте целиком, без обмана. Дороговато все же!

— В другой раз столько не заломим,— сказал Аким, не пересчитывая плату.

Он тут же и делил заработок — споро и небрежно, казалось, не заботился, кому сколько достанется:

— Хватай, Толя! А это тебе, дядя Алексей. Федя, не зубоскаль, получи. Это Илюхину.

— А что, новенькому, как всем? — угрюмо спросил волосатый мужик в матросской тельняшке.

— Таскал, не сидел.

— Пускай поровну,— заметил пожилой дядя Алексей.— Юнцу жить надобно. Подкормится, будет ходить, как все. И мы так начинали. Все так.

Деньги разошлись не целиком — у Акима сколько-то осталось не разделенных.

— Раскинем и эти? — справился старший.

— Нет, на пиво и на раков.

С рубахами под мышкой потащились к базарным рядам. Людей хватило, чтобы опоясать пивной ларек — кто сел, кто стоял. Появились жестяные кружки, стеклянные банки, стаканы. Вино пили буднично, не чокаясь. Налили и мне.

— Бери, парень,— подморгнул дядя Алексей.

Мне в руку сунули рыбий хвост: заешь.

Тепло мигом разлилось по телу. Федя озорно толкнул меня плечом:

— В раю, а?

— Оно так: разнесчастный стал счастливым,— сказал дядя Алексей.

— Отблагодарим Акима, братцы,— провозгласил Федя.— Никогда мы его не благодарили, только ругали. Умеет он, сукин сын, работу найти и не продешевить.

— Нет слов, умеет,— кивнул дядя Алексей, перемалывая свежий огурец желтыми съеденными зубами.— За такую барjonку нам бы по тридцатке на нос за глаза хватило, а он по полсотне выбил.

— Разве мы мало поту пролили? — вступился мужик в рыжеватой тельняшке.— И то надобно учесть, бывают и безденежные работы. Вчера сколько вытащили, а досталось по два червонца. Слезы!

— Вчера и два-то было грех брать,— рассудил дядя Алексей.— Топливо для детдомовцев предназначалось.

Хочешь не хочешь, а ребяташек обогревай — из Испании сирот привезли.

А меня охватила гордость: ага, я как все, работаю!

— Нечего жаться, даешь по пятерке! — осмелев, объявил я и первый выложил деньги.

— Живей!

Пятерки полетели на круг. По-хозяйски сгрудив деньги, Федя исчез.

«Что для меня пятерка? — роскошествовал я в душе. — Что пятерка? Разве я не заработаю завтра еще столько? Да я побольше зашибу!» Мне уже не помнилось, как достались деньги, лишь помнилось — они у меня есть.

К нам прилепился чужой — испитой человек в модной кепке.

— Эй, потомки волжских бурлаков, примите меня, я для вас свой в доску!

— Ха, он свой! — ехидно засмеялся грузчик в тельняшке. — На дармовщину и каждый не дурак.

— Пускай с нами побудет, — сказал дядя Алексей.

Согбенная фигура прилипалы распрямилась. Седоватая щетина на подбородке старила его и без того немолодое лицо.

— Шантропа, право, шантропа, — не говорил, а сипло кричал он. — Разве мне ваша водка нужна? Мне вы сами нужны. Ой, волгари, последние могиране, натуры широкие, карманы пустые, а у кого так и вообще карманов нет. Воспою я вашего брата, и не за подачки, а по любви к вам и по собачьей преданности.

Возмутились грузчики: всякий уличный попрошайка станет вольничать с трудягами!

— Зачем зря болтаешь, тень на ясный день наводишь? — заворчал дядя Алексей. — Дали тебе, и отчаливай. У других клянчи. На берегу таких, как мы, много. Певец выискался!

— Не знаешь ты меня, отец. Нил Горбатов не отребье. Я выпил с умыслом.

— С каким?

— Э-э, секрет! — подморгнул пришелец.

— Гнать его, надоел!

— Уходи, кому говорено?

— Кто приходит с добром, того всегда гонят, — саркастически засмеялся Нил Горбатов.

Он почему-то выбрал меня из всех и повел. Мы

прошли мимо почты, мимо садика. Лицо Нила не лишилось добродушия, будто и не случилось ничего злого и обидного. Вдоль трамвайного пути поднялись к центральной улице.

— Если бы спросить моих однокашников по Академии художеств, помнят ли они Нила Горбатова, ответят: кажется, был такой. Кажется! Но стоит мне написать настоящее полотно, завопят: мы его знали, мы предвидели, гордимся. Да, помнят и знают лишь тех, кто добился славы. А она всегда в облаках.

То, о чем он говорил, ничуть не волновало меня. Какая там слава! Я могу зарабатывать на кусок хлеба и одновременно учиться — вот главное. Спустившись на набережную, мы свернули в сквер. Тут было светло от фонарей и безлюдно. От долгой непривычной работы у меня ныли ноги. Я был благодарен артели, что она не только приняла меня, но среди сильных я ощутил себя сильнее. А еще я был доволен, что познакомился с Нилом.

5. Спартанец

Но время за парту.

В окна рабфаковской аудитории видна по-осеннему беснующаяся река, серые караваны барж, далекий желтоватый лесной берег. Справа и впереди меня четыре десятка великовозрастных. Старший годами черноокий Маркарян — худой и лысый.

— О наука, о наука! — закатывая глаза, восклицал он перед первым звонком.

Его донимали: почему он примчался сюда, на север, разве нет поужнее города?

— О, есть, есть! — пылко отвечал он. — Много-много на юге городов. Раньше я жил в горах, в тесном ущелье, мало видел, отсюда далеко вижу.

Учитель, круглый, подвижный Сергей Сергеич, вдохновенно читал книгу, пересыпая чтение присказками и пояснениями.

— Проза может быть только великолепной или никакой. Будем же читать и перечитывать великолепную прозу!

Меня он очаровал, а другим хоть бы что — рядом Доронин строчил письмо родителям, вероятно, просил

денег, Тарантулов разглядывал девичьи фотографии.

«Будем же читать великолепную прозу!» — самозабвенно повторял я. И вдруг, сам того не желая, перебил доброго Сергея Сергеевича на полуслове:

— Славное восхвалять легко, славное все хвалят.

Учитель вскинулся своим грузноватым коротким телом:

— Кто мешает? Ах, это Илюхин, если не ошибаюсь. Так вот, увольте, увольте! Да будем ли мы читать тускленькое, мы, выросшие на самых высоких образцах? Вы можете возразить, что рядовое по числу превосходит в сотни, в тысячи раз великое. Но одно солнце светит ярче миллиона коптилок.

— Это так,— кивнул я в смущении.— А разве не бывает, в необозримой толпе...

— В толпе — гений, да? Тащите сюда творения новоявленного гения, тащите!

Мне хотелось еще поспорить, но меня забивали.

— О, безумец, ты не дал досказать учителю! — вознегодовал Маркарян.

На перемене меня окружили, требовали в один голос, чтобы я немедленно извинился перед Сергеем Сергеевичем.

— Ударило же тебе, Илюхин, в голову, не выспался, что ли,— выходил из себя Доронин.— Великое, рядовое... Нам не все ли равно? Лишь бы Сергей Сергеевич на экзамене не придирался, выставил нужные оценки.

— Илюхин не успокоится, будет и дальше мешать учителю! — пророчествовал Маркарян.— И нам будет очень плохо. О, несчастный!

О своем споре с учителем я в тот же день рассказал Нилу Горбатову.

— То ж закостенелый педант,— определил художник.— Спроси у него, есть ли у великого слабости в его творениях? Он возмутится: да как ты смеешь? Даже слабости у великих не выглядят слабостями... Болтовня, Вася!

В его жилище возле двери приткнулась железная койка с тощей постелью. По углам — скатыши холста. Песколько банок с краской. Деревянные рамы, рубанок, ножовка.

— Всего хватает, правда? — сказал Нил.— Тут я пи-

шу, болею, сплю. За такую жизнь мне пришлось повоевать. Прежде всего с самим собой. А еще с бабьем: моя одинокая жизнь бабью пришлась не по душе. Слава богу, с некоторых пор на меня махнули рукой.

Тихо появилась женщина в белом берете, в черных сапожках — красивая, важная. Манерно подала руку Нилу, меня не заметила, сказала низким голосом:

— Обманул или забыл?

— Нет же, Катенька, не обманул и не забыл,— мягко ответил Нил.— К несчастью, я всегда все помню. Например, помню, что я женат... Познакомься, пожалуйста, с Васей Илюхиным. Хлеб насущный ему дается трудами.

— Даже простой хлеб?!

Катенька удостоила меня беглым, отнюдь не участливым взглядом и опять все внимание обратила на Нила.

— Стоит тебе кого-нибудь встретить, и ты ведешь к себе... Этакий сердобольный! Помоги-ка раздеться, у тебя так душно. Можешь же ты полегче стаскивать плащ! Увы, осень, а я так и не увидела тепла. Ты водил меня за нос с самой весны: вот поедем, вот поедем... И никуда не поехали.

— Не привелось, Катенька,— виновато кивнул он.— Ты же знаешь, я рисовал и рисовал. Оборвать себя на полуслове было бы непростительным грехом.

— Вечно одно: ты рисовал, рисовал... Но я не была у тебя две недели и вижу, ты бездельничал. Зарабатывал бы деньги!

— У меня труден переход от одной картины к другой,— оправдывался Нил.

— Так и сиди со своими переходами на хлебе и на воде,— сердито отозвалась Катенька.

Мне представилось, что когда-то она, восторженная, влюбилась в молодого Нила. Он обещал ей свой скорый взлет. Но минули годы. Катенька охладела к нему, и теперь их ничто не связывает, кроме воспоминаний.

Первого заработка мне едва хватило на неделю. Аким опять выручил — позвал на разгрузку.

Утро было дождливое, ноги скользили по сырым подмостям. Но чурбаки были сухие и нетяжелые — я не

только не отставал от впереди идущего Феди Дедова, даже иногда покрикивал на него.

За получкой после шабаша мы шли вместе. Я не так наломался, как в первый раз. Федя шлепал по песку кривоватыми ногами, обутыми в разномастные изношенные ботинки.

Присев на корточки, Аким каждого наделял одной и той же суммой. Не обошлось без ропота:

— Ныне дрова не детдомовские таскали, а почему же денег мало, Аким?

— Совести у меня не хватило торговаться,— повинился он.— Не чурбаки — спички.

— Нам все равно, с чем ходить. Со спичками даже муторнее.

— Зарылся, Аким,— резонерски заявил грузчик в тельняшке.— За торги берешь с артели десятку, так ты ее отработывай.

Акима будто ударили.

— На десятку глаза пялишь, Кошкин? Можем торги на тебя перевалить. Вдруг тебе артель и пятнадцати целковых не пожалеет!

— Кого ставишь выторговывать?! — шибко взволновался дядя Алексей.— Да мы завтра же без работы и без денег останемся. Прочь Кошкина!

— Знамо, прочь завистника!

К базарному ларьку на этот раз скопом не пошли: кто-то пожалел и без того небольших денег, а кто-то посчитал: «не каждый раз в пляс». Лишь сердитый Кошкин не изменил обычаю:

— Нарушать не годится, зайдем!

Мы с Федей Дедовым отбились от толпы. Он все запахивался в широкий холщовый пиджак, будто мерз. Мне хотелось, чтобы он вольно, без расспросов, излил душу. Однако я ничего от него так и не услышал, кроме осуждения Кошкина:

— Бедняк! А знаешь ли, как этот бедняк живет? Кум королю!

В комнате все сидели над тетрадками, и никому не было дела до моего нынешнего заработка. Сев особняком, я стал мысленно наделять Федю Дедова чужими качествами, такими, какие я заметил у Акима, у дяди Алексея, у Кошкина. Затем я познакомил Федю с людь-

ми. Женил его. Он или произносил возвышенные слова, или безмолвно бродил в одиночестве по берегу Волги. Отправлял его странствовать: не век же ему сидеть сиднем! Подвергал его опасностям, однако не грозным, а как бы облегченным. Мой Федя получился не из плоти и крови.

Назавтра я пошел к Нилу и в сомнении рассказал о воображаемом Феде. Художник загадочно усмехнулся:

— Почаще заглядывай на барахолку, Вася. Наблюдай и слушай. Бесподобное для этого место! Хочешь, едем?

Трамвай сперва полз по длинному окскому мосту, затем покати́л низинным приречьем.

Базар занимал часть знаменитой в прошлом ярмарочной площади. Ярko-красные каменные лабазы, деревянные прилавки, желтые конюшни, пестрые аккуратные ряды домов приезжих — вот он, базар! Народу полно — толкутся, хохочут, торгуются. Не сразу сообразишь, кто продает, кто покупает. Огромная баба волокла бордовую, расписанную петухами подушку и орала натужно:

— Коренной гагачий пух! Не сжимается, не преет, не колется. Дарма бери и спи беспробудно!

Баба усердно давила ручищами на свой бесценный товар, а когда отпускала, подушка мгновенно расправлялась, как от пружин.

Хромой тщедушный мужичонка сельского обличья изумленно и сипло выдохнул:

— Умопомрачение!

Баба повела ручищей:

— Не купишь, сразу видать, кишка тонка, так и не путайся под ногами!

Однако хромой не отстал, пустился в рассуждения:

— У нас в Мурашкине гора, а здесь гора поболее. На такую гору залезешь, а слезть не сумеешь — брякнешься.

Он простодушно засмеялся.

К дощатому забору жались калеки, по одежде городские. Эти сбывали тряпье, глиняные свистки, березовые мундштуки, лечебную траву.

— А ну, борода, возьми свистульку для внука.

— В придачу чудо-мундштук, для себя.

— Про бабу не забудь — веничек ей, веничек гибкий, березовый. Пускай для здоровья парится.

Мурашкинский хромой мужик неотступно следовал за бабой-горой.

В стороне старик с белой, как бы пуховой бородой торговал пчелиными сотами.

— Купи, бабка!

Старуха в зимней, с кистями, шали присеменила к старику и, обидевшись, пропищала:

— Ой, старичок, поди, в бога веруешь, а чудишь. Негоже, гляди!

— Свечей нальешь,—невозмутимо продолжал старик.—Внукам ко свадьбе, себе ко гробу и к поминанию.

Дед и меня не пропустил, позвал:

— Читать при свечке любо-дорого. Некие таинства открываются, на душе благодать.

Со всего необъятного приволжского края сошлись сюда мужики и бабы со своим товаром—от избытка или по нужде. Сильно поношенные и совершенно новые сапоги, полотняные и сатиновые рубахи, каракулевые воротники и козьи шапки, гусиное перо, грубый и тонкий холст...

— Откуда конопляное семя, тетя?

— Починковские мы, чай. А семя наше скусное — язык проглотишь. Пробуй, милай!

Верзила-парень поддел ручищей и кинул всю горсть семени в рот. Жевал с хрустом.

— Горчит, у других, наверно, слаще.

А починковская орала вовсю:

— Наше семя самое скусное, покупай хоть меру, хоть осьминный мешок.

Двое подвыпивших — один с растрепанными пепельными волосами, горбатенький, второй аккуратный, побритый, из служащих,—сошлись порассуждать. Купля-продажа их, казалось, ничуть не занимала.

— Кровно обидел он меня, Ларион-то,—жаловался горбатенький.—Как липку обобрал, да еще спусть время узнает, стервец, как жить будешь, дядя Миколай? Ну, а я свою накипь спрятал, отвечаю смиренно: не помру вскорости, как-нибудь буду жить. А у самого сердце на мелкие кусочки разрывается. Уй, супостат! У меня же ребятишек полна изба, у меня баба извелась, зачахла.

— Ты бы, дядя Николай, степенно рассудил, кто отпал-то,—умно заметил служащий.

— И рассуждать нет нужды: Ларион отнял! — зло выкрикнул горбатенький. — Я как и живу, все гну спину, свету вольного не вижу, в навозе ковыряюсь. А он, антихрист, одним духом: это-де не твое, а наше совместное.

— Прими все здраво, не сердись на Лариона: он себе в карман не берет, берет ваше сельское общество на общую пользу. Для общества ничего не жалко. Будь у меня хоть тройка с бубенцами, хоть карусель, хоть сеялка и веялка, я бы отдал на совместное благо.

Горбатенький Миколай пялил на служащего воспаленные, красноватые глаза и, горячась, норовил пихнуть кулаком в грудь.

— Ты бы отдал?! Ты бы?! Не надо пустое баять, Борис Евгеньич. Ты при конторе век свой сидишь, потому и с язычка у тебя всякое легко сходит. А возьми-ка я, к примеру, чистый листок бумаги с твоего стола, чего ты запоешь? Запоешь: все воры! Не от души ты со мной бакулишь — тебе надо мужика утешать, иначе из-за стола тебя вытурят. С Ларионом ты из одного лукошка грибок. Вам бы только обобрать Миколая подчистую и голенького заставить работать.

— У меня вера, — сказал служащий.

— Ни в бога ни в черта ты, Борис Евгеньич, не веришь, и Ларион не верит. Из озорства он. И никто ему насчет меня не приказывал.

Служащий боязливо пятился, пока не исчез в толпе. А мне представился, как наяву, незнакомый Ларион — он такой же, как встреченный мною минувшей весной Родион, муж Надежды.

Народ убывал. Базарные ворота закрывались.

— Доволен? — спросил меня Нил по дороге. — То-то же!

Волгу рано — в начале ноября — сковал лед, и я начисто лишился заработка. На уроках Аким так ни разу и не появился. Директор рабфака, ершистый щупленький Свешников, зашел к нам в комнату.

— Бери свои документки, Костерин, и вольному воля.

Аким уложил в потрепанный чемодан свое скудное имущество, простился со всеми. Его великодушие не забудется мне — ни на кого он не обиделся и никого не обидел сам. Его скупая на утехы, подлинно спартанская

жизнь станет примером, думал я, не только для меня одного. Мы шли к вокзалу.

— В какие края отсюда?

— Не знаю, брат,— ответил он с грустью.— Были бы руки, а места на земле много.

Река замерзла. Казалось, лед всосал в себя пустые баржи и умолкнувшие пароходы. Вправо и влево простиралась сверкающая на солнце гладь. В душе я благодарил Акима — это он свел меня с Федей Дедовым, с дядей Алексеем, с Кошкиным. Ни одно, даже малое знакомство не пропадает бесследно.

6. Упрямец

Из пяти вокзалов меня привлекал ближний Варшавский, на Обводном канале. Едва я появлялся в столовке — она не с главного входа, а с неприметного, бокового, — и садился за стол, официантка приносила тарелку густого, вкусно пахнущего борща. Хлеба было вволю, и я наедался досыта. В какой бы иной столовке я мог наестся за рубль двадцать? Между тем рубль двадцать — как раз половина моих суточных стипендиальных денег. При двухразовой кормежке я засыпал поздно вечером с вполне умиротворенным желудком.

Толе Жемчужникову, моему сокурснику по институту, куда легче — он живет при отце с матерью. О моих походах на вокзал он отозвался с подковыркой:

— Получше-то не мог найти, Илюхин!

Так-то! Ему, толстому гусаку, можно и поискать. Маменькины сынки, они как бы и не видят нас, выгдывающих копейки. Жемчужников из кожи лез, чтобы показать, что он такой же, как все. Только бы нам отправиться на овощной склад подработать, он тут как тут:

— Братва, я с вами!

Мне хотелось, чтобы его взяли для пробы: пусть узнает, сколько возни с картошкой до того, как она попадет на обеденный стол. Но бригаду сколачивает старшекурсник Ефим Лытиков в большой тайне, чтобы не просочились лишние. Возьми первого попавшегося, и прогоришь: дела нет, а деньги раздели поровну. Жемчужникова упорно не брали, и он дулся на меня, будто я ему мешал войти в бригаду.

Моя жизнь в этом городе началась после того, как я, окончив рабфак, приехал сюда и сошел по вокзальной лестнице на площадь. Утро было ясное, вокруг все сияло: политый асфальт, стены домов, окна, трамваи, облака. У меня в руках побрякивал фанерный сундучок с навесным замком внушительных размеров, будто под ним хранятся неоценимые сокровища. Но взять в сундучке было нечего: кто позарится на исписанные рабфаковские тетрадки, складной ножик и застиранное белье? Я переехал из одного города в другой со своим хлебом — привез непочатую буханку.

Гудели рельсы под трамвайными колесами. Мимо бежали диковинные здания, мелькали уличные перекрестки, пестрели вывески. Я ощущал себя неуютно, незванным гостем. Может, через три-четыре дня мне придется возвращаться на Волгу? И вообще, не дерзость ли, пуститься в такую даль без денег, с малыми надеждами поступить в университет? Я шел гранитной темно-красной набережной, мимо каменных львов, и глядел на все вокруг как на чудо. Сон или явь перед глазами?

Темы на выбор: «Обломов и его время», «Наташа Ростова, кто она?», «Поэзия наших дней». Ничего-то я не знаю толком, всего понемногу. Обидно стало за себя. Но вот еще: «Сочинение на вольную тему». Спасение! Вспомнился волжский базарный мужик Миколай, кровно обиженный своим деревенским Ларионом. Рядом со мною и впереди сидели такие же, как я, но мне ни до кого не было дела: горбатенький Миколай и нахальный Ларион все иное затмили. Волнуясь, я писал и писал. Возникли в памяти подробности нашей сельской жизни и тоже просились на бумагу...

А наутро я не нашел себя в списках с отметками за сочинение. Утеряли?

— Илюхин? Твоя работа не прошла ни первым, ни вторым сортом. Словечки у тебя! Не поймешь, нижегородские или рязанские. Знаки препинания рассыпаны как попало. А пишешь о чем? Да это же вторжение в общественные интересы! Это узость... Нет бы зарисовал приход зимы. Странная работа!

В большом огорчении я в тот же день готовился уехать, но случай свел меня с Толей Жемчужниковым.

— Решил, конечно? — удивился он. — Идем к нам в

институт. Конкурса никакого. Сочинений у нас не пишут. Мы ж техники!

Выхода у меня не было.

Мы зажили в комнате втроем.

Уезжая в субботу вечером к себе в пригородную деревню, могучий блондин Карл Потайнен на завтра возвращался с бидоном молока и с узлом свежих сдобных пирогов. Всякий раз мне вспоминалась моя сонинская бабушка Софья, кормившая меня своими печеньями. Но когда же это было! В сравнении со мной Карл не молод — ему за тридцать, у него затылочная лысинка. Он не скупится:

— Сердишься или брезгуешь? Бери и ешь.

Он просиживал над тетрадками вечера и ночи, не пропускал лекций, но науки ему давались туго. У меня шло иначе. Себе я не давал поблажки: ага, не мог совладать с родным языком, покоряй черчение и физику! И налицо первые плоды усердия: мои работы хвалили.

Что ни вечер, нас ждало дело.

— Здесь тебе, Илюхин, не дрова на волжский берег выкатывать и не картошку на спине таскать,— едко поддразнивал меня Жора Крохотин, Кроха, как мы с Карлом окрестили его за маленький рост.

— А тебе не пирожки с изюмом в Гостином дворе жамкать,— в свой черед парировал я, зная Жорину слабость.

Карла же так обременяли всякого рода заботы, что он не опускался до зубоскальства и подтрунивания.

— Почему же ты не замечаешь, Илюхин, что у тебя пляшут штрихи? — наставительно и всерьез говорил он, хотя у него на чертежном листе огрехов было куда больше.

— На хорошем чертеже не увидишь таких корявых линий, как у тебя, Карл, — замечал я. — Надо быть слепым, чтобы за такую мазню поставить хотя бы тройку. Ты понесешь, да? Лучше не показывать.

Лицо Карла багровело. Светлые глаза начинали угрожающе блуждать.

— А хочешь, завтра я за эту мазню принесу четверку?

— Неси! Принесешь, и с меня пачка папирос «Беломор». Не принесешь, с тебя.

Я на ходу придумывал, что бы сорвать с богатого Карла на общую пользу.

— Неси, Карл, четверку! — Кроха из подхалимства всегда держал сторону Карла. — Я тоже принесу четверку. А Илюхин вернется с тройкой, и мы утрем ему нос.

Минутная перепалка не оставляла следов: Карл мигом остывал, Кроха уводил глаза к потолку, у меня был непечатый край работы. Я критически разглядывал свой лист и замечал изъян за изъяном: линии не той толщины, циркуль навертел дыр, буквы аляповаты. А кляксы? Не возвращаться же с тройкой, если даже ленивец Кроха грозитя принести четверку? Накальваю на доску чистый лист и все повторяется: общая рамка, линии, штрихи, надписи. А уже ночь...

Комната наша чисто мужская — пока ни один девичий глаз не видел, как мы расположились и какой у нас порядок. Встаем поздно. Как назло, с вечера перед тем как лечь, кто-то выключил репродуктор, и беспечный сон продолжается до последней минуты. Вскочив уже засветло, я сквозь полусон прикидываю, что нам едва-едва успеть к звонку. Пробуждаются разом Карл и Кроха. Все делается на одном дыхании: умывание, сборы, а у Карла — еще и бритье. Никакого завтрака.

— Карл, да ты, кажется, спишь! — ору я не своим голосом.

— Неужели ты готов, Илюхин?

Да, я готов: мне куда легче повернуться, чем неуклюжему Карлу. Он еще возится с рубашкой и брюками, еще пыхтит с запонками и застёжками, а я от двери с откровенным торжеством наблюдаю за ним: вот как ты подводишь, Карл! У меня в этом смысле отличная одежда: мало пуговиц, нет застёжек и замков.

— Карл, я слышу звонок!

— У тебя галлюцинации, — отзывается он, начиная суесться больше.

Мы вдвоем опрометью несемся вниз, оставив в комнате безнадежно отставшего в сборах Кроху. В такую пору лестница зловеще тиха — все успели уйти, все, кроме нас. Повороты, площадки, перила... А лучше бы ничего не было — одни ступени сверху донизу. На всю дорогу у Карла не хватает прыти — к середине он уже мелко трясется, близоруко взирая на меня.

— Кажется, у нас в запасе еще целых пять минут,— шепчет он.

— Твои часики, как всегда, врут,— безжалостно отвергаю я последнюю надежду на спасение.

Пять минут, и верно, спасение — за это время мы могли, пролетев два квартала, оказаться в институтском подъезде. Стараясь сократить дорогу, мы не видим уличных знаков и не соблюдаем переходов.

В раздевалке — ни души.

— Опоздали-таки! — упавшим голосом произносит Карл, готовый, кажется, тут же испустить дух.

— Иначе не могло и быть,— заключаю я.

Однако звонок только-только прозвенел, и мы вталкиваемся в аудиторию последними. Я никого не вижу, лишь вижу старосту группы Толю Жемчужникова. Он с укором качает головой и против моей фамилии в журнале ставит жирный крест. Все в порядке!

Хотя в аудитории много окон, но они небольшие и уличного света не хватает. Должно сойтись человек этак около двухсот, но пришло не более половины. Сутулый лысенький доцент Великжанин запустил на столе прозрачное колесо. Ослепительно блестят искры, слышится треск.

— Следите, прошу! — победно восклицает Великжанин. — Вот она, молния, так сказать, малая модель ее!

В соседстве со мной неугомонный Карл заносит в тетрадку: «Вот она, молния, так сказать, малая модель ее». Писать лекции он может только так — слово в слово, не выбирая главного, не сокращая. Чтобы не отстать, пропускает слоги и буквы. Дома он перепишет лекцию в толстую тетрадку, и так напутает, что выловить из конспекта нечто связное — невозможно. Вчера он мне доказывал, что нет ничего лучше, как записывать все подряд, без пропусков, затем наизусть выучить и повторить на экзамене.

— Поверь, Илюхин, мы убьем старца Великжанина тем же оружием, которое он выковал против нас,— пылко убеждал Карл. — Если он скажет, что это не его слова, мы сунем ему под нос тетрадку.

— Все так, Карл, но в силах ли ты заучить столько? — усомнился я. — Это же не стихи, а физика!

— Зачем же я сюда пришел?

Он дал мне тетрадку: следи! И взялся молоть такую несусразицу, что я схватился за голову. Слова были взя-

ты из тетради, но они так взаимно переплелись и перепутались, что невозможно было уловить даже отдаленный смысл. Когда я ему откровенно сказал об этом, он вышел из себя и полез на меня с кулаками:

— Надсмехаться? Над кем, мальчишка? Ведь я повторяю то же, что говорил Великжанин,— ни слова не убавил и не прибавил. Идем дальше!

Обрывать я его больше не смел, только в смущении думал, как сложатся у него экзамены.

Коротко записывая то, что излагает лектор, я успеваю зарисовать с доски схемы. А Карлу не до схем — он только строчит. Толя Жемчужников сидит у меня за спиной и, как всегда, не утруждает себя записями. В какой-то момент он сует мне записку: «Старшинский привет труженикам! Сегодня, Илюхин, прими меня в свой стан алчущих. Вместе двинем на Варшавский хлебать борщ — дома меня не кормят: мамаша лежит дюже хворая. Поверь, я голоден, как волк лютой зимой...» На той же бумажке я кладу резолюцию: «Идем, барин!»

В нашем студенческом кругу шла молва, будто Великжанин не преуспел в науке. Умудренные старшекурсники передавали, что он бывал свиреп и несправедлив на экзаменах, за что студенты окрестили его Бесом. Однажды, когда был еще в силе, он-де поднял за шиворот сразу двоих шалунов, стукнул лбами и вынес вон из аудитории. Читает он неясно, сыплет лишние слова и обороты.

— Начнем... э-э... совершенно новый, прошу заметить, совершенно неизвестный вопрос.

Пока он подберется к «совершенно новому вопросу», проходит немало времени.

По дороге на вокзал Жемчужников хмурился и приплясывал. Одет он богато, однако все сидит на нем неловко: туфли не по ноге велики, брюки длинные, плащ так узок, что не застегнуть ни на одну пуговицу. При нем всегда портфель с медными, натертыми до сияния замками.

— У тебя хватит денег расплатиться? — осведомился он, когда сели за стол.

— Вижу, не против дать мне взаймы? — дипломатически ответил я.

— Почему взаймы? — Жемчужников вытащил кошелек. — Закажем роскошный обед. У меня ж всегда есть деньги. Не надо бы брать у отца, а я беру. Он служит где-то там... — Толя повертел рукой поверх головы.

Мне поставили привычный борщ, а ему бульон и жаркое — лучшее, что нашлось.

— Извини, но я не понимаю таких, как ты и Карл, — заметил Жемчужников, берясь за еду. — Живешь впроголодь и еще учишься. Так и до пятого курса не дотянешь, скопытишься. У моего школьного корешка Сережки Квасова мамаша прачка, так он, умница, рукой махнул на все науки и улетел по вербовке на Север. Пишет, жить можно. Но ты хоть кое-что усваиваешь, а зачем Карл теряет время? Пока-то подползет к выпуску!

Покончив с бульоном, он вытер лоснящиеся губы бумажной салфеткой.

— Как знать, возможно, Карл своего добьется, — предположил я.

— Но пусть, это его дело, — кивнул Жемчужников. — Хочешь познакомиться с девчонкой?

Он захватил врасплох — кровь бросилась мне в лицо.

— Потом, потом, — пробормотал я.

— Ты меня смешишь, Илюхин, — Жемчужников весело ударил в ладоши. — Почему потом и когда потом? Лови момент. Отличная деваха! Она уже справлялась у меня, почему ты такой дикарь?

Может, та светлоглазая рыженькая Саша Абаева? На лекциях я встречался с нею глазами.

— Не разыгрываешь, Толя?

— Придешь ко мне, увидишь. Заодно поглядишь, как мне живется.

Но если бы я только переглядывался с Сашей! Неделю назад я на последние деньги взял билет в театр музыкальной комедии только потому, что минутою раньше и Саша взяла. Я сидел от нее неподалеку, на галерке, и невольно подражал ей: она хлопала в ладоши, и я старался, смеялась она, и я не находил ничего иного, как смеяться. Но к моему огорчению, там же, рядом с нею, я увидел Витю Богомолова, второкурсника. Он сидел чинно и только изредка, как бы из одолжения, наклонялся к Саше. Он не бил в ладоши и не смеялся. Они и театр покинули вместе...

— Когда зайти? — осведомился я.

— Послезавтра, в субботу.

— Не пойми, будто я из-за девчонки,— пояснил я.

Приодетый ради встречи гостей Жемчужников стоял на пороге. Я прошел и несколько оробел: мне не пришлось видеть таких удобных, богато обставленных квартир.

— Располагайся.

За мною по пятам внесся незнакомый широкоскулый парень. А через малое время и еще один — верткий, радостный. Этот на ходу бросил:

— Не опоздал, и отлично!

Третий — курчавый, сумрачный — не вошел, а, казалось, прокрался. Жемчужников с каждым меня знакомил, говоря:

— Илюхин между прочим поэт.

Откуда он взял, что я пишу стихи, приходилось лишь недоумевать: о стихах, да еще о собственных, я не заводил речи даже в комнате, где жил. Трое гостей были одеты празднично. Жемчужников меня ободрил:

— Считай, порядок!

Какая же, однако, роскошная комната!

— Скажи, Жемчужников, припас ли ты вина? — поинтересовался верткий.

— Найдется и вино.

— Саша будет? — спросил мрачный.

— Конечно.

Она пришла на пару с Богомолотовым, и я, сникнув, подумал, что делать мне тут нечего. А еще я заподозрил, Жемчужников нарочно меня позвал, чтобы я убедился, что моя карта бита. Богомолотов выглядел эффектно — стройный, с иголки одетый. Жемчужников привычно, без иронии, отрекомендовал:

— Вася Илюхин, поэт.

— Правда?! — удивился Богомолотов. — Никогда не видел живого поэта.

Протягивая мне руку, Саша, шурясь, проговорила:

— Знаешь ли, Толя, я видела Илюхина в театре. Он сидел от меня поблизости, и так часто и сильно бил в ладоши, что все на него оглядывались. И, представь, бил, когда я тоже била.

— В унисон, — засмеялся Богомолотов. — Это что-то значит, а?

Мне подумалось, все они — шестерка благополучных, сытых — глядят на меня снисходительно: попал, мол, к нам, так посиди, позавидуй.

Когда все оказались за столом, Толя разлил вино в стопки.

— Вот она, минута нашего единения! — с подъемом провозгласил верткий.

— Для начала выпьем за единственную среди нас, — сказал Жемчужников.

— Да, за Сашу!

Жемчужников хорошо придумал — надо было, конечно, первым делом выпить за Сашу. Я боялся глядеть на нее: с нею рядом расфранченный большеглазый Богомоллов.

Пели под гитару все вместе и поодиночке. Лишь один я не раскрывал рта.

— А почему Илюхин сидит, как на поминках? — спохватился Богомоллов. — Что он умеет?

— Ничего, — дерзковато ответил я.

— Как? Ты же поэт!

— Даешь стихи, Илюхин! — в восторге заколотила в ладоши Саша.

Меня выручил Жемчужников.

— Моя фантазия, ребята. Илюхин поэт по натуре, а пишет ли стихи, я не знаю.

Когда в разгар пирушки я уходил, меня никто не задерживал.

В душе я благодарил районную редакцию, приучившую меня к терпению и усидчивости. А у Карла дела шли все хуже. Конспекты, которые он продолжал строчить с упрямой настойчивостью, поглощали время, но не приносили пользы. Это видели все, но не видел он сам.

Вернувшись с обеда, я стал невольным свидетелем странной картины: нашего Карла на пороге комнаты обнимала молодая женщина в повязанной по-деревенски шали.

— Откуда ты узнала мой адрес, Эльза, и почему ты здесь? — растерянно бормотал Карл.

— Разве ты мне не рад?

Встреча озадачила меня потому, что он никогда не

говорил о женщинах, будто они для него не существовали.

Вечером он мне с глазу на глаз пожаловался:

— История, Илюхин! У Эльзы ребенок.

— Ты женат?

— В том и штука, нет... Как видно, с учебой мне придется пока закругляться. А жаль, черт возьми. Ты ведь знаешь, шло у меня не так и плохо.

Его уверенности в себе можно было только удивляться.

7. Три дела

Во всю ширь Измайловского проспекта тащило сухой жесткий снег, и асфальт посветлел. Приработка стало не найти. Картошка лежала в хранилищах. Пустые баржи чернели во льдах по всей Неве.

Мне повезло: нашлось место в институтской редакции.

В комнатухе, длинной и узкой, постоянно толкались люди — совещались, спорили, советовали, но никто не писал в газету.

— На первую полосу самое время вытаскивать отличников. Отстаем! Позор авторскому активу и платным сотрудникам!

— Позвольте, а как же с тылами? Имею в виду учебные мастерские. В газете нет даже упоминания о наших скромных тружениках.

— Слушайте, почему упущен быт?

«Отметить, не забыть, показать, дать дорогу...» От благих пожеланий у меня голова шла кругом. Я корпел над собственными заметками, в коридоре ожидал «жертву», чтобы на бегу хоть что-то выудить, сочинял многословные, обтекаемые передовицы, готовил макет очередного номера. Все заботы лежали только на мне. Редактор Борис Борисович Левин, преподаватель английского, встречался со мною на ходу, чтобы лишь пробежать глазами верстку. Газета для него дело десятое, лишняя нагрузка, от которой он мечтал поскорей освободиться.

Ударяя кулаком по оттиску, он осведомлялся:

— Тут ничего такого... неожиданного, Илюхин? Смотри!

Полная самостоятельность мне нравилась, но я на-

чисто лишился отдыха. Во сне я видел гранки, клише, машинописные страницы. Слышал предостерегающий голос Бориса Борисовича: «Тут ничего такого... неожиданного?»

Но газета не избавляла меня от обязанностей лаборанта: деньги я получал на кафедре. Тут я был в подчинении у профессора Акиндинова, старика львиной наружности. Его роскошная седая грива, могучая шея и широкая грудь явно противоречили моему прежнему представлению о внешности ученых мужей.

Появляясь перед началом лекции, Акиндинов спрашивал:

— Надеюсь, не забыл, Илюхин, что я вчера наказывал?

Под его черными, с монгольским блеском глазами я терялся. За ним водились странности: он мог невпопад расхохотаться, бросить неуместное словцо. Он без оглядки высказывался, что ему нравится, что нет. Например, ему не нравилось, что у него в кабинете не постоянный лаборант, а пристяжной. Об этом он нередко напоминал мне.

— Почему же ты, Василий, сразу взял на себя три дела?

— Не было иного выхода, Юрий Дмитриевич.

— Чепуха! Разве ты не мог доказать, что лишь одно твое газетное дело стоит тех грошовых денег, которые ты получаешь? Стоит или не стоит?

— Со стороны виднее,— уклончиво отвечал я.

— Формалисты! Они посчитали, что с двумя серьезными работами управится один, да еще сможет и учиться. А ты не управляешься. И никто бы не управлялся. В кабинете ты не делаешь и пятой доли того, что нужно. Думаю, тебе и самому это заметно.

— Что ж, откажитесь от меня, Юрий Дмитриевич.

— Если пошло на откровенность, то и газетное дело у тебя хромает на обе ноги. Нет слов, газетка выходит в срок, но что и как в ней пишется?

Примерной газету я не считал, но она была и не хуже городских многотиражек, которые попадались мне в руки. Да и чего ждать от одного-единственного сотрудника?

Ага, так я ни с чем не справляюсь!

— Напишите нам, Юрий Дмитриевич!

Его это застало врасплох:

— Уволь, уволь, Илюхин. Я давно ничего не пишу. А писал, было время, и для печати. Теперь я безалаберный старик, и только.

Он сел, и вся его львиная осанка померкла. Сидел обыкновенный смертный — утомленный, расслабленный.

Пока он читает лекцию, мое дело подать в нужный момент плакат, модель, указку, мел.

— Илюхин, будь добр...

— Поживей, Илюхин!

Карл по-прежнему сидел над своими тетрадками, хотя его студенческие дни были сочтены. Чужие намеки, чтобы он ушел по доброй воле, бесили его:

— Понимаешь, Вася, чего они ждут? Чтобы я ушел! Нет, не дождутся этого, на экзаменах я покажу себя! Не веришь, глупец?

Как-то сунул он мне в руки тетрадку с решением дифференциального уравнения.

— В книге иной ответ, — осторожно заметил я.

— Вранье не у меня, а в книге.

Сессия оказалась для него роковой, но уходил он с верой, что дело этим не кончится.

— Увидишь, Илюхин, я еще вернусь! И у меня пойдет лучше, гораздо лучше.

По горячим следам я написал о нем и, не дав вылежаться, понес сочинение Борису Борисовичу.

— Хвалишь своего Карла? — спросил он, рассеянно прочитав.

— Да, за страстную веру.

Борис Борисович из-под очков пристально глянул на меня в упор:

— Во что же он верит, позволь узнать? Сидит отныне в деревне, и пусть сидит — всюду нужны люди.

На вещи Борис Борисович глядел глазами чистого практика. Мне подумалось: хорошо что на свете живут не одни трезвые рационалисты.

Воспользовавшись недельным отъездом Бориса Борисовича, я сумел обнародовать написанное о Карле, и мне тут же влетело свыше: грех, мол, сочувствовать малоспособным да еще и хвалить в печати. Зато студенты меня подбодрили: затронул то, что нужно было

затронуть. Я мог умыть руки: Карл вышел из-под пера спорным, а значит, живым — мертвых не ругают, но им и не сочувствуют.

Акиндинов и на этот раз отозвался по-своему:

— Слезу пустил, Илюхин.

Война — рядом, в тридцати верстах от города. Ночью, в морозной тишине, не умолкала глухая оружейная пальба. За черными маскировочными оконными шторами звенели стекла. Дрожали стулья и кроватиные дуги.

Напротив Варшавского, на площади, день и ночь ревели перед походом танки. Вдоль незамерзшего Обводного останавливались солдатские кухни с заиндевелыми лошадьми в упряжке. Иногда доносились надрывные звуки военного оркестра.

— Какая же это война? — охотно вещал с передка пушки командир в белой шапке и в белом полущубке. — Это, верьте слову, не война, а упражнение.

Вернулся с места боев, с Карельского перешейка, первый из наших институтских лыжников — раненый Ефим Лытиков. Когда с осени мне приходилось с ним выгружать из вагона картошку, ему не составляло труда вынести на спине шестипудовый куль — Лытиков, казалось, не шел, а бежал. Прибыл он ослабевший. Если спрашивали, как там, на войне, он тревожно озирался и неопределенно отвечал:

— Холодно, б-р-р, и поспать не удавалось. Но что было, то было.

Показался и Толя Жемчужников — он отсутствовал больше месяца. Был он в валенках, в солдатской гимнастерке. Рассказывать ничего не стал. Повел меня к себе домой. Я не забыл первый свой огорчивший меня поход к нему, но тут был иной повод.

У него я встретился, к своему недоумению и некоторой радости, с Сашей Абаевой. Была она в черном платье, с заплаканными глазами. Толя все куда-то выходил и ненадолго возвращался, будто нарочно хотел нас оставить вдвоем.

— Мы так быстро вырастеем, Илюхин, правда? — вздохнула Саша. — И кто бы подумал!

Наконец-то Жемчужников сел.

— В вокзальную столовку все еще заходишь? —

спросил он, вяло усмехаясь. Я кивнул.— Говорят, ты разбогател. И я тоже, лишь в другом смысле.

— Страшно там? — Саша расширила глаза.

— Бывало и страшно,— ответил Жемчужников, снимая со стены гитару.

Но он не играл, только притрагивался пальцами к струнам.

— Скажи же прямо, что с Витей? — нахохлившись, тихо спросила Саша.

— Ты же все знаешь, Сашенька. Пойми, мы были на войне, в самом пекле.

— Ничего я не поняла.— Саша плакала.— Не верю! Он жив, ты зло шутишь, и это потому, что ты на меня злишься. Он вернется.

Грустный Жемчужников отошел к окну. Мне вспомнились слова комадира: «Это не война, а упражнение...» «Нет,— встревоженно подумалось мне,— то война как война — навсегда уходят люди».

Опять схватив гитару, Толя печально запел:

Отвори мне пошире окно,,

Я иду к тебе с гордой надеждой...

Саша сидела отрешенная.

— Будешь учиться? — спросил я Толю.

— Пожалуй,— ответил он уклончиво.— Но надо заботиться, обязательно надо. Есть от чего.

Мы шли втроем. Саша вела Жемчужникова под руку. Я не вмешивался в их тихий разговор.

Измайловский светился морозным снегом. Радужным синеватым светом отливали трамвайные рельсы. Мирно гудели тугие провода. Толя, снизив голос, шептался со спутницей, но меня это не трогало.

Повалил снег, улица стала не видна. Навстречу нам двигались строем солдаты.

— Кончилось,— глуховато, с облегчением произнес Толя, повернувшись ко мне посветлевшим лицом.— Побываем на Варшавском, отметим. Кончилось!

Минул год, как утихло на Карельском перешейке. Газета все так же выходила в субботу. Как и прежде, я носил в типографию на Фонтанке машинописные листки, брал оттиски, читал корректуру. Незаметно пролетал день.

Но все рано или поздно кончается, кончилась и моя газетная работа.

— Нашелся подходящий человек на твое место, Илюхин, — сообщил мне, как бы между прочим, Борис Борисович. — Там опыт, выучка.

Хотя для меня это и было неожиданностью, я не огорчился. В кармане будет пусто, но не за горами весна: опять вагоны, баржи, трюмы пароходов — знай работай!

— Любопытно все же, — только и нашел я что сказать.

— Видишь ли, газета будет выходить по средам и субботам, — пояснил Борис Борисович. — Работы удвоится. Значит, занятия свертывай, разве не так? Впрочем, гляди сам. Кстати, я тоже больше не редактор. Мы равны!

В душе я усмехнулся: ничего себе равенство!

— Но дело, думаю, не только в двухразовом выпуске, — предположил я.

— С тобой, как я знаю, предварительно не говорили. Ты промазал, поторопился с этим злополучным Карлом. Сунуло тебя поместить статейку!

О моем крушении тотчас узнал Акиндинов:

— Поздравляю, Илюхин! Отныне ты займешься прямым делом — будешь только учиться.

Опять без пропусков, дважды в день я стал появляться в столовой на Варшавском — на стипендиальные рубли не разбежишься.

Снег растопило всюду. На Неве и по каналам — ни льдинки. На деревьях набухли почки. В Летнем саду с мраморных фигур сняли дощатые зимние одежды.

Карл шел со мною рядом по просохшей дорожке и скупко рассказывал, как у него протекло время в деревне.

— Свыкся, в общем.

— Ты и клятву забыл! — удивился я.

— Черта с два! — погрозил он мне пальцем. — К осени сбегу, точно!

— Надеешься, у нас примут?

— Обязаны! Не думаешь ли, что только маменькины сынки могут учиться?

Мы расстались в надежде скоро опять встретиться. Этому, казалось, ничто не могло помешать.

8. Крохотин

Весенние впечатления не только живы, но еще так яркие и необыкновенны, так манят и волнуют, что ничто новое — тревожное и внутренне пока не осознанное — не в силах затмить их.

Белых ночей уже нет. Вся каменная набережная с дворцами, строгими шпилями и белыми колоннами замерла — спит. И спит ли?

Когда страстно желаешь удержать в памяти минувшее, из этого ничего не выходит — прошлое ускользает и дразнит. В ушедшем не видишь ничего плохого, видишь одно доброе, хотя и знаешь, это совсем не так.

— Нет, не так, — утверждаю я вслух.

— Что не так, Илюхин? — вкрадчиво спрашивает Крохотин от окна.

— Все не так! Мне надо добывать хлеб насущный, а негде, — признаюсь я только теперь: прежде мне не хотелось перед Жорой откровенничать.

— Не одному тебе надо, мне тоже надо, — говорит он, хотя я и знаю, ему легче, гораздо легче, чем мне: еда у него всегда в запасе.

Он причисляет себя к таким, как я. Крохотин был себе на уме и раньше, теперь же, в пору общей военной беды, это заметнее. Хотя мы живем вместе немало — два года, я только и знаю, что приехал он то ли из Орла, то ли из Курска. А еще знаю, что от здешнего, как видно, ближнего родства ему перепадает хлеб, пшено и даже мясо. Откуда берется мясо, если его перестали выдавать даже по карточкам, мне неизвестно, а сам он не открывается. Сварив на общей кухне кусок говядины или свинины, он потчует меня, но я не поддаюсь соблазну, а он не настаивает, уминает один. По правде, еду он не берег прежде, в сытое время, не бережет и теперь.

Худ телом я был всегда, но все же ощущал в себе силу, иначе какой же был бы из меня грузчик? А тут я день ото дня от недоедания слабею. И постоянно зябну. Тепла мне охота ничуть не меньше, чем еды.

Ведет себя Крохотин как истинный смельчак. Даже когда буквально за стеной грохочут зенитки, а неподалеку рвутся фугаски, отчего я вздрагиваю, он не моргнет и глазом. Только скажет:

— Ничего себе булькнуло!

При усиленной бомбежке, когда меня так и толкает вниз, в подвал, он будет как ни в чем не бывало сидеть в комнате, даже не поглядит на звенящее от взрыва окно.

Выкладываю ему свою тайну:

— На хлебозаводе позарез нужны руки. Я иду.

— Давай, давай, глядишь, и мне доставишь хоть полкаравашка.— Это он всерьез.

Раньше я бы вспылил, наговорил дерзостей, а теперь сдерживаюсь: берегу силы. Это входит в привычку: я все реже отзываюсь даже на прямые обиды. «Пускай зубоскалят и подковыривают». И это не трусость и не тихое смирение перед злом, а всего лишь уговор с самим собой: потерпи! Потерпи... Помню, как я терпел первый раз. Было это давно. В моем теперешнем представлении был я вовсе маленьким, хотя самому себе в то время казался большим и самостоятельным.

Сидел я в избе у своего дяди Ивана, жившего от нас наискосок. Изба у него была светлая и теплая, не в пример нашей. Поутру, выспавшись опять же у дяди Ивана, я вскочил с постели. Знакомо пахло блинами. Тетка Настасья кидала их прямо со сковородки на стол и ласково приказывала:

— Все ешьте, пока горяченькие, ешьте!

А всех нас сидело за столом пятеро: кроме меня, четверка моих двоюродных. Старшей, Польке, семнадцать, она невеста, младшей, Катеньке, нет и трех. Меня у дяди ничем не обделяли: ни едой, ни постелью — что всем, то и мне. Я поедал блины, облизывая от конопляного масла пальцы. Мне всегда было удобно и весело в компании двоюродных.

На этот раз я не успел вылезти из-за стола, как вошла в избу моя плачущая мама и сказала:

— Поехали, Вася, нам пора ехать. Дедушкина подвода стоит под окошками.

Она и тетка Настасья пошептались о чем-то и заплакали обе. Тетка Настасья причитала, как по покойнику:

— Сердешные, сердешные...

Стала утешать мою маму:

— Не убивайся больно-то, сестрица, везде люди живут. Свет клином на нашем селе не сошелся.

Но у меня сошелся, и я горько заревел:

— Ехать не хочу, не хочу!

Да разве маленького послушают? Меня обували и одевали в дорогу. Тетка Настасья завязала в свой потрепанный платок стопу теплых блинов:

— Сколько ехать, никто не знает. Поедите дорогой.

Впервые уезжая из дому, я надеялся вскоре вернуться, но не вернулся, а теперь и некуда — нашей избы давно нет...

— Вместе идем, — зову я Жору. — Поработаем, принесем пользу. И поедем.

Но сытому что еда?

— Нет, Илюхин, такой работой меня не угощай — там тяжело, жарко. А хлебца тепленького принеси, будь другом.

Ему тепленького!

— Ты же знаешь, завод обнесен высокой стеной, — говорю я. — Только сам наемся вволю.

Как наедаются вволю, я забыл.

Крохотину не завидую: ведь голодовка только начинается, никого не пощадит.

Пока сидим, ни один не упомянул Сашу Абаяву, хотя я о ней думаю; подозреваю, и Жора о ней думает. Уехать из города мы с ним не вправе — нам со дня на день уходить на фронт, а это теперь рядом. Но почему застряла Саша? Неужели ее все еще удерживает память о погибшем Богомолове? Уехать она могла, теперь не может, теперь никто не может: нет дороги.

К такой мысли трудно привыкнуть. Вчера на Невском я видел обезумевшую женщину.

— Мы все в западне! — кричала она. — Нам некуда деться, как только пропадать в каменном мешке.

От нее шарахались, ее обходили стороной.

Да, главное теперь — оставаться самим собой, не хныкать, не расслабляться. Будто наяву вижу каменную ограду, которую не хватит сил перелезть. Там, за оградой, у меня отец, мать, дедушка Герасим, там у меня всё.

Жора удрученно недоумевает:

— Почему так случилось? Где выход?

Будто выходов много — выбирай. А выход только один — разрушить ограду.

Прямых дорог отсюда нет, они перехвачены фашистами, но для одиночек есть тропы, пробраться, если захочешь, можно. Почему же не уходит Саша?

Вчера утром она посидела у нас, исхудавшая, бледная. Смотрела на меня большими глазами, будто впервые видела.

— Вася...

Звучало у нее тепло и мягко.

Спросить, почему она задержалась, у меня — в который раз! — не хватило смелости. Теплилась самолюбивая надежда: «Из-за меня». Но тут же возникало: нет, она помнит Богомолова. Но, возможно, ни то ни другое, а потому что ей так вздумалось: останусь, как остались другие. Да мало ли что ей могло прийти в голову!

— Скажи, Крохотин, видел ли ты сегодня Сашу? — спрашиваю я как можно равнодушнее, будто о чем-то несущественном.

— Нет-нет, то есть, что же я? Видел, правда, мельком, — отвечает он торопливо. — Иду по коридору, а она навстречу. Тревога, а Саша, ты же знаешь, ужасная трусиха.

Это предназначается не только Саше, но и мне: я тоже по тревоге — их на дню множество! — спешу в укрытие. Особенно плохо ночью. Едва задремлешь — крепкого сна у меня давно нет, — и тут же вой сирены. Крохотин спит на своей койке, как в доброе время, раздевшись, ему хоть бы что, а я, вскочив, бегу вниз. Ныне, когда я, поборов страх, не поднимаюсь, прерванный сон все равно не восстанавливается. Я лежу с открытыми глазами и тревожно вслушиваюсь, как приближаются хлопки зениток. А вот и моторный гул вроде у нас над крышей, потом взрывы, но в стороне. В комнате темно. Только и слышны щелчки метронома: так-так-так...

— И ты ее не проводил? — интересуюсь я.

— Ни-ни, ты что, какие проводы? — отвечает он. — Нуждается ли Саша в проводах? Ты ж, верно, увиделся с нею в подвале.

— Откуда? — Сашу я и правда нигде не видел.

Так мы с Крохотиным взаимно контролируем друг дружку. Узнав об этом, Саша, наверное, посмеялась бы:

— Ой, мальчики, да вы с ума сошли!

9. Калачи

До хлебозавода ни далеко, ни близко. Сперва иду улицами, затем под старыми кленами Лесного парка. Солнца нет — прячется за облаками. За облаками же прячутся самолеты, нудно урчат. Опавших желтых листьев еще немного, хотя уже осень. Вчера весь день лил дождь, за ночь асфальт не успел просохнуть. Не парит, как летом в тепло. Иду расслабленно, шаги глухие, еле слышные. Перед выходом я попил чаю с морковной заваркой, с комком сахара, с ломтиком хлеба — малый остаток от вчерашнего дня. Велик соблазн — все съесть сегодня, ни крошки не оставляя назавтра. Неотвязчивей мысль: день прожит, а завтра... Кто угадает, что будет завтра? Крохотин, особенно при Саше, доказывает, что и в самую жестокую войну живут люди. Вот ведь! Живут-то живут, но как? Живет он, Крохотин, живет Саша — каждый по-своему. Она его поддерживает:

— Жора, ты прав. Нам еще жить да жить, мальчики! Пускай война, пускай и мы уйдем скоро туда же, где еще страшней и опасней, но все равно надо жить и жить хоть где. Не представляю, как это я жила, жила, и вдруг меня нет.

Только мы очередной раз сошлись вместе, как особенно громко завопили сирены. Через считанные минуты мы уже стояли на железнодорожной насыпи и подавленно смотрели вслед удаляющимся неприятельским самолетам. По ним били зенитки, но снаряды рвались или ниже или сзади.

А на западе, куда садилось солнце, возникла и на глазах росла белая клубящаяся туча. Огня с насыпи не было видно. Когда небо очистилось от самолетов, воцарилась тишина, будто паровозы на недалежней станции, орудия поблизости, люди вокруг — все оцепенело.

Горело полчаса, час...

— Что же они спалили, гады? — спросил стоявший со мною рядом молодой лейтенант в новой обмундировке.

Никто не мог ответить точно, лишь предположили:

— Помнится, в той стороне большой дровяной склад.

Но сгорел, увы, не дровяной склад...

Назавтра сразу с утра многие ринулись к пожарищу.

Потащило и меня. Люди чем попало выкапывали из-под земли и обломков спекшуюся муку, горелый сахар, растекшуюся патоку...

А Саша не пошла и даже не поинтересовалась, с чем я вернулся. Принес же я всего лишь горстку рассыпавшегося клюквенного концентрата.

Не побывал на складских руинах и Крохотин:

— Дотла, говоришь, Илюхин? Проморгали! Да вокруг надо было три десятка зенитных батарей расположить, надо, чтоб самолеты в небе день и ночь вились. Позволить склады середь бела дня сжечь! Беспечность, ни больше ни меньше.

У него всегда так — всех ругать как бы со стороны. Он и в комнате, где живет, другим укажет, что плохо, а за собой не заметит. Укоришь — огрызнется:

— Будто сам не знаю. Ишь, нашелся!

Нормы на продукты сразу урезали.

Перехожу рельсы, а там и завод рядом. В нос бьет хлебный дух. За ограду нет ходу. В кирпичной стене оконце. Оттуда зоркий черный глаз, стариковский треснутый голос:

— Посланный кем или по своей воле?

— По своей.

— Так-таки и по своей, — не верит черноглазый. — Но по своей, так по своей. И ладно, если по своей, для нас возни меньше. Чуть что, и прощай. Понял? Не понял, потом поймешь. За калачами, говоришь, погнался?

А это уже подковырка сытого.

— Какие калачи, вы что? — смиренно отвечаю я. — Разве не понимаю, никаких калачей и быть не может?

— Почему не может, — всерьез замечает черноглазый. — Всё как пекли, так и пекут, и калачи тоже. Другое дело, не каждому достаются. Вот мы тебя и поставим калачи на машину класть. Не откажешься?

Сомнения меня не покидают. Чудит, верно, — знаю их, стариков, лишь бы потешиться над нами, молодыми. Не выйдет у нас что-то, они тут же со своими песнями: разве я не говорил? Оба дедушки у меня были такие. Обидеть, бывало, не обидят, но подшутить — хлебом не корми. Не забыть, как дедушка Дормедонт велел мне забраться на самую высокую березу в нашем саду и прибить скворечницу. Когда я поднялся, птичий домик

вырвался из рук и грохнулся на землю. Дедушка не заругался, как я ожидал, а вроде бы даже обрадовался:

— Так-то, Васька, начинай, брат, сызнова!

От неудачи я готов был заплакать. Но стерпел, даже виду не показал, что переживаю. Со второго захода я приколотил скворечницу. Дедушка вроде и не заметил моей работы. Зато когда я в изодранной рубаше, с исцарапанными до крови руками слез, он сказал как ни в чем не бывало:

— Скворцам есть где жить. Только ведь добром не поделят хоромы, подерутся, увидишь... А рубашки, понятно, жалко. Руки жалеть нечего, заживут до свадьбы, а рубашки жалко — сколько у матери на нее матерьялу ушло! Боишься, родители излупцуют? Скажу, ты на делах пострадал, так не тронут. Со мной в твои года разве ничего не случилось? Всякое бывало, Васька, и не такое еще бывало!

А что бывало, он не рассказал, не успел...

Передо мною распаивается калитка в чугунных воротах. Тот же дед ведет меня в каменный корпус. Я надеваю широкий мышинный халат и белые потертые рукавники. Пока облачаюсь, узкоглазая девица, сидя за столом, спрашивает для записи фамилию, возраст, происхождение. Фамилия и возраст слетают у меня с языка моментом, а с происхождением заминка. Из крестьян-то я, понятно, из крестьян, но девица потребует уточнения: из бедняков, середняков или зажиточных. Здесь у меня вечная путаница — не могу разобраться, кто мой отец. Имущественно он, конечно же, бедняк: жили мы в старой, обмазанной снаружи глиной избенке, вся скотина в покрытом соломою дворе — послушная лошадь Голубка, ни овцы ни курицы. Но из бедных отца почему-то выделяли особо. Особенно старался выбившийся в сельское начальство дядя Митрий Королев:

— Нам, понимаешь, Дормедонтыч, не то важно, что у тебя во дворе, а важно, что в душе и на языке. За нашу власть голосуешь иль сердце на нее затаил?

Однако о моем происхождении учетчица уже как бы и не помнит, подает мне блестящий жетон величиною с медный пятак:

— Чур, не потеряй! День кончится, мне сдашь. Не сдашь, из ворот не выпустят. У нас строго!

Все это для меня пустяк. Главное — калачи. Встаю

между убегающей куда-то лентой и горою пустых деревянных ящичков. От железной ленты пышит жаром, но на ней пока ничего нет. Появятся ли буханки и калачи, не знаю, и никто вокруг, возможно, не знает. Держит меня начеку окрик:

— Эй, новенький, не спи, поглядывай на ленту, работать пришел!

Да, я жду и жду. Жду хлеба, которого не ел досыта, кажется, никогда в жизни.

Глядеть тяжело. Жаркий воздух неподвижен. Свет от высоких лампочек дрожит. Тело все сильнее прошибает пот. Спина сырая, рубаха прилипла, ноги будто спутаны. Глазам больно от застилающего пота. Но я упрямо жду, твержу в душе как заклинание: калачи, калачи... За ящиками — светлое оконце наружу: туда подавать калачи и буханки.

Наконец-то вместе с лентой бежит кирпич. От него веет теплом и запахом ржаного хлеба, впрочем, веет ли хлебом, не знаю. Может, мне это лишь кажется. Затем еще и еще. Я хватаю буханки, сую в ящик. Соблазнительно отломить хотя бы корочку и положить в рот, но надо работать — хлеб в руки плывет и плывет. Кладу, не видя. Ни малейшего отдыха. Меня одолевает слабость — хоть тут же и садись. Но тот, кто наблюдает за каждым моим движением, строго подсказывает:

— Илюхин, не пропусти, не пропусти, Илюхин!

У меня звенит в ушах.

Поток наконец рвется, новая команда:

— Живей ящики на машину, живей!

С большим трудом, натужившись, отрываю ящик от пола и ставлю на оконце. Его подхватывают двое, пихают в кузов машины. Из оконца меня обдувает свежим уличным воздухом. Но оттуда же доносится вой сирены. Удивительно, я ничуть не пугаюсь, будто жить или умереть, не такая уж и важность. Со мной и прежде так бывало — свои опасности как бы отстраняются, становятся чужими: пусть так или этак, не все ли равно?

Наполненные ящики погружены. Во рту сыро и холодно. Вокруг ничего не вижу, лишь угадываю. Тянет сесть, перевести дух. Но по ленте уже не плывут, а мчатся буханки, они вроде обретают свой голос:

— Принимай, Илюхин, принимай!

Беру не видя, не видя же, машинально, кладу в

ящик. Надо попить, где-то тут должна быть вода. Но со всех сторон:

— Не смей, Илюхин, пропустишь, не смей, пропустишь!

А еще и так:

— Калачи, калачи...

Работа кончается. Опускаюсь тут же на пустой дощатый ящик, закрываю глаза и вижу плывущие калачи. Пытаюсь достать, но они увертываются, как бы смеются надо мной:

— Лови, Илюхин, лови!

Вздвигнувшись, поднимаюсь, но голос, который постоянно будоражил меня, умолк. Хотя жарко по-прежнему, однако лента неподвижна, и так тихо, что снаружи, за бетонными стенами, слышатся глуховатые выстрелы зениток.

Спрашиваю проходящую женщину:

— Почему стоим?

— Муки не щепотки.

Прямо из-под крана пью холодную воду. Рядом со мною вырастает знакомый черноглазый старик:

— Пей вволю, пока есть.

— Вода испарится?

— Насосы замрут.

Неужто так и будет?

Прихожу домой обессиленный. Завтра, кажется, не подняться. Крохотину не жалуюсь: посыплются подковырки. Ему что? Не уработался. Чтобы я сразу не уснул, он занимает меня разговорами, вроде исповедуется:

— Знаю, Илюхин, ты меня подозреваешь, нечестно еду добываю.

— Что за интерес, честно или нечестно? — вяло отзываюсь я. — Мне ж не попадает ни крошки.

— Завидуешь, Илюхин, — наседает он, приблизившись так, что я вижу его зеленоватые глаза. — Но ты же знаешь, я не жадный, могу поделиться.

Взираю на него с недоверием. Может быть, хочет, чтобы я ответил взаимностью — принес хлеба? Или это сострадание к ближнему?

Закрываю глаза, не говоря ни слова. Крохотин больше не пристаёт.

Ровно в девятнадцать, из минуты в минуту, голосит

сирена. Я так и лежу на кровати. Крохотин должен бы, как раньше, поторопить, чтобы я отправлялся вниз, но молчок — понимает мою немощность.

10. Баня

Остывает земля. Первые ранние заморозки сушат траву. Листья на березах и липах желтеют, осыпаются, устилают пустынный двор. Недалеко в парке поверх землянок у военных вьется дымок. Нам бы тоже обогреться, поставить печку-самоделку, что ли, — все равно ждать парового отопления напрасно.

Институтские занятия откладываются и откладываются — голодовка делает свое.

Саша не скрывает полной растерянности:

— Мне ничегошеньки не достать, такая я непригодная. Даже что положено на карточки, умудряюсь не выкупить. Ведь надо толкаться в очередях, скандалить, пробиваться, а у меня ни силы, ни ловкости, ни нахальства. Такая уродилась!

Родом она из наших мест — с лесной станции Шахунья.

Недавно, как бы между прочим, я напомнил ей об этом. Она обрадовалась:

— Правда, Вася?! Ну, замечательно! Придет время, поедем вместе. Будет же!

Хочется верить: мы поедем.

Видя, как она худеет и блекнет, я жалею ее. Помочь бы, но у меня у самого ничего нет. Напекаю Крохотину, он привычно язвит:

— Ты ж калачи печешь, вот и подкорми Сашу.

Кажется, скоро я поссорюсь с ним. И вообще, лучше нам разойтись — пусть он останется в этой комнате, а я найду где ночевать: пустых комнат хватает. Лучше перебраться на первый этаж, чтобы не тратить силы на подъемы и спуски.

Встретив управдома, заикнулся о переходе, он не отказал:

— У тебя, думаю, не горит, но поселим.

Лишь разок я услужил Саше, отстояв два часа в очереди, — выкупил дневной хлебный паек, сто двадцать пять граммов. Она без конца меня благодарила:

— Ты ж и сам голодуешь, да еще где-то и работаешь. А тут мне помогаешь. Как это мило!

Она вроде не знает, где я работаю, хотя я называл не раз. О хлебозаводе я рассказывал: что там и как. Даже про калачи, которых не пробовал, но она пропустила мимо ушей.

Крохотин ради нее мог бы что-то, но не пошевелил и пальцем. Странно, что она вроде и не замечает его холодности.

Мы с Крохотиным давно не мылись в бане. У меня выкроилось время.

Ближняя к нам баня — полукруглое темнобокое сооружение — как стояла, так и стоит: бомбежки ее не повредили.

Нательное белье с некоторых пор мы стираем сами — прачечные закрыты. Погладить тоже негде. Но белья кот наплакал — трусы да майка. Кладу в носовой платок обмылок — и я готов.

— Вздумалось тебе, Илюхин, и самому идти, и меня тащить, — ворчит дорогою Жора. — Какая баня? Наверняка ни жару ни пару.

— Что бы ни было, а мыться надо, — наставляю я.

Он ступает твердо, ноги не волочит — сбереглись резвость и сила. Он и париться на полок поднимется, а я, пожалуй, не вынесу простого мытья. У меня нигде не болит, но я вял и сонлив. Говорят, это приспособляемость.

Дорога вся желтая от листьев, под ногами хлупает вода. Во дворах пусто. Только кое-где зенитчики перекрашивают орудия: были зеленые, теперь желтеют, зимой преобразуются под снег. Скоро, скоро зима.

С тревогами я так свыкся, что не поднимаюсь среди ночи с постели. Крохотин всерьез гордится:

— Приучил я тебя, Вася, а то бы ты так и носился вниз-вверх, попусту расходовал силы. А что, скажешь, не попусту? Пока ж ты живой и невредимый.

Да, я живой и невредимый, сохранил способность мыслить и чувствовать.

— Жора, — говорю я в удобную минуту. — Почему бы тебе не пожалеть Сашу?

Он останавливается:

— Вон ты о чем! Да я жалость не только не признаю, а презираю. Противно кого-то жалеть. И мне будет противно, если замечу, что меня жалеют. Без жалости легче, свободнее.

— Но себя-то ты жалеешь,— говорю я.— А ты бы других так-то! Жалея, мы бережем и спасаем друг друга, значит, и себя тоже.

Как видно, я принудил Крохотина задуматься. Что ж, подумай!

— Говоришь, бережем и спасаем,— повторяет он.— Но Саше я ничего не должен, как и тебе тоже.

— Долги ты как считаешь?

— Очень просто — ни у кого не беру, никому и не должен.

— Гляди, туго тебе придется, Жора,— говорю я.

Остаемся каждый при своем мнении. Нет, жить вместе нам нельзя. Да и не придется...

Баня неподалеку. Вокруг следы бомбежки — погнутые железные связи на обрушившихся стенах жилого дома, на земле битые стекла, куски штукатурки. Запустение и разруха. Когда этого не видишь, легче, а вот все перед глазами — и будто опрокинутый вверх дном мир. Опрокинутый и потрясенный.

Крохотин торопит:

— Идем же! Неужели раньше не видел? Уж эти страдатели и сострадатели!

В сыром предбаннике не согреешься. Я вяло раздеваюсь, а Крохотин моментом все с себя прочь на скамью и уже пританцовывает на одной ноге голый. Ничуть не исхудалое тело его упруго качается на толстых волосатых ногах. Он еще и журит меня:

— Где же тепло? Я дрожу, понимаешь? Прохватит, и воспаление легких, только этого и не хватало. А еще деревенский, предусмотрительный!

С ног до головы вижу себя в настенном зеркале. Ужасаюсь — ноги-палки, впалый, подтянутый к ребрам живот. В гроб кладут краше. Жора, конечно, успел обозреть меня, но сочувствия от него нет, ему просто-напросто неприятно смотреть на мои обтянутые кожей кости.

— Быстренько, Илюхин, быстренько!

У меня не попадает зуб на зуб. В моечную нас провожает фигура в длинном темном халате — сразу не понять, мужчина или женщина. Даже и голос усредненный:

— Помогаетесь, за собой уберете. На меня плохая надежда, хоть за порядком надсматриваю, и за то спасибо.

— Ты нам зачем это говоришь? Поставлены на это самое, и убирайте! — ворчит Крохотин и спрашивает: — Есть ли парок?

Париться он мастак.

— Ишь, парку захотел! — бубнит разобиженный банщик. — Тебе, может, веничек березовый? Нет ни пару, ни веников, вода пока есть, и ладно.

В сумраке, кроме нас, еще кто-то есть, вовсю плещется. Не очень давно народу здесь было полно, теперь никого. Тепла большого нет, но все же не как на улице.

— Привел, Илюхин, ну, привел! — Жора все еще доволен.

Скольжу с тазом воды по мокрому цементному полу к скамейке. Кожа у меня сухая и жесткая, чуть тепленькая вода не пристает, скатывается. Крохотин моментом переменялся — уж резвится, довольный:

— Ничего, Илюхин, правильно, что меня приташил, а то бы не собраться. Запросто обовшиветь можно. Кстати скажу, одно насекомое я изловил под мышкой. Ты у себя не замечал?

Он меня хвалит!

— Спинку мне потри, — прошу я.

— Хм, а почему бы сперва тебе мою не потереть? — Первенства он ни в чем не уступит! — Я ж, видишь, разогрелся, розовый весь, а ты синий.

Оно так, я не могу согреться. Берусь за дело — шаркаю и шаркаю его гладкую спину, похлопываю намыленным платком мускулистые лопатки. У меня нет силы, чтобы подналечь, ерзать и ерзать с нажимом, а он повелевает:

— Старайся, Илюхин, дави, а то и я тебе так. Какое же это мытье?

Сердце у меня колотится, готовое вырваться, руки немеют, перед глазами мелькают точки и запятые. Кажется, еще немного, и я рухну, где стою, а он свое:

— Дави, Вася!

Намываю чужое тело, и помню, что у меня дома ни кусочка хлеба — нынешняя норма съедена утром. Впрочем, остались талоны на сахар. С какого-то дня хитрю — сладкие талоны отовариваю не сахаром, а шоколадом. Получаю, конечно, не плитку целиком, а лишь малую ее долю. Попавшую в рот крупницу стараюсь не сосать — так она подольше не тает на языке и голод меньше мутит. На что только непустишься! К примеру,

жую кусочек кожаного ремня. Вкуса никакого, проглотить нечего, но создается самообман — ем же! Или попадет долька хлопкового жмыха — твердого, будто камень. На фабрике из него выжато все, что можно, осталась лишь колючая шелуха, но, удивительное дело, идет, еще как идет! А Крохотин брезгует, отворачивается:

— Не проглотить!

Ему можно отворачиваться.

Из дуранды, как бы она ни была несъедобна, я насобачился варить нечто вроде похлебки. Сытости никакой, зато наполняет и греет желудок.

Наконец-то Крохотин сдается:

— Возишь по спине, будто при последнем издыхании. Посиди!

Это он не меня пожалел, а самого себя: стоять без движения студено.

Он берется мыть мою костлявую спину. Ездит мокрым платком, словно считает жердочки. Прикладывает всю силу — наддаёт кулаками, не жалеет воды, шлепает ладонями, да еще и орет:

— Разделаю, кровь заиграет, ишь, застоялась! Да ты присядь, мне ж неудобно, ух, неживой!

Присядь, а у меня и ноги как чужие, не гнутся. Сказать, чтобы полегче, нельзя — только себе хуже.

Намылив, Жора пригоршнями кидает воду:

— Вот тебе, Илюхин, вот тебе! Жаловаться не будешь, что Крохотин поленился, схалтурил.

Но я не выдерживаю, кричу:

— Да ты что разошелся, уймись!

На крик выползает банщик.

— Что такое — наводнение, пожар?

За стенами глухо грохочет — не поймешь, то ли зенитки, то ли рвутся бомбы. Я тревожусь, а Жоре и голому хоть бы что, он даже шутит:

— Развалит баньку, а мы голышами, как из яйца вылупились. И смех и грех!

Окатившись чуть-чуть подогретой водой, шлепаю в предбанник. Мытье силы не прибавило, больше размягчило. А Крохотин живо обмахнул свое сырое красноватое тело полотенцем, шумно вобрал воздух, проворно натянул белье. А я отупело сижу, обессиленный, медленно одеваюсь, и мы друг за дружкой выталкиваемся на улицу.

Отбоя тревоги нет, и улица пуста. Поблизости тихо, а вдали, на западе, ухает и рвется. Высоко в небо вздымаются клубы черного дыма, это, пожалуй, над морским портом. Идти нельзя — остановят, и мы ждем на крыльце.

— В бане не простудились, так здесь доведем себя, — ворчит Крохотин.

Вынырнувший сбоку, из кустов, милиционер спрашивается, кто мы и откуда. Выслушав меня, приказывает:

— Ну-ка, живо отсюда!

Репродуктор со столба трубит отбой. По дороге сворачиваю в магазин в надежде взять хоть что-нибудь из съестного. Но — шаром покати, лишь желтые пакетики лимонной кислоты. Беру один и сосу в надежде, хоть малость подавить голод. Ан нет, не подавить, только хуже.

11. Федот и лошадь

О недолгой жизни лошади поведал мне солдат Федот Бахвалов, вологодский, точнее устюженский мужик. Служил он, а стало быть и воевал, первый год. И пока ничего — не убит, не покалечен. А дальше? А дальше, как он говорил, что бог даст. Федот так часто повторял это свое «бог даст», что схватил строгое командирское внушение:

— Эй, Бахвалов, кончи-ка со своим богом, понял? Веру при себе держи, не разглашай.

— Добро, есть при себе держать, — согласился Федот, однако тут же и нарушил клятву: — Даст бог, удержу.

— Опять?!

— Фу ты, леший возьми...

Служить ему приходилось потяжелее, чем другим. Что одолевали его бомбежки и тревоги, это само собой — не спать он и прибыл. Но на службе Федот не один, он на пару с лошадью Перезвоном. И родом и жительством оба они из деревни Ильинки, оба о ней, выпадет момент, тоскуют. У Федота и повод для разговора найдется:

— А еще ты должен ясно помнить мою Анюту. Ничего ведь бабенка, правда? И не только она в моих глазах пригожая. Хоть с кем душевно обойдется, бывало.

Разве ты лично от нее мало поблажек видел? Да я ж, не тебе говорить, крутой норовом, на тебя в иной час шибко осерчаю. А она выгородит: «На ком, Федот, зло вымещаешь? На безгласном покорном Перезвоне!» Так я, и правда, остановлюсь и задумаюсь, зачем же так несправедливо поступаю?

В новой своей воинской жизни Федот возил на запряженном в зеленую повозку Перезвоне что попадется: тяжелые снарядные ящики, кули с солью и с песком-сахаром, картошку и печеный хлеб, солдатскую обмундировку. Но это он возил в жаркую летнюю пору, когда с боями отступали из-под Пскова. Теперь же сахар и картошку, считай, и не возил, а возил только снаряды. Еды им обоим доставалось день ото дня все меньше. Лошади на корм шло только сено и сырая трава, ни единого зернышка. У Федота подобная же штука — хлеба совсем мало, приварка хоть и много, но не за счет мяса, жиров и крупы, а за счет мутного соленого кипятка. А службу с обоих как спрашивали, так и спрашивают полной мерой, даже и построже прежнего: у тех, кто при орудиях, прибыло работы, снаряды только подвози.

Но не все Федот высказывает вслух, больше думает молча: «У Перезвона горькое времечко наступает. Я и при малом рационе перебыюсь, как у нас в Ильинке говорили: то хлеба ломоток, то каши горшок. А лошади, как снег ляжет, станет и вовсе худо: ни клочка сена, ни горстки овса. Только жмыхов сколько-то, а с них ног таскать не будешь. Эх-хе!»

Опали у Перезвона бока, выперли ребра. Ходил он в упряжке понуро, опустив голову, подчинившись одной привычке. Прежде, когда неподалеку стреляли орудия, он по-молодому настораживался, вытягивал шею, прыдал ушами. Теперь стрельба неподалеку идет полным ходом, даже и бомба, бывает, колыхнет землю, Перезвон стоит себе, дремлет, вспоминая свою прежнюю мирную жизнь в Ильинке.

А прежняя, деревенская жизнь, хоть и была не прекрасная, все же ее нельзя сравнить с теперешней. Ухода Перезвон и не видел. Не было у него хозяина, кроме Федота, который добровольно заботился о лошади. Не выкрой он времени на уход, никто и не подумает, бывало, напоить и накормить. Только и сам Перезвон не терялся — то отвоюет у соседки-лошади овса, то, улучив момент, вынесется на луга. Бывало, и на озими

убегал. Увидят люди, прогонят, не увидят, поест вволю. Теперь иная жизнь. Некуда сунуться, всюду дома, каменные ограды, высокие насыпи. Ничего не ущипнешь зубами.

Лишь Федот аккуратно приносит в ящике измельченных жмыхов. Хрумкой, Перезвон, и будь доволен.

Сидим с заветренной стороны возле дома, в котором живу.

— У тебя отец есть? — интересуется Федот.

— Далеко отсюда, в тайге, — отвечаю я. — А может, на фронте.

— Несладко без меня моим детушкам, да ничего не поделаешь. Так бы и запряг Перезвона, и тронулся в родную сторонку. А что? За неделю бы он меня примчал на радостях.

Федот загорается явно несбыточной мечтой, вроде нет ни войны, ни голодовки, ни опасности. В угрюмой веселости я подогреваю его фантазию:

— И мне бы с тобой.

— Довезу, парень. Моей стороной ты бы остался доволен. Светлая она и дивная.

— Моя тоже светлая, — уверяю я.

Меня не покидает желание хоть на короткое время отринуться от теперешней жизни. В необычном, радужном свете рисуется мне наша долгая ездка в его родные края, ночевки вблизи тихого поля, печеная картошка, только что вынутая из золы и по-особому пахнущая. Но картина как внезапно возникла, так и померкла — никуда нам не поехать. Мне охота знать, что Федот думает о жизни и смерти, хотя и сам могу ждать от него того же вопроса.

— А что, если погибнуть придется, Федот? — собравшись с духом, спрашиваю я.

Он не поднимает стриженной головы и не глядит на меня, будто этот вопрос ни к нему.

— Все может быть, парень, все может быть. С нашим братом смерть-плутовка не балуется. Да и то надобно знать, на войну зачем идут, разве не понимают? Секунда, и будто на свете не было. Но как ни живешь, в какое нас пекло ни заносит, а все надеешься. Это как зорька светлая на темном небе — вдруг-то она разрастется!

— Есть такая штука, предопределение,— говорю я. Федот вскидывает голову:

— То по-ученому. По-нашему же так: бог-то бог, но и сам не будь плох... Что остается от простого человека после кончины? А считай, ничего. Помер в деревне, еще сколько-то годов знают родные, где лежишь и кто твои соседи, а потом никому не нужно. Лежишь и лежи — тебе никто не мешает, и ты никому не мешаешь. Прошлым годом я своего дедушку Макара Гурьяныча пошел поведать. И могила не ясно, которая. Крест, помнится, ставили большой, крашеный. Его и в помине нету. А сколько таких обезличенных могил! Но хоть бугорок остается. На войне и того нет. Сунут в общую яму, разбирайся, кто такой и откуда.

К вечеру хмурится небо. Туманная мгла облегает землю. Этажи зданий плавают поверх белесого туманца отдельно, как бы над землей.

— В такую погоду тревоги, верно, не будет,— предполагаю я.

— Будет! — уверяет Федот. — На войне у каждого своя работа. У меня, скажем, снаряды подвозить, у другого стрелять, у третьего бомбы сбрасывать... У тех, у ненавистных, такое же разделение. Прилетят!

Как бы подтверждая его слова, ревет сирена.

Через малое время завертелось. Огонь и дым. И взрывы, и выстрелы, и крики, и команды, и людские вопли, и звон стекла — все слилось. Я стою, оглушенный. Только неосмысленно твержу:

— Федот, Федот!

Но его не видно.

Взлетают на воздух оглобли и колеса. Сквозь грохот слышу отчаянное лошадиное ржание. Воздухом меня валит на землю. На небе — ни солнца, ни звезд. Лишь на закате отраженно светит облачко. Поднявшись, ощупываю себя. Во рту солоновато от затекающей крови. Но боли нигде нет, выходит, только где-то царапина.

В десяти шагах, истекая кровью, лежит Перезвон. Рядом с ним, понурившись, стоит Федот.

— Не успели мы с тобой, браток, очередной раз съездить, но ничего не поделаешь.

Судорожно потянувшись, лошадь затихла.

Тут же пятеро бойцов стали определять ее в дело. Через полчаса там, где она лежала, не остается ни кос-

точки. Мясо и внутренности унесли, шкуру распялили на железной изгороди, кровавые пятна засыпали землей.

12. Ложка масла

Как погиб Перезвон, я рассказал, воротясь, Крохотину. Тому хоть бы что:

— О чем только думаешь, Илюхин? Лошадь! Скажи лучше, ты принес оттуда хотя бы кусок конины?

— Какая конина, ты что?! — У меня в глазах стоит погибшая лошадь.

— Какой все же ты неприспособленный, — бьет меня словами Крохотин. — Чем еще и жив, не ясно.

Да, это так, я нигде не беру — и не умею брать! — сверх положенного по карточкам. Отстаиваю долгие часы за кусочком хлеба, за кульком крупы. Крохотин же ухитряется получать все с ходу, без толкотни. Я еще только занимаю очередь, а он уже несет хлеб:

— Как ты сумел, Жора?

— Подошел и взял.

Его нахальство мне ненавистно: он рвет у другого, оттирает слабого. Вчера он хвастался Саше, что даже в такую пору ему кое-что удастся.

— Тебе удастся, а мне ничего, — ответила она.

Глядя на меня сострадательно, Саша будто хотела сказать: и тебе, Илюхин, тоже ничего не удастся. Как же нам быть, неумелым? Но она не сказала. Мне стало лучше, теплее, оттого, что мы с нею такие робкие и что нам по своей робости, возможно, и не выжить — ведь и не выживем вместе!

Все ближе, ближе зима. Ночью уже подмораживало. Байковое одеяло не грело.

— Замерзнем, Илюхин, — говорит Крохотин. — И чего ждем?

— Нужна печка, — отвечаю я.

— Моя печка, твои дрова. Идет? — делит он обязанности.

Уже на другой день Крохотин ставит железное чудо середь комнаты. Трубу выводит в окно.

— Топи, Илюхин!

Топи — будто у меня дровяной склад под окном! Надежда одна — собирать сучков в парке.

Воздух чист и сух. Сквозь сосновые лапы бьет в гла-

за солнце. Особенная тишина. Трава пожухла. Блестит натянутая меж деревьями паутина. Сучков и прежде здесь валялось немного, теперь не видать вовсе. Листья с кленов и лип почти осыпались. Светло и далеко видно. В воздухе жужжат отогревшиеся мухи. Если бы шагало потверже, я бы шел да шел, но маловато силы, и я сажусь на скамью.

За спиной трещат под ногами ветки. Саша!

— По следам кинулась догонять: Жора сказал, добываешь топливо.

— Не нашел ни щепочки.

— Ты да не найдешь! — Саша верит в меня.

— Должен. Мне надо хоть погреться.

— Жоре тоже.

— Ему-то не страшно,— говорю я.— У него в городе сытая и устроенная родня. Он и ночует больше там.

— Знаю,— кивает Саша.— О тебе и о нем я все знаю. Он скрытный, но я вижу и догадываюсь. Не думай, я не простачка, я хитрая.

Она игриво грозит мне кулаком. Вот у нее что еще сохранилось!

Мы двигаемся аллеей. Называлась она когда-то детской: детей тут было всегда множество. Дров у меня на руках как не было, так и нет. Вдруг натыкаюсь на кучу кем-то собранных листьев. Под ними сучки.

— Находка! — кричу я обрадованно.

Саша не меньше меня нуждается в топливе: у нее в комнате холоднее, чем на улице. Она берет первая, а я остатки. Взяв, бредем назад.

— Благодарю меня, Илюхин,— шутит она.— Один ты бы и не подумал заходить так далеко. Правда?

Ноша у меня ничуть не тяжелее, чем у Саши.

— Силы нет, Илюхин? — спрашивает она отнюдь не ради подначки, а сочувственно.

Двигаемся друг за дружкой. Встречается укутанная по зимнему женщина, с завистью глядит на нашу находку.

На лестнице мы с Сашей расстаемся.

Как всегда, Крохотина нет дома. Бросив сучки возле печки, решаю, спать все разом или оставить сколько-то для другой топки? Скупость стала моею спутницей. Все оставляю на завтра: хлеб, сахар, масло, как бы ни было их мало. Дрова тоже нельзя жечь все сразу. Осталось добыть огня: спичек у нас нет.

Узнаю по приметам, Крохотин ушел недавно. Потеплее оделся. Одежды у него хватает, а у меня что зимой, то и летом.

Одежда ныне потеряла цену: за кусок хлеба можно выменять ватную телогрейку. Но я только и жив куском.

От соседей приношу горящую бумагу. Дрова занимают моментом. Огненные зайчики играют на полу и на стене. Удивительно — можно погреться!

В комнату прокрадывается Саша.

— Тепло-то, боже! — восклицает она. — Какой же ты находчивый!

Вот я уже находчивый!

Она хватается за руки, и мы кружимся, как бы танцуем:

— Тра-ля-ля, тра-ля-ля...

Покорившись ее бездумному веселью, я следую за ней. Мы дурачимся лишь минуту.

— Ну, вот, я уже и не могу больше. — Саша, бледная, расслабленная, опускается на стул возле печки. Руки дрожат.

— Все как надо, — успокоительно говорю я.

— О чем ты, Илюхин? — спрашивает она, все еще не отдышавшись.

— Мы у огня. Ты пришла, и я на седьмом небе.

— Да что тут такого? — смеется она польщенно. — Ой, чудак, ну, чудак! Пришла и пришла, никакого не событие.

Меня не оставляет желание покормить ее, и не чем-нибудь, а своим хлебом и маслом Крохотина. У него в тумбочке другой день стоит пол-литра хлопкового масла, у меня же ни капли. Будь что будет, а я покормлю Сашу своим хлебом и маслом Крохотина!

Выкладываю на стол два ломотка хлеба, ставлю масло. Хлеб блокадный, ржаным его не назовешь — сырой и черный, но все же лучше дуранды.

— Тебе, — говорю я.

— Почему мне? — озадаченно спрашивает Саша. — Твое же, и ешь, пожалуйста.

— Не отказывайся, — настаиваю я.

Она продолжает отговариваться, но, наконец-то, под тем предлогом, что когда-то и она меня покормит, берет ломтик, макает в масло, налитое в столовую ложку.

— А что? Вкусно, даже очень,— хвалит она.— Я и не знала, что хлеб с постным маслом — объединение!

Я рассказываю, как в детстве ел блины в семье у дяди Ивана.

— Тут хлопковое, а там конопляное, точно уж объединение! — уверяю я.

Сашу вдруг заинтересовало мое прошлое:

— Откуда ты взялся, Илюхин? Нет, правда, откуда? В Шахунье ты же только останавливался, а не жил. Родился и жил, думаю, ты в глуши. Только не обижайся: никто не выбирает, где ему лучше родиться и жить в детстве. Откуда приехал Жора, из Рязани или из Тулы? Вот память!

Но хлеба больше нет, ложка опустела, печка затихла. Вставая, Саша благодарит:

— Какой ты! Я тебя и не знала, совершенно не знала. Но ты все-таки из самой глуши, угадала?

— Из глуши,— киваю я.

— Может, и лучше, из глуши,— подбадривает она.— Тебя ничем не напугать.

Она исчезает, довольная, а я сижу, обрадованный ее появлением, и гляжу на затухающие угли в печке.

Крохотин появляется в сумерки. Хмуро говорит, что с его дядей, который ему помогал все это время, несчастье: тяжело ранен при бомбежке.

— С этого дня мне будет туго, как тебе, как Саше, как всем.

— Ничего особенного, не все коту масленица,— говорю я ничуть не злорадно.— Привыкнешь!

— Кто привыкнет? Я привыкну? — ершится Крохотин. Рыжий чуб его дрожит, как от ветра.— Нет, мне не привыкнуть. Легко привыкают те, кто и раньше редко когда бывал сытым. Скажем, ты потому и привык.

Как я жил, он знает из моих скупых рассказов. А как живет он, я вижу своими глазами.

— Недолго, скоро уйдем.— Надо же его чуть-чуть угешить.

Тут Крохотин вытаскивает из тумбочки бутылку с маслом. Вертит ее в руках так и этак, будто не доверяет глазам, спрашивает:

— Отхлебнул?

Сашу не впутываю:

— Отлил ложку.

— Этакое ты жулье, Илюхин! — От злости у него дрожит подбородок. — Обыкновенное мелкое жулье. На чужое польстился, не вытерпел! Свое побережь не можешь, ворует. Попросил бы лучше... Знаешь, что я сделаю?

Он поднимает кулаки. Я готов защищаться из последних сил. Сердце ощутимо колотится.

Какое-то время мы стоим друг против друга, готовые биться из-за ложки масла. Но что масло? То лишь предлог. Сказывается взаимная неприязнь, копившаяся неделями, месяцами. Он всегда видел во мне бесхлебника. Чтобы удержаться, не покинуть на полпути институт, я принужден был карабкаться, на всем выгадывать копейки, прирабатывать где только можно. Ему же давалось все готовенькое. Он этим гордился:

— Чтобы я пошел выгружать картошку и дрова? Дудки!

А тут еще примешалась Саша. Он к ней холоден и насмешлив, я же ее жалею, но выразить это открыто мне не удастся.

Кинуться друг на дружку с кулаками не успеваем: словно учуяв неладное, вбегает Саша, кричит с порога:

— Мальчики, да что же вы, мальчики? Жора, Илюхин, да что вы, в самом деле?

— Ничего, Саша, ничего, — бормочу я.

— Чуешь, Сашенька, Илюхин слопал мое масло! — гневно докладывает Крохотин. — Это же черт знает что такое!

— Масло?! — пугается она. — Ты что, какое масло?

Крохотин ставит на стол злополучную бутылку. Саша непонимающе глядит на меня, кричит потом:

— Зачем ты так поступил, Илюхин? Жора, это не он, это я!

— Ты?!

— Я-я... — Саша заливается слезами.

Себя я оправдываю лишь тем, что у меня и у Саши нет масла, у Крохотина запас. Но оправдание ли это?

13. Метельные вечера

В середине октября выпало много снега. В ноябре мело. Ходить стало тяжелее. Спирало дух. Ноги не

идут — волочатся. Мне же не только ходить, но еще и дежурить ночью на крыше дома. Я слышу гул самолетов, вой бомб, хлопки зениток.

Небо живет. Среди бомб, кажется мне, есть и такая, что взорвется поблизости и воздушной волной слизнет меня.

В случае чего, как переживут потерю отец с матерью? Отец мне пишет, вернее, писал всегда так: «Здравствуй, дорогой наш сынок Вася. Мы, твои родители, от души желаем тебе быть целому и невредимому, а по жизни счастливому. Еще пропишу, учишься как можно лучше, чтобы не звать тебе такой ломовой работы, какую делал и делаю я, твой отец...»

Работу его я видел. Было время, он пахал землю по-старому, сохой. Когда лошадь тащит, пахарю приходится держать соху руками. Чтобы пособить отцу, я хватался за нее сбоку, но он прикрикивал:

— Не замай, Васька! Соха не игрушка, повалится, калекой сделает.

С земли долой — стал пилить и сплавлять лес. Неделями мы с матерью не видели его. Приходил изработанный, еле живой. Жаловался:

— Застудился, изломался, хоть отдышаться чуток.

Мать жалела его:

— Не портил бы себя-то, нашел где повольней и полегче. У нас не семеро по лавкам, единственный сынок.

— Единственный, так и голодом должен жить, босой и раздетый бегать? Не могу и подумать! Вырастет, как хочет, а пока при нас, я его накормлю и одену.

А что он мог? Приносил буханку хлеба и наставлял:

— Приберегайте, не сжамкайте одним махом. Взять больше негде.

Но мне и эти его редкие приносы были в радость.

Одежду я не просил. Стащит, бывало, отец со своих плеч фуфайку и скажет:

— Донашивай, Васька, теплая. А что порвалась местами, мать зашьет, тебе жениться еще когда.

У меня и малой обиды не возникало на него: как может, отец обо мне заботится. В душе только благодарность: сколько же от него требовалось терпения и выносливости, чтобы содержать нас с матерью! Она вечно прихварывала, на работы выходила лишь кое-когда, частенько плакала:

— Как вы тут без меня-то останетесь, два мужика?
Со мной иногда откровенничала:

— В тайгу мы по отцовской воле угодили — за деньгами погнался.

Живут они там же, давно не видя меня. Мать, верно, молит бога, чтобы я выжил, уцелел.

Внизу, на втором этаже, не спит Саша. Мне представляется, она сидит, озябшая, кутаясь в летнее пальтецо, как и я кутаюсь в свое — на рыбьем меху. Мне удобно от мысли, что я как бы охраняю жителей, и Сашу тоже. Наш дом теперь малонаселенный — кто-то на фронте, кто-то успел выехать в тыловые места. Множество комнат на замке. Люди в такое время тянутся друг к дружке. Но у Саши никого нет — живет одна в комнате.

Вглядываюсь в темноту. Далеко, в морской стороне, слышится непрерывный жесткий шелест: бьют стоящие на приколе корабли и батареи Кронштадта. Еще дальше вспыхивают широко огни — там тоже стреляют.

Мне представляется — вся земля ныне во мраке. За полями, лесами, в глухом краю, сидит в темноте у окошка моя мать и шепчет сквозь слезы:

— Полетела бы я к тебе, сынок, пособила бы жить, да нет у меня крыльев.

Сколько матерей в эту минуту вот так вздыхают и плачут!

При истощном вое сирены мне становится щемяще тревожно. Во дворе топотня: люди спешат в укрытие, туда же и Саша. Всем охота жить, жить...

Стрельба доносится с заката, где долго не гаснет оранжевая полоса неба. Пальба все ближе, ближе. Жутко одному. В шаге от меня — подлинно пропасть. То последнее, что я успеваю ощутить. В следующий миг на меня вроде валится озаренная красным косым светом стена. Грохот потрясает здание. Под ногами нет опоры, но я никуда не лечу. В том же красном свете видна земля внизу. А дальше — нет памяти, ничего нет...

Пробудившись от странного забытья у себя в комнате, я вижу Сашу. Она сидит в моем изголовье. Я лежу на своей кровати в той же одежде, в которой дежурил на крыше. Хочу сообразить, как очутился тут, кто доставил, но язык не слушается. А тут еще и Саша требует:

— Помолчи, Вася, помолчи!

Ясно слышу ее, и мне хочется, чтобы она говорила, говорила, и мое желание как бы угадывается:

— С крыши тебя вынес Жора. У него хватило силы.

Так-то, его сила пригодилась мне! «Что ж, я ему благодарен,— говорю я самому себе.— Можно даже верить, я обязан ему спасением».

И опять Саша распознает мой внутренний разговор.

— Ты лежал без признаков жизни, и Жоре стоило труда спуститься по лестницам с ношей.

Будто очнувшись, я подаю голос:

— Где же он?

— Тоже пострадал, и еще как! — отвечает она печально.— Стеклами ему искалечило лицо, но глаза, к счастью, уцелели. Попал в больницу.

Пробую сесть. Нигде не болит, лишь кружится голова, как при угаре. Недоумеваю:

— Как это он решился ко мне на крышу?

— Ты его не понимаешь, а я понимаю,— отвечает Саша.— Полежишь, поправишься.

— Должен,— ей в тон отвечаю я, хотя и понимаю, чего будет стоить поправка.

— Что несмертно, проходит.

Правда и это.

Мы сидим после налета перед новым налетом. Сколько их впереди?

14. Лед под ногами

Ни земли, ни неба, лишь белый снеговой простор во все стороны. Мы тащились друг за другом, казалось, вечность неведомо куда. И не у кого спросить.

Слева по пути вспыхнул красный неяркий огонь и тотчас потух. И кроме нас есть где-то неподалеку люди! Что это: фонарь, костер, автомобильная фара?

— Хоть бы что-нибудь попало! — донеслось сзади как мольба.

За плечами — мешок с солдатским имуществом, но хлеба ни кусочка.

Ночь нехотя таяла. Стали заметны следы на снегу. Тишина растворилась в буйных раскатах — били фортовые орудия. Грохотало минуту-две.

Тот, что шел впереди меня, покачнулся и сполз на снег.

— Порох сгорел, друг?

— До зернышка,—последовал еле слышный ответ.—
Передайте морячкам, братцы, Алешка Смышляев, вятский мужик, по дороге выдохся.

Его подняли под руки, но последовал приказ:

— Идти, только идти! Упавших подберет машина.

Прибeregая силы, я не оборачивался, не махал руками, не говорил. Мысли, воспоминания подавляло непреодолимое желание тепла, отдыха и хлеба.

Рассвет все ширился и уже царствовал над льдами. Зачернела земля — робко, неуверенно.

— Неужто добрались, не остались лежать на льду? — изумился мой сосед с неясным лицом.

Остров открылся не весь, а лишь городская часть его, где теснились длинные казармы, грузный собор, земляные валы по берегу, замороженные возле бетонных стен кораблей.

— Ишь, расползлись, а ну, живей!

Кто-то еще торопил, верно, по командирской привычке.

Ощущение близости обитаемого места внесло малое оживление.

— Всю ночь шли. Неужто назад в Питер притопали?

— Разуи глаза, лапоть! Питер али среди льдов?

— Кто паникует? А ну!

Под ногами жестко осыпался снег. Дома глазели пустыми — без стекол и рам — окнами. Неужели и здесь не будет теплее, чем на снеговой пустыне? Моряки в черных шинелях приплясывали на морозе, пялили глаза на живую солдатскую цепь, как на чудо: откуда взялась?

Один лупоглазый отделился, подступил ближе:

— С большой земли, пехтура?

— Да где она ныне, большая-то? — полетел ответ.— Она неизвестно и где.

— Но ведь есть же большая?

— Есть-то, понятно, есть. Не может не быть.

— Если бы не было, что бы осталось у каждого?

Длинная с рыжими стенами казарма без дверей, без крыши, без потолка: над головой распростерлось облачное, красное в солнечных лучах небо. По нему неторопливо, как бы разминаясь, прошелся самолет.

— Студено, братишки!

Однако обогреться нашлось где — в подвале топи-

лась железная печка. Солдаты моментом заполнили подземелье, приткнулись кто где сумел: вдоль стен, по углам, на бетонном полу. Припав ко мне костлявым телом, пожилой глухо спросил:

— Ты как полагаешь, сынок, зачем нас сюда пригнали? Не берег ли стеречь?

— Воевать, отец.

— Морячков, стало быть, выручить?

— Он выручит, видали!— трескуче засмеялся кто-то в углу.— Да тебя самого кто-нибудь бы выручил.

Пожилой встрепенулся:

— Меня?! Если я низенький и размазня с виду, думаешь, и баста? Да я петушком, петушком!

— Эх, петушок ощипанный!

Над пожилым потешились, а он как ни в чем не бывало опять припал ко мне и разговорился:

— К Пулкову я бы должен. Убивают, понятно, везде одинаково: не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. Но там бы хоть накормили: получи, Сухожердев, на блюдечке.

— Ему на блюдечке, экий чин!— ухмыльнулся все тот же неизвестный в углу.— Скажи, кто на блюдечке?

— Старшина.

— Старшина?!

Сухожердев фантазировал всерьез и уверенно.

— Послушай еще, сынок.— Это он сызнова мне.— К пулковской команде меня уже прилепили. Я пустым котелком брякнул на радостях. А тут вторично выкликают: Сухожердев! Мне бы переждать чуток, а я бегом. Говорят: шагом арш в другую команду, Сухожердев, поскольку одного тебя там и не хватает.

— Тебе что же, только из-за еды хотелось под Пулково?

— Еда сама собой, но там неподалеку жена и дети.

— Как бы ты к ним попал?

— А на ковре-самолете.

Наконец-то принесли два мешка хлеба. и распространился кружащий голову дух.

Приварка не дождалась — жевали хлеб всухомятку.

Безоружной, никак не устроенной пехоте было сиротливо на острове. Были мы подобны полевым и лесным птицам, неожиданно очутившимся среди безжизнен-

ных песков. Моряки — истинные хозяева острова — жили своей таинственной для нас жизнью. Они то и дело проходили поблизости и непременно задевали нас колкостями и обидными насмешками. Будь то в другом месте, мы бы за себя постояли, а тут лишь вразнобой огрызались:

— Никто вашего брата не трогает и проваливайте, морячки сухопутные!

Печку топили чем придется. Кто-то припер с берега выброшенную осенью волной доску, кто-то извлек из-под обломков оконную раму, откопали даже ведро со смолой. В тепле потянуло ко сну. Командирского голоса не слышалось — каждый пока сам себе командир. Радуйся короткому моменту, пехота: болтай, развлекайся, спи. Спать сидя во всем походном не в диковинку. Чуть что, и на ногах, только встряхнись по-птичьи.

Недолог сон.

— Ишь, разморило!

— Стройся!

Ругань:

— Куды прешь, ослеп?

В сумраке давка — запинаются, падают, ударяются башкой о балки и выступы.

— Ух!

— Вместе бы нам.

— Не бойся, Серега, по-братски пойдем, мало — еще наддадим фрицу!

Сызнова та же нескончаемая, вся в снегу, улица. Короток зимний день. Давно ли рассвело, и уже сумерки. Ноги не успели расслабиться. Где в эту минуту Саша? Как мне хочется, чтобы она жила и жила!

— Вот так! — Вдоль неровного строя носился молодой лейтенант, по виду, из штабных, кого-то пятил, кого-то выпирал вперед. — Вот так! К бою, к бою!

Завтра, а может, наступающей ночью нас определят. Будет полк, батальон, рота. Появятся знакомые, может, земляки. Прежде постоянно так — приходили и через малое время исчезали: убитые, раненые. Можно сказать, знакомство на бегу.

Расчет по порядку номеров. На острове убыль малая — двое не смогли подняться и встать в строй по телесной слабости.

— Налево! Ша-агом арш!

Ворчит снег под ногами. Отступают назад полуразбитые казармы, каменные заборы, столбы.

— Не опять ли в Питер?

— Ведут не налево, а прямо, стало быть, неизвестно куда.

Улица позади. Тропа поползла вверх, на береговую насыпь. Далеко за ледовой равниной вздымались, плыли и падали огни. Сумрак все надежнее пеленал землю. Откуда-то принесло дух елового дыма. Прошлая жизнь так отдалилась, что казалась уже не моей, а чьей-то чужой жизнью. На что можно надеяться — на удачу, на милость судьбы?

Белый остров внезапно пропал из виду, словно погрузился во льды. Материковая низкая земля встретила снегом и орудийным гулом.

— Бегом!

Надо было скрыться от огней, а ноги не слушались — бега не выходило, выходила трусца.

— Бегом!

Огненные столбы остались за спиной. Но приблизились другие огни — тихие, светлые: горели ракеты. Валил снег. Кружили по лесу — без дорог, без тропок. Огни светили то справа, то слева, то впереди.

Чудо! Одинокое строение среди леса — с окошками, с дверью. Нетронутое войной. Над головой потолок, на полу еловые лапы. Ни у кого ни еды, ни курева — сразу спать.

— Никудышное дело — бесхозность, — вяло, сквозь сон, проворчал Сухожердев.

Нашим «хозяином» стал командир полка — brave и такой подтянутый, что невольно думалось: живет он не в землянке, а в добротном городском доме. Говорит легко, терпеливо, вовсе не по-командирски.

Строй стоит по колено в снегу, а он прохаживался и расспрашивал про дорогу, давно ли из дому, кто там остался. Когда черед подошел к Сухожердеву, комполка справился о его настроении.

— Кормежка будет, настроение поправится, — отчеканил Сухожердев, не моргнув глазом.

— Молодчина, не покривил душой, — одобрил комполка.

Меня спросил:

- Студент?
- Так точно!
- Есть просьбы?
- Никак нет!
- Ишь, языком насобачился рубить!

Только исчез комполка, незнакомый великан-старшина занял его место.

— Сразу о кормежке заговорили? Будет вам кормежка! В шеренгу по одному стройся!

Ночуем в разгар лютой зимы не в казарме, не в избе и не в землянке, а в продуваемом со всех сторон шалаше — ни обогреться, ни посушиться, ни стащить с себя хотя бы на короткое время ватник. Распорядок дня до предела жесткий: рано, затемно, подымись, и сразу походы, тревоги, построения, стрельбы. Занятия не прерываются и с темнотой — хватает мертвенного света вечно висящих над нашими головами ракет. Сон — пять ночных часов. А какой сон с полупустым желудком в адском холоде? Впрочем, комвзвода лейтенант Духарев, черномазый, цыганского обличья, судил иначе:

— На свежем воздухе самый зверский сон. Сожмись в клубок, сунь нос под ватник и грейся. К примеру, я южный человек, морозов не видел, а здесь так наловчился, что будь и еще лютей холодюка, не взвою.

Спал ли он, никто сказать не мог — он только среди нас и перед нами.

— Сухожердев, я тебе приказываю!

— Боец Хорошило, стой перед командиром мертво, не болтай руками, не выпячивай брюхо. И гляди не в землю, а мне в глаза. Почему у тебя такие глаза, Хорошило? Плутовские у тебя глаза, ей-ей.

Не обходит и меня:

— Слова глотаешь, Илюхин. Ишь, какой хитрый! Ну-ка, повтори, что сказал?

— Простудился я, товарищ лейтенант, потому и перерывы.

— Где ты мог? Возможно, снегу наелся или ночью голый лежал.

— Не наелся и не лежал.

— Схитрил, лечиться уйдешь, — добивался своего взводный.

— Не хитрил.

— Ага, простуда сама пришла. На земляные, Илюхин, на земляные!

Роте позарез нужна землянка. Духарев доволен, что его взвод пособит. Он сам доставил меня к ротному старшине Умнову, бывшему плотнику.

— Дохляки мне не нужны, лейтенант,— прямиком резнул Умнов, глядя на меня искоса.

— Бери, старшина, Илюхин лишь на вид такой,— пустился меня хвалить Духарев.— Дай любую работу, не откинет.

— Говорено же, чтоб один к одному,— не уступал Умнов, крутя башкой.— Ротный, знаешь, считает: раз, два, три... А мне что счет? Надо бревна таскать, а этого хлюпика приклепнет. Пускай лучше под твоей командой приемы отрабатывает. Откуда в роту поступил, заморыш?

— После ранения, из госпиталя,— доложил я.

— Видать, видать,— кивнул старшина.— Беднягу порожного воздухом шатает, а ты, лейтенант, хочешь, чтобы он бревно поднял и понес.

— Не берешь, так и скажу ротному,— пригрозил Духарев.

Подействовало моментально.

— Так и быть, пускай остается, только пришли мне еще и Хорошилу, тогда Илюхин сойдет за придачу.

— Ловко придумал! Сразу двоих! Хорошило к тебе не попадет.

— Без него мне этот не нужен.

Старшина все же выиграл торг. Набрал он самых крепких и ловких. Ни одному я не годился в подметки ни по сложению, ни по росту.

В сосняке стлалась морозная дымка. Снег огрубел за ночь, подернулся жесткой коркой, резавшей обувь. Ни ветра, ни треска пулеметов, лишь хруст под ногами. Умнов пел, а что пел, только ему и ведомо. Его крупное тело проваливалось в снег, и он долго и неловко выбирался, будто выплывал из водоворота. Но и в такие моменты не обрывал пения.

Остановились, где поменьше снегу.

С глухим шумом полегли первые сосны, наполнив воздух снежной пылью. Мне велено подрубать корни. Работа подавалась еле-еле. Я моментом обессилел и взмок.

— Дай попробую.— Умнов выхватил у меня топор. Брызнули щепки.

Наготовив бревен, взялись стаскивать их к наполовину отрытой яме. Умнов со стороны подхлестывал:

— Кто безбожно филонит? Ага, Илюхин, вижу, филонит! Ну-ка, прямой ножку!

— Пополудни во взводном шалаше я застал одного Сухожердева. Он тяжело отпыхивался: досталось, видать, на учении.

Шли строем за едой. Солнце глядело широко и ясно. На открытых местах появились малые проталины. Иглы сосен, казалось, прокололи налипший на лапы снег.

Худой телом ротный повар старательно перемешивал в котле густо парившую кашу и наливал в котелки ровно столько, сколько захватывал черпак. Клянчили добавки.

— Хоть ложечку, душа!

— Не положено,— стриг всех под одну гребенку повар.

— Капни.

В шалаше потеплело малость: горячие котелки согрели воздух. Взводный сидел на корточках возле костерка, хлебал пшеничную кашу и сердито на меня взглядывал. Наверно, старшина пожаловался — успел! — какой я, и в самом деле, неважный работник.

15. Бей-коли

Каждый по-своему переживал оторванность от большой земли. Фронтная газета скупно и неопределенно вешала о боях на нашем клочке. Комвзвода Духарев знал не больше нашего и потчевал солдата общими словами:

— В других местах без нас обойдутся, наша доля здесь не осрамится.

Когда, вконец обессилев за день, я только-только уснул, как умер, над ухом истошно прогремело:

— Тре-евога!

Железные ребра миномета впивались в тело, ляжки не давали дышать. У солдата, что спешил впереди меня, на спине чугунная плита.

— Живей!

Ноги вязли.

— Рад на снегу поваляться, ы-ых!

Небо светлело.

— К бою!

Духарев зорко наблюдал, кто как готовится.

— Так не выйдет, Сухожердев! Готов без конца копать. Отставить, еще разок!

Опять затряслись людские фигуры, загрохали минные ящики.

— Шире шаг!

Мысли навещали меня лишь в редкие минуты ослабленности, а в напряжении, в беге, в тяжелой работе ни о чем не думалось. Команды воспринимались машинально, лишь бы хватило сил для действия. Прежде всего ладно тебе самому — командирское наказание обойдет стороной. Прошло время, когда кухня была местом отбывания провинки, — теперь работы у котла сходили за привилегию. Сюда можно угадать лишь по особому к тебе расположению взводного или старшины. Духарев вроде похвалялся своим правом:

— Да где ты себя так проявил, что с моего согласия на кухню попадешь?

Мне, скажем, даже не мечталось повертеться хоть денек в помощниках у повара.

У котла, правду сказать, тоже не рай — повар следит за каждым твоим шагом. Только ты не выдержал, протянул руку к еде, окрик:

— Брысь!

Пока служу, наказывали меня не раз. Бывало, целую ночь мерзнешь в карауле, а поутру, как добавок, идешь убирать ротное отхожее место. Взыскания принимаешь бессловесно, иногда даже с показной лихостью:

— Е-есть, товарищ командир, вне очереди!

Летишь, куда послали, сломя голову. Иначе словишь удвоенную порцию нарядов...

Примяв ногами снег, я с размаху упер минометную плиту, попробовал ствол на треноге, приказал подносчику:

— Давай, Кокорев!

Существо восторженное, тот самый Кокорев, — он на миномет и на мину глядит, разинув рот, как на чудо. А глядя так, и ведет себя непозволительно — обращается с миной, как с игрушкой. Сколько раз ему втолковыв-

валось: подведет тебя неумеренное любопытство. Комвзвода остерегался, как бы Кокорев не взорвал себя и окружающих. В роте его испытывали на всяких службах. Он подвозил на лошади мины с полкового склада. Но его уличили, что по дороге он заглядывает в ящики. Послали охранять ночью кухню, однако в первый же выход он уснул. Ротный Прилуцкий хотел приспособить его связным, но, посланный по самому срочному делу, Кокорев умудрился опоздать. Остановились на подноске мин: шарахнет, так его первого.

Мина у меня в руках, а Кокорев с наивным интересом наблюдает, как я готовлюсь послать ее в ствол.

— Не глазей, подавай еще!

Внутри ствола щелкнуло. Плита шмякнулась о землю. Воздух засвистел. Впереди взметнулись снег и мох.

— Промазал, Илюхин!— подлетая, с сердцем крикнул комвзвода.— Рвануло метров на пятьдесят правее, мать твою... Ой, печники-наводчики!

То всего лишь первая моя самостоятельная стрельба, оттого и промах. Во взводе все минометчики свежеепеченные. Исправив наводку, я пустил вторую мину. Эта ударила, где надо, однако взводный, казалось, не заметил попадания. В руках еще одна мина. Загорелось стрелять и стрелять, но Духарев охладил:

— Ишь, понравилось просто так бабахать! Там по живому месту придется бить.— Он рукой указал туда, где ухали орудия.— И сдачи получим... Сняться, живо!

Командир роты Прилуцкий высок. Он гордился, что костромская земля щедра на таких, как он, великанов. Иногда его можно видеть верхом на малорослой кобылке — ногами он почти доставал до земли. Службу он любил, и за промашки наказывал по всей строгости.

— Хоть какой фокус выкинешь, прощу, не прощу, если служишь нерадиво, тянешь волынку.

А поскольку солдатская жизнь — сплошная служба, то хватало того, что нельзя прощать. О крупных проступках не могло быть и речи. Скажем, ни один не помышлял о самоволке — куда уйдешь? Наказанию предшествовал вызов к Прилуцкому. Все, кого я узнал, побывали у него, а Сухожердев даже трижды.

Когда подошел черед и мне, я ломал голову, чего ожидать?

В утепленном шалаше Прилуцкий сидел где-то далеко, хотя ноги его торчали на выходе. В сумраке я видел его немигающие глаза и костистые, положенные на колени руки.

— Узнал я, Илюхин, что ты самый грамотей в своем взводе,— заговорил он по-свойски.— Да что взвод — во всей роте! И меня переплюнул: я всего-навсего педтехникум одолел, ребятишек вот таких пять годов учил.

Он рукою показал, каких учил ребятишек. Учителем вообразить его трудно: слишком он велик ростом и нескладен.

— А твой взводный и вовсе еле-еле читает. И кого ни возьми, не лучше. А ты в институте учился, в большом городе долго жил. Полагаю, и отец у тебя шишка!

— Никак нет, товарищ командир,— польщенно отозвался я.— Отец у меня деревенский.

— Да это и ничего, это лишь к слову. Я вот зачем: нам позарез нужна своя ротная газета.

— Газета?!— изумился я.

— Именно. Берись, Илюхин!

— У меня нет даже карандаша,— взмолился я.— А нужна бумага, краски.

Прилуцкий привстал на ноги, но принужден был так согнуться, что едва не касался руками земли — иначе в шалаше ему нельзя было стоять.

— Ага, не веришь затее! Еще раз добром прошу: берись! О карандаше и о бумаге не заикайся — добывай сам. Когда все под руками, тогда просто.

— А время?— спросил я.

Ротный не шутя погрозил кулаком:

— Ишь, куда закидываешь! Ради газеты, думаешь, тебя от службы освободят? Нет, будешь служить, как все, а в свободный час газету писать.

Так-то — в свободный час! Но когда же бывало, чтобы мы днем бездельничали не то, что час, а хотя бы считанные минуты? Обед на ходу, ужин затемно. Моя только глухая ночь — не вся и не каждая.

— Хотя бы свечечку, товарищ командир.

— Понимаю.— Он покопался в карманах полушубка.— Вот карандаш, и больше у меня ничего нет. А газетка чтоб завтра была! Полк справляет двадцатилетие. Пусть комполка увидит, как мы умеем! Обстановка, думаю, как под ясным солнышком.

Час шел вечерний. Солдаты разбрелись по шалашам. Сухожердев сушил над огнем портянки, закинув ступни в рукавицы, чтоб не поморозить.

— Сколько отвалил: два или четыре?

Это он о нарядах: Прилуцкий предпочитал четные числа.

— Ни одного,— ответил я.

— Почему же кислый?

В солдатский шалаш вполз Духарев и тоже первым делом спросил насчет моего вызова. Я доложил, как есть.

— Так вон почему он о тебе утром расспрашивал!— кивнул взводный.— Женил, выходит. Давай, газетчик! Только поблажки от меня не жди! Газета газетой, а чтоб минометный расчет был всегда в полном боевом. И чтоб цель поражал точно, не по воробьям палил.

Сухожердев проворно запеленал свои лапы в нагретые портянки, напялил ботинки, навернул обмотки и блаженствовал. А мне надо было добывать бумагу.

Старший сержант Матаруев, помощник командира взвода, служака, каких поискать. В усердии он чаще перебирал, чем недобирал. Приказание взводного для Матаруева некая молитва, которую он запоминал слово в слово. Выслушивая Духарева, он преданно пялил глаза. Едва взводный умолкал, Матаруев чеканил:

— Так точно!

И даже:

— Святые слова, товарищ лейтенант!

Говорилось это не из пустой лести: сразу следовало дело.

На отлучку к ротному ушло время, и Матаруев не скрыл недовольства:

— Что скажет комвзвода? Ох, взыщет с меня! Хлопот с тобой, Илюхин! Пропустил, так догоняй! Лейтенанту я доложу, догнал.

Не первый раз ретивый Матаруев заставляет пропустивших почему-либо хотя бы полчаса наверстывать. Однажды мне выпало до изнеможения ползать по снегу с полной выкладкой. И на этот раз, оставив взвод на перекуре, Матаруев занялся одним мною.

— Ты ж, Илюхин, хоча и грамотей, а дюже нерасто-

ропный. Тебя ж самого пять раз штыком проткнут, пока повернешься. Ну, што растопырился? Гляди!

Он выхватил у меня винтовку и преобразился — стал подвижен и ловок.

— Смотри сюда! — Припав на колено, он молниеносно вонзил штык в соломенное чучело.

Я пунктуально все повторил за ним, но вышло неумело и медленно. Он еще показал. И еще. А взвод, заразившись зрелищем, пустился подсказывать:

— Сядь, Илюхин!

— Подскочи!

— Укол-укол!

Сухожердев, распалившись, сучил руками:

— Не разевай рот, Илюхин, дави!

Ногам было больно, руки еле двигались, пот застилал глаза, но Матаруев, казалось, все забыл — видел лишь мой штык.

— Так его, гада рыжего, Илюхин, пускай запомнит, почем наши пироги! Еще разок! Да поживей! И винтовку держи, а то выпадет. Начинай!

Я начинал в очередной раз.

С какого-то момента руки и ноги стали двигаться согласованней и, казалось, без участия головы. Матаруев остался доволен:

— Въелось! А ну, все вместе!

Ночь выпала морозная.

Вероятно, взводный осознал, что приказание Прилуцкого насчет газеты касалось не одного меня.

— Подвигайся к костру, Илюхин, и сочиняй, а мы ляжем. Эй, там, разговорчики! Замри!

Через минуту слышалось общее сопение. Пахло еловой хвоей и портянками: кто-то втихую, без позволения, разулся и сушил байку своим телом. Я кутался в ватную, плохо греющую одежду и соображал, о чем написать. Как кололи чучела, как обедали, как писали домой письма. Прежде особого труда бы не составило, теперь — будто впервые в жизни.

«Младший командир Матаруев нянчит нас, как самых маленьких ребятишек. Мы цепью несемся к оврагу и там, в снежном провале, скрытые, отрабатываем приемы.

— Бей-коли! — приказывает командир.

Он и сам не стоит в стороне—тоже бьет и колет. Нет солдата, который бы не освоил боевые приемы. И так день за днем».

То было первое мое ночное сочинение. Написал я их несколько. Придумал заголовки. Вышло четыре столбца. В конце пририсовал почтовый ящик: пиши, боец, в свою ротную газету! Погрузившись в работу, я не замечал, как подкрался подъем. Шалаш мигом ожил.

— Без рубахи вон! — прикрикнул комвзвода на Сухожердева. — Илюхину голышом туда же — сон, глядишь, как рукой снимет.

Стащив с себя гимнастерку и нательную рубаху, я выполз в студеную синюю бездну. Под подошвами ботинок звенел снег, как железный. За лесом, совсем близко, горели красные ракеты. Лениво били орудия. Я пригоршнями кидал себе на грудь и на плечи рассыпчатую снеговую кашу и приплясывал. Неподдалеку Сухожердев, продельвая то же самое, воскликнул:

— Во, банька!

— Снегу не жалеть, кидать больше! — скомандовал голый Матаруев.

Мороз прижимал к земле, и ноги поднимались будто не сами по себе, а посторонней силой. Зубы стучали. Глаза видели только небо.

— А-а-а...

Матаруев тоже замерз, однако старался прыгать как можно выше и резвее:

— Вот так. вот так!

Наплясавшись, я по команде нырнул в шалаш и с трудом натянул рубаху. Когда под одеждой тело чуток согрелось, уже не верилось, что это я прыгал на морозе нагишом.

Перед завтраком Матаруев прочитал о себе в газете, приколотой к доске возле шалаша комроты. Хотя о Матаруеве там ничего плохого и не было, он воспринял это как кровную обиду.

— Сочиняешь, Илюхин? — мрачно сказал он, когда взвод спустился в овраг стрелять по мишеням. — Штыком колоть как следует — дядя, а придумывать ты. Не копай яму для своего командира, понял?

Когда стреляли, он только меня одного и видел: не так, Илюхин, не так и не этак.

А вечером еще и комвзвода вступился за своего помощника:

— Зря, Илюхин, на своих же командиров хвост под-
нимаешь.

— Да я ж похвалил, товарищ лейтенант!

Глухой ночью мы неслись туда, где воздух пронизы-
вали красные ракеты. Потеплело, или мне только каза-
лось, что потеплело.

— Ложись!

— У меня третий выход,— пригибаясь к земле, про-
кричал Сухожердев.

— Бегом!

Из последних сил я двигался к огням. Матаруев
подтолкнул меня:

— Отстаешь!

Будто и конца не будет ночи. У меня перед глазами
всплыл почему-то Федот с его надеждой на утреннюю
зорьку. Скорей бы, скорей рассвет...

НОСКИ СВОЕЙ ВЯЗКИ

I

Земляная утоптанная лестница уводит вниз. На ней — нога в ногу — люди. Толкаются, галдят, поругиваются, подзадоривают друг дружку.

— Экий ты, прешь!

— Меня самого прут.

Только смеху нет. Стоит зазеваться одному, цепь рвется. Властный окрик со стороны:

— Впер-ред!

Будто не в тесный душный сумрак, а по чистому полю в атаку. Привычка командирская — впер-ред, и вся недолга.

А вокруг ровная безлесная местность — ни луг и ни пашня. Вдали, на взгорке, притягательно белеет небольшой город, чернеют чугунные решетки моста. Одинаединственная дорога тянется туда.

Наверх по лестнице такая же одноцветная цепь, тоже нога в ногу, лишь поживее ход. Кто-то подгоняет и тут, чтоб не медлили, чтоб живей, еще живей: нет предела живости и спешки.

— Не голодные, а топчетесь на одном месте, силы бережете. Живей!

Отклик — не для всех, для одного себя:

— Какое не голодные? Кишки воют — им дай что ни на есть!

В подземелье оба ручья растворяются — ни оттока, ни притока. При первом взгляде люди тут вообще не видны. Но видны подпирающие невидимую крышу деревянные столбы, видны обшарпанные одежей и руками стойки трехъярусных нар. Нары постоянно скрипят, поют, зыбятся под телами. Служивые разместились не как

пошло, а по рангам и званиям: на самом верху командиры постарше, в середине — помладше, внизу сплошь рядовые. Новоприбывшим пока нет места на нарах — сидят внизу в полной обмундировке, с пустыми мешками за спиной. Безоружные.

Не разговаряются — одни оклики.

— Семен, али не ты?

— Почему не я? Всю жись Семен, а ты не Иван Варфоломеев, случаем?

— Ага, угадал.

Прошла эта пара — Семен Пивушков да Иван Варфоломеев, как видно, давно знакомые друг с дружкой.. Но обличье круто переменялось — не узнать сразу.

Во всю длину жилища нечто вроде коридора. Направо нары, налево точь-в-точь такие. Лежат только больные да обессиленные ранами. А те, что мало-мальски в силах, даже и не вовсе вылеченные от ран, обязаны сидеть наготове одетые. Приклонил голову, попал на заметку:

— Эй, там, да ты где? Подымись!

Команды:

— Вторая рота, выходи!

— Первый взвод, в караул!

Звон котелков. Что это — обед или ужин? Нет, на обед поздно, на ужин рано. Но обед длится много часов кряду, пока все — не одна сотня — не пройдут. И сплошь да рядом, кто начинал обедать первый, идет ужинать следом за теми, кто только-только отобедал последний. Карусель вечная.

Ни дня, ни ночи — дневного света нет, а есть только свет слабый, тусклый, неизвестно откуда исходящий — от двух-трех керосиновых фонарей или от поставленных в нескольких местах стеариновых свечек. Примет дня и ночи нет еще и потому, что в любое время мало спящих: кто-то готовится к отправке во фронтową часть, кто-то, напротив, поступает из госпиталя, как годный к дальнейшей службе, кто-то в запасных так освоился, что чувствует себя как дома. Бывает, однако, нередко, еще и чернила не высохли в книге прибывших, как на того же солдата заполняется строчка в книге выбывших: занесли — и сразу выписали.

Все вошедшие моментом исчезли с прохода, лишь какое-то время маячил один Семен Пивушков. Его тут же заметили.

— Эвона расширился! Нар нет?

И его мигом не стало: насобачился он на фронте как сквозь землю проваливаться.

А вообще-то, выпала ему даже в такое гиблое время удача: ранило его далеко, аж под Великими Луками, лечить же доставили едва не домой — в свой районный город. Сперва ни о чем не думалось — ранение было опасное, даже разум туманился от боли. Когда на поправку малость пошел, родилась мысль: придет его проведать жена Надежда, по духу учуяв, что он, Семка, здесь, или не придет? Время тащилось, а боли от ран то утихали, то маяли, как свежие, и он начал страшиться: не застанет его Надежда живого. Стал он подозревать, не иначе, перебивает Иван Варфоломеев. Он, может, тоже на излечении, только на станции Орех — она ближе к деревне Вахрушевке на целый километр. Может, Надежда шла к Семену да завернула на станцию. А там тот самый Иван Варфоломеев:

— Сперва ко мне, Надя, а потом к Семке. Я тоже раненый.

Семен придумал ранение Ивану, а никак не знал, ранен тот или нет. И вообще, не знал Семен, лежит Иван в госпитале или все еще целый и невредимый. Взяли их прошлым летом вместе, и служили они малый срок в одной роте, даже в одном отделении, а потом Ивана перевели. Семену и лучше — не видеть Ивана.

О своем госпитальном пребывании надо бы известить Надежду. Но сам Семен в ту пору по слабости здоровья написать не мог, а хотелось самому, потому что в школе диктовке его не учили. Кроме того, постороннему Семен не мог произнести таких слов, которые бы высказал Надежде с глазу на глаз. Свои сомнения он вверил соседу по койке Глебу Борькину, происходившему из малого поволжского города Пучежа. В уме Семен делил строго: деревня — это деревня, а город, хотя бы и не столица, все-таки город. Семен сбивчиво все передал: так-де и так, я тутошний, деревенский. И Надежда почти что рядышком, желательно бы ее уведомить.

— Для меня, Сема, пустяк. — Глеб отчаянно окал. — Сочиним, будь уверен! Какое надобно письмишко — с попреками, жалостливое или объяснительное? Думаю,

объяснительное поздравление: объяснялся же ты со своею Надеждой перед женитьбой?

— Гуляли сколько-то, — ответил Семен. — Ей бы все только в девичий хоровод, а мне отдельно, чтоб, кроме нас двоих, ни души. Единоличный мой интерес играл.

— Мне это даже очень понятно, — кивнул Глеб. — Одинаково у нас.

— И соперник у меня был, Ванька Варфоломеев, — сообщил Семен. — Злодей, каких на свете мало! Вспомню, не по себе делается.

— Бабенка, возможно, ничего собой, отсюда и соперник, — подморгнул Глеб.

— Как же, красивая! — Семен даже зажмурился.

— Так или этак, объяснение отпало. И упрекать ее, может, не в чем?

— Попреков не будет.

— Вот и настрочим жалостливое, — сказал Глеб.

— Давай. Но я ни словца не подскажу. Говорить ей на ушко я умел, а так, кому угодно, не выходит.

— Напишу, как мыслю.

Сочинитель сел в сторонке к подоконнику, помуслил карандашное жало и без отрыва от бумаги взялся писать. Семен не сводил глаз с бегающего карандаша. Минут этак через десять Глеб прочитал вслух: «Милая, драгоценная Надя! Пишет тебе твой Семен. Забыла ты меня или не забыла, не знаю, только я тебя даже в смертной битве не мог забыть. Самому, вижу, немедленный и полный крах, а я все только тебя и помню. Стреляю, в плечо отдает, а ты на уме вертишься. Надо же, как устроен человеческий организм, даже самого себя не слушается. Лишь когда без признаков жизни свалился, тогда и память отшибло. Лежу я сейчас в тепле, хотя и не при смерти, а крепко раненый. Доставили меня в город издалека, с поля боя. Повидаться бы с тобой хотелось страсть как. А то подымусь на ноги, вскорости мне опять туда. Адреса своего не прописываю — все равно распакуют и замарают. Если придешь в районный город, меня и так сыщешь. К тому дню я, может, буду на ногах. Время теплое, окошко открытое, окликну.

Обнимаю, целую и остаюсь весь в ожидании твой муж Семен Пивушков».

Пока Глеб читал, Семен, облокотясь на жесткую подушку, слушал. В конце одобрил:

— Ловко! Где же мне самому такое удумать? Особливо насчет организма. Я-то понял, а Надежда, пожалуй, не поймет. Но и пускай. Даже лучше. Подумает: Семен на службе уму-разуму набрался. Только насчет Ивана Варфоломеева не предостерег, чтобы ему ни под каким видом почестей не оказывала, если он объявится. Ни под каким видом! Иль не стоит упоминать, как думаешь?

— Не стоит. Тот Иван, возможно, и знать-то ничего не знает, а ты впутываешь.

— Да, не будем,— согласился Семен.— Не соображу, чем с тобой расплатиться. Табачком, что ли? Да хоть карандашик возьми.

Через небольшое время Семена смотрел главный госпитальный доктор. К тому дню Семен хотя и был еще не вовсе здоровый, но на ноги поднялся.

— Хорош ты, Пивушков,— одобрил доктор.— Быстро справился. Другие с такой раной лежат да лежат. Подержим еще денька два.

Семену захотелось пожаловаться, что рана хотя и зажила, но чувствует он слабость во всем теле и глухое недомогание.

— Мало двух-то деньков.

— А трех хватит?— Доктор не шутил.— Опасности позади. Если что и осталось, корешки какие-нибудь, то ты не сразу попадешь в боевую роту, а сколько-то побудешь в запасном полку. При нужде обратишься, полечат.

В одно время выписали и Ивана Варфоломеева, лечившегося после ранения в госпитале, лишь не в том, где Семен, а в соседнем — вовсе не на станции Орех.

Они столкнулись нос к носу по дороге в запасной полк. Словами перекинулись лишь по приходе на место. Долго ли на этот раз им суждено мозолить глаза друг дружке? На нарах поместились бок о бок.

— Как ныне наша Вахрушевка?— первое, о чем спросил Иван.

— Что ей, Вахрушевке?— отозвался Семен, заподозрив, что Иван спрашивает про Надежду.— Она не на

фронтальной полосе. Стоит как стояла. В деревне у тебя только мать?

— Кому еще быть?

— Мать матерью, но еще и кое-какое имущество.

Иван углядел несерьезность в этих словах Семена:

— А что — имущество?

— Думается.

Семен пристально глядел вверх, хотя там ничего и не видел, кроме темноты. Он жалел не о том, что рано выписали из госпиталя — тут хозяева, в конце концов, доктора, — а жалел, что письмо, так хорошо сложенное Глебом Борькиным, оказалось в неясности. Надежда, возможно, получила его. Пожалуй, в город готовится — шаньги печет, молока налила четверть, глядишь, и еще чего-нибудь захватит, и айда. Доберется, а Семена ни в госпитале, ни в запасном полку. Только Иван в запасных задержался, ему все и попадет в руки. Знать, так и не писал бы. Разве Надежде дома делать нечего?

— Никудышная наша жизнь, Ваня, — посетовал Семен, сбивая шапку набок.

В свой черед Иван не мог похвалиться жизнью: у него тоже тяжелое ранение, а впереди такая же неясность, но поддакнуть не решился: что же они, оба расплачутся? Помнить Надежду он помнил, только ему-то что она? Замужняя, стало быть, отрезанная. Так-то, в душе, жалел Иван, что ему не досталась. На Семена, однако, не сердился: сумел, пускай пользуется. Говорили в ту пору в деревне: не по любви сошлись. Время прошлое, Ивану теперь это ничто.

— К тебе придут, — завистливо предположил он. — А ко мне некому. Мать, когда я дома жил, все хворала, в такое время, может, и вовсе слегла.

— А сестра Глашка куда девалась?

— Хватился! — присвистнул Иван. — Она замужем, на берег Камы уехала.

— Не слыхал.

— Про замужество Глашки не слыхал?

— Нет, про Каму.

— Беднота, он про Каму не слыхал!

Обидно стало Семену:

— Не я беднота-то, а тот, кто по своей воле дома не живет.

Малая размолвка могла перерасти в раздор, а это Семену было нежелательно, и он готов был сразу же

помириться, но в тот момент на среднем ярусе, у младших командиров, взялись громко обсуждать, возможны ли в запасном полку знакомства.

— Какое знакомство, зачем пустяки говорить?— гремел бас.— Ночевать разок придется или нет, не знаю. Знакомство!

— Не все такие,— возразил тонкий голосок.— Иной в маршевую роту попадет через неделю.

— Один из сотни.

От входа выкликнули какого-то Сергеева. Отозвалось в разных местах сразу трое. Уточнили: требовался Вадим Денисович Сергеев.

Один из троих на зов бегом.

— Я — Вадим Денисыч!

— С вещмешком к выходу — живо!

С вещмешком, значит, в маршевую роту и на отправку эшелоном к огневой линии. А где его, Вадима Сергеева, линия, на севере, на юге или по центру, и спросить не у кого.

Шел еще только первый час, как Семен сюда поступил, но казалось ему, освоился. Распорядок его, как и Ивана Варфоломеева, пока никак не коснулся. И вопрос, коснется ли. Все дело в том, сколько пробыть: если считанные часы, черед к новичкам не подойдет, если неделю, разворачивайся. По крайней мере, так вещал сидевший рядом с Семеном горбоносый щеголевато одетый солдат:

— Перво-наперво узнаем мы пищеблок, место для кормежки, стало быть. Узнал я его как пять своих пальцев. Когда пришел, решил про себя, шабаш, и не на поле боя шабаш, а в глубоком тихом тылу, на досках. Такая слабость одолела, что никуда стал не годен. Но день за днем, подкормился, героем выгляжу. Смотри на меня!

В красном свете он манерно повертел головой, показывая лицо. Ничего — лицо как лицо, пожалуй, потолще, чем у других.

— Дальше, дальше, дядя,— поторопил молоденький солдат, сидевший от прохода первым.

— Дальше? А что дальше?— откликнулся горбоносый.— Дальше коптерка. Как я обмундированный, видите? По первому сорту. А вот ты, боец, во что облаченный?

Горбоносый бесцеремонно толкнул Семена. Тот ра-

стерялся чуток: раньше ему и в голову не приходило оценивать свою служивую одежду. Одежка и одежда. Лишь предохраняла бы от стужи, ветра и сырости. Бывало много моментов, не предохраняла. Думалось тогда Семену: зачем такую одежду и обувь солдату выдают? Он же не на гулянье!

А этот горбоносый заговорил, как выглядит одежда, как пошита, из какого материала. Новое дело!

— Погоди сыпать, много насыпал,— ворчливо сказал Семен, притрагиваясь рукою к коленке соседа.— Погоди. По твоим словам выходит, ты и ешь чуть ли не вдоволь и одеваешься лучше некуда. А кто-то сидит впроголодь и напяливает обноски, как я, примерно.

Стало вовсе тихо на нижнем ярусе, даже и на втором, на командирском, присмирели — ни голоса, лишь на третьем — где командиры постарше званием — галдели шибко: тем и дела нет, о чем судачат нижние. Горбоносый не ожидал такого оборота и вобрал голову в плечи. Вокруг засмеялись:

— Во!

Семен Пивушков не усидел, встал, тыкаясь головою о доски нар:

— Можя, для тебя, друг-приятель, война штука нестрашная? Из каких ты производишь? Кто у тебя отец с матерью? На каком ты фронте мерз и голодовал?

Так-то, в обыденной жизни, Семен не любил ни спрашивать, ни отвечать, слыл молчуном. Но молчуном не таким, коему все равно, что вокруг говорят. По лицу его было легко прочесть, одобряет он чьи-то слова или нет. Надежда, пока жили они совместно, совестилась с ним выходить на люди: от него ни разговору, ни веселья. И весь род Пивушковых слыл неговорливым. Придут, например, мужики Пивушковы на сход или на иной общий сбор, сядут от сцены подальше и дымят без отдыха в кулак, словно и дела им нет, какие ведутся разговоры. Но это лишь вид у них такой: интерес к происходящему они в нужный момент проявляли, в крайности даже подавали голос:

— Не болтай пустое!

Или:

— Голову людям морочишь, сядь!

За чересчур сердитые возгласы мужикам Пивушковым попадало:

— Эй, там, Пивушков, зачем из темноты слова роняешь? А ну, на свет, лицом к лицу!

Из сумрака свое, неуступчивое:

— Зачем пойду? Я высказался.

Молчуны Пивушковы, это так, но они же и себе на уме.

Хотя бы того же Семена взять. Сидел себе до поры до времени, думал, а оказалось, не только думу думал, но и слушал. Даже Иван Варфоломеев, на что, казалось, знал Семена вдоль и поперек, даже Иван изумился:

— Как ты его!

Но шеголеватого не очень-то задело.

— Можно подумать, если бы тебе давалось в руки, ты бы отказался, дядя. Точно, и еду бы взял, и обмундировку новенькую не откинул. А что я будто бы отбираю у кого-то, ты это зря — в ротном котле всем хватит... Был ли я на фронте или не был, к делу не относится. Этим никому ни гордиться не надо, ни помыкать никого не требуется. Придет черед, я поеду, как и ты сам, еще разок, поедешь, не откажешься. Ну, у кого еще интерес ко мне?

— Желательно бы по отцу с матерью.

— Лишне,—объявил горбоносый.— Я служу, родители пускай живут себе, люди немолодые. Мое дело такое, у них этакое.

На том он и кончил, празднуя свою победу над Семеном Пивушковым: сомнительного и неловкого не сказал, оставил Семена с носом. Ничего Семену не осталось, как только покрутить башкой: ишь ты, какой фрукт в солдаты попал! До этого часа Семен с самого первого дня, как его взяли из дому прошлым летом, видел себе ровню. Пускай кто помоложе, кто постарше, один сильнее телом, другой не так чтобы, который-то грамотный, а который-то и письмо от семьи заставляет другого прочесть, но каждый служит. А этот будто и не служит, один свой интерес блюдет.

— Твоя-то фамилья какая будет?—спросил зачем-то Семен.

— Фамилию писарь, куда надо, внес. Но секретов нет — Стебликов, Герман Федорыч.

— Ага, Герман Федорыч,— качнул головою Семен и повернулся к соседу боком.

Картина круто переменялась: первый ярус будто вымер, второй галдел, третий шептался.

Какой ни солдат, а вид у него во всякое время должен быть подобающий. В запасном же пестрота: один в шинели до пяток, другой в тесной куртке по пупок. Который-то в командирских яловых сапожках, а который-то в госпитальных донельзя изношенных ботинках. Увидишь служивых в моряцких черных бушлатах, попорченных снарядами осколками. Немало в носке, не по сезону, пилоток. Иной, глядишь, щеголяет в валенках. Но каждый третий спускается в подземелье во всем деревенском, с холщовой котомкой, набитой неизвестно и чем, за плечами. Остановит такого младший командир, зыкнет:

— Где находишься? Перед кем стоишь?

В ответ тихо и просто:

— Я тама, куда привели. А ты кто, и ведать не ведаю.

Махнет рукой командир: деревня налицо.

Как раз о солдатской одежке и размышлял Семен Пивушков. А принудил его размышлять о таком предмете все тот же Герман Стебликов, сидевший теперь успокоенно. Казалось, он дремлет, но, шут этакий, ведь наблюдает одним глазком за Семеном. Подобных Семен знает, видывал. Был такой и в Вахрушевке — работать другие иди, а принарядиться и выхвалиться он самый, Паня Калистратов. И средствами обладал для покупки одежи.

— Откуда, скажи, у тебя, Калистратов, деньги берутся? — спросят его.

— Не ворую, дела делаю.

Были бы подлинно дела, а то одно только времяпрепровождение. То в сторожах, то в помощниках у кладовщика, а то и вовсе нигде.

Первая обмундировка у Семена ожидалась в своем областном городе, куда доставили Семена с партией деревенских. Дома он нарочно оделся во все аховое, вальвавшееся в чулане по полному износу. Командир в военкомате оглядел его со всех сторон и попрекнул:

— Где и одежду подобрал, Пивушков?

Семен лишь одернулся:

— Так понимаю, не на пир.

— А-а, испугался, не вернут после-то, — засмеялся командир.

И глядел как в воду. Дома, перед уходом, Семен так и подумал: не вернут. Надежда усомнилась: как это на службу идти в самом негодном? Вон Ваня Варфоломеев и Паня Калистратов, слышно, наряжаются, как на праздник.

— О чем думают Ваня да Паня, не знаю, но идем мы не гулять, а на войну.

Пока ехали в вагоне до областного города, Паня Калистратов попортил Семену кровушки. То ущипнет и вату у Семена из фуфайки вытащит, то ржавую пуговицу крутит и потешается, стервец:

— В земле, знать, долго лежала, Пивушков, а? До того, как в землю угадать, на одежке у какого-нибудь начальника болталась на одной нитке. Сорвалась, сгнила, а ты подобрал. Ишь, какая, с орликом!

Ехал Паня Калистратов в шерстяном пиджаке, в надраенных до блеска штиблетах, в модной кепке с пряжкой. В вагоне одергивался, прихорашивался. Никому и дела нет до его шика-блеска, а он всем наперекор кидал:

— Хоть какой-то час, а у меня вроде престольного праздника. Потом-то пускай — трын-трава!

Но по прибытии Семен оказался в выигрыше. Доставил партию тот же военкоматский командир, который поругал Семена за бросовую одежду. Здесь, в областном городе, он рассудил иначе:

— Все правильно, Пивушков! Твоей новой одежкой пускай семейство пользуется — в военное время купить негде. На службе другую выдадут — удобную для пехотного дела. Скидывай свою привезенную, да живей!

Скидывать с себя домашнее было приказано не одному Семену, а всем прибывшим. Семен прошелся мимо Пани Калистратова с некоторой лихостью: гляди на меня, Паня! А тот в неподвижности сидел на лавке — раздумывал, снимать или погодить. Ему и другой раз велели:

— Кто там сидит, как заколдованный? Разоблачайся!

Семен мигом остался голышом, свернул убогую одежку и намеревался бросить клубок в общую гору. Однако его маневр заметили и одернули:

— Зачем своеволишь? Свяжи и бирку повесь. Не воротись, наследники заполучат.

Калистратов еще сколько-то посидел одетый и рас-

строенный, но все же нехотя разделся, уложил одежду в холщовый мешок, связал крест-накрест тесьмой и крупно намалевал чернильным карандашом:

«Вещи принадлежат Павлу Павлычу Калистратову из д. Вахрушевки. Приеду за ними сам».

А Семену пришлось схитрить — фамилию он вывел точно, однако деревню придумал: Вершки. Это чтоб одежонка ни под каким видом не попала к Пивушковым.

Началось одевание. Хватай, Семен, ватную куртку, пахнущие дегтем ботинки, вещмешок, обмотки, пилотку с красной звездочкой, исподнее. Он надевал и хвалил: все будто на него пошитое.

— Чудо! Откуда портные знают, примерно, какой я телом, какие у меня руки-ноги, все такое прочее? Срабатывали, как по мерке.

— Нашел, кого хвалить, — едко ухмыльнулся Паня. — Ничего не знаешь, так и не хвали зазря. Шьют, может, миллион, а может и еще больше одинакового хоть в длину, хоть в ширину. Под общую мерку ты подошел, а я не подошел, вот и майся.

Он, и подлинно, маялся: выдали ему все такое же фасоном и размерами, как и Семену, а ростом Паня — косая сажень, плечи — я тебе дам, ручищи, что две оглобли. Напяливает, трещат швы.

— Не полезет, командир, только испортим имущество, — твердил он в расстройстве. — Что-нибудь поболее откопай.

— Разносится, — уверял кладовщик. — У нас не магазин. Такой в точности одежи, какая на тебя бы нашлась из тюельки в тюельку, нет и быть не может. Разносится!

Семен бы и не подумал расстраиваться, если бы ему попала обмундировка неподходящего размера: в новой обмундировке, может, и ходить считанные дни — до первого боя.

Дай срок, и Герману Стебликову будет не до одежды, там одежку как бы и не видишь.

Только Семен повернулся лицом к темноте, чтобы подремать сидя сколько-то, пока нет никакой команды, только погасил один глаз, как близко, казалось, возле самого уха его, крикнули:

— На обмундировку, по одному, живо!

Он усомнился, надо ли ему — он же как-никак об-

мундированный, но тот, кто приказал, поджарый скуластый командир, вроде подумал и за Семена, и добавил:

— Всех и каждого касаемо!

Лишь один Стебликов не поверил, осведомился у скуластого:

— И мне, товарищ старшина?

— Да ты что за гусь? Наравне со всеми!

— Погляди, товарищ старшина, как я одетый, ты только погляди!— Стебликов соскочил с нар и завертелся на одной ноге.

В движениях его немужицкого, тонкого тела замечались ловкость и щегольство. Даже старшина, повидавший за свою долгую службу всяких солдат, поутих. Однако начальственная струна все же взяла верх.

— Хорошо одетые, плохо одетые, по-деревенскому одетые— всем одна честь. Отберем, кого в каком виде содержать. Строимся, други!

К середине помещения со всех сторон стекались прошедшие сквозь огонь солдаты и вчерашние деревенские. Безусые парни и годившиеся им в отцы служаки. Крепкие и сильно покалеченные. Новобранцы пялили глаза на бывалых, ни о чем не спрашивали, остерегались, а много или мало послужившие— ни слова о минувшем. Лишь осведомлялись на ходу, кто откуда.

— Ты, примерно, дальний, парень?— спросил Семен Пивушков у рыжего молодца в залатанном, коротком, явно не по росту, пиджаке.

— Верст двадцать будет.

— Вахрушевку слышал?

— Можя, в другой стороне от нас,— ответил парень.— Мы из Козлов.

— Из Козлов?!— изумился Семен.— Как же Вахрушевки не знаешь? Рядом!

— Не знаю, и все.

Никакого воинского строя не получалось, а получалась пестрота. Бывалые еще по привычке стояли— руки по швам, нога к ноге, а новички в домашних разного покроя одеждах, перекликаясь, метались с места на место.

— Сашка!

— Где ты, Миколай?

Будто попали в дремучий лес.

Скуластый старшина перебегал с конца на конец, кидал охрипшим голосом:

— Как стоим? Подравняйся!

Не помогал окрик, хватал первого попавшегося за шиворот, тащил, куда надо.

— Замри!

Замирал, однако, редко кто.

Семен привычно выбрал середину. Ростом он был ни велик, ни мал. Прежде на ротных построениях у него всегда была середина. Тогда он даже подсчитал, который слева, который справа: слева сороковой, справа сорок первый. Когда в осенних боях рота потерпела урон, он все равно остался посередине: двадцатый слева, двадцать первый справа. У Ивана Варфоломеева иное дело: из-за большого роста ему в середину нельзя. В Вахрушевке его звали «два Ивана». Кто идет? Два Ивана. Он не первый день служит — встал на фланг. Одет он был, как и все пришедшие из госпиталей, в самую что ни на есть потрепанную обмундировку. Шинелька натурально по колена. Ботинки — один коричневый и большой, второй близко к черному и заметно меньше, пилотка одно звание. Но стоял Иван прямо, ничуть не стесняясь своей одежды, как не стеснялся своей, тоже выдавшей виды, и Семен Пивушков: сами себе они обмундировку не выбирали. Если вспомнить, Семен попробовал урезонить госпитального кладовщика, чтобы не совал чужие обноски, но тот буркнул:

— Что всем, то и тебе.

— Моя-то где, та самая, в коей я поступил?

— У нас, по-твоему, по ярлыкам и полочкам? Уходишь, даем, что попало под руку. Генералы здесь все одинаковые.

Старшина еще разок пробежался по фронту, еще кого-то попятил и кого-то переставил, не вполне удовлетворившись, выкрикнул:

— Этакие подобрался! Что-то я таких никогда и не видел вроде. По порядку номеров!

Из-за сбоев принимались рассчитывать не однажды.

Приотворилась боковая, спрятанная за нарами, дверь. На свету показался солдат не солдат — в командирской форме, но без знаков.

— Приведем, Монаков, и этих к общему знаменателю, — сказал ему старшина. — А то, гляди, какое разношерстное одеяло. Смехота! Бывали всякие, а тут будто

нарочно кто выпустил, чтоб нас с тобой проверить, обмундируем или нет.

— Эко, что получилось!— понуро воскликнул служака.— Да где же нам годного на такую ораву набрать, старшина? У меня все имущество налицо, сам видишь. Поступление когда-то еще будет. Решай! Лучше бы всего не менять. В чем к нам пришли, в том и уйдут. На передок поступят, там тоже есть старшины и походные кладовки, а имущества поболее: солдаты в действии, не на нарах трутся.

Старшина все это время не спускал глаз с выстроившихся и решал в уме. А решив, зычно объявил:

— Пришедшие в своем личном, раздевайся и напяливай казенное. Госпитальные пока походят в чем пришли. Кто щеголяет, будто в свадебном, тоже раздевайся и бери рядовое, какое попадется. Бери и помни, на фронтовой службе за один день новое станет старым.

Иван Варфоломеев так и остался стоять. Семен Пивушков тоже остался, осталось еще пятеро одетых по госпитальному. Деревенские же, пыхтя, стали разоблачаться. Свое домашнее валили в общую кучу и получали одинаковое солдатское. Кое-кому, как в выигрыш, попадалось свежее, пахнущее фабрикой, а большинству поношеное — латаное и стираное. На размеры не глядели, лишь бы влезло. Когда и с натугой не шло, обращались к служаке, но тот не менял:

— Обмундировку мы не производим, лишь выдаем из наличности.

— А я что должен?— храбрился иной новобранец.

— А я?— спокойно отвечивал служака.

Впутывали старшину, однако он обмена не потворствовал:

— У нас не торговля.

Кому-то самостоятельно приходилось убавлять шаровары в гашинике за счет добавочной веревочной завязки, а кому-то, наоборот, распяливать.

Герман Стебликов стоял вместе с теми, кому не полагалось переодеваться. Старшина не поверил глазам:

— Преобразись под один фасон!

Упрямец даже не шелохнулся:

— Мне ж наличное вон как идет!

— Из коптерки лучше пойдет,— на своем стоял старшина.— Модное мне лично гони. Примем на строгий учет.

За переодеванием Семен наблюдал со стороны. Ишь, как со временем упростилось: одно скинул, другое надел. О скатках, бирках, узлах нет и помину — осталась общая обезличенная гора.

Переобмундированные воротились в строй, но картина резко переменилась — никакого различия, все как один. Старшина удовлетворился:

— Раз-зойдись, жди новой команды!

На нарах про обмундировку речи не вели. Даже преображенный Стебликов лишь сопел себе под нос. У Семена пропал к нему интерес: подравняли, и служи как же. Иван Варфоломеев полулежал рядом с Семеном и глядел куда-то поверх головы его, хотя там и нельзя было ничего увидеть. Напротив Семена, тоже на первом ярусе, новобранцы хвастались друг перед дружкой — этих, спустя время, разожгло.

— У меня, глянь, Андрюха, карманов дюжина и все глубокие.

— На передке в карманы и класть нечего. У меня куртка толстая, ваты не пожалели. Тепло-то будет!

Какая еще команда последует? Верно, на отправку. А надо бы оклематься малость после госпитального режима.

Над этим же ломал голову и Иван Варфоломеев: что и как дальше? Иван в свое время больше занимался не хлебопашеством, а кузнечным делом, как, впрочем, и отец его Савелий. В деревенской жизни это как-то возвышало Ивана над Семеном, ничего не знавшим, кроме земли и труда на ней. Ивану привычно железное дело, а тут он находился на деревянных нарах, внизу земляной пол. Тоскливо... Он полагал, что у Семена меньше тоски, разве что только о Надежде. Но о ней Иван тоже может тосковать — разве он забудет ее? После возвращения с обмундировки у них бы должен состояться разговор, однако его пока не было. Семена все удерживала отчужденность к Ивану, а тот не начинал из гордости.

Но когда-то все равно надо.

— Завидую тебе, Сема,— начал Иван вкрадчиво, по-прежнему глядя в негустую темноту.

— Ага, мне куда как гоже,— невесело ухмыльнулся Семен.— Как был в госпитальной шинельке, так в ней

и остался. И вообще, ни лоскутка не прибыло. Хоть бы байки дали подвернуть лапы, чтобы не мерзли. Ноги у меня покалеченные, слабокровные. Мне лучше!

— Как раз я не об том, Сема, я о другом,— сказал Иван.— Одежа и у меня не лучше, и байки нет запасной. Ближе к линии подъедем, оденут, будь спокоен, даже по выбору.

Про тот выбор, откуда он происходит, Семен знал. Рота была, когда он поступил, полная. В короткий срок — в боях — одной трети не стало, а обмундировка предусмотрена на полный состав, отсюда уцелевшему и выбор: истрепанную скинул, поновей напялил.

— Форсуном я не родился,— отозвался Семен, намекнув, что Иван, было время, пофорсил.— Мне бы только тепло было. А то кормежка слабая, да еще и шинелька на рыбьем меху. На ноги бы валенцы, а на себя куртку на вате.

— К куртке бы воротничок бараний,— засмеялся Иван землистым лицом.— Во всем мы с тобой тут равные, в любой мелочи. Одно едим, от одной зажигалки прикуриваем, из одной деревни прибыли. Рядышком она, а побывать нельзя.

— То-то и оно, нельзя,— вздохнул Семен.— А позарез бы надо, дела ждут пахотные и всякие иные.

— Понятно, Сема. И баба у тебя в Вахрушевке.

— Само собой.

— У меня свои дела, кузнечные и машинные,— напомнил Иван.

Освободившись от возни с обмундировкой, скуластый старшина Камыка сидел на третьем ярусе по-птичьи — наблюдал и прислушивался. На фронте он побывал в два захода, оба неудачно — дважды покалечило. Он не только выжил, но так восстановился, что угадал в запасной, а отсюда до огневой линии рукой подать. В землянке у него нет постоянного места. Он вроде и не спит, только и заботится, как бы еще какого солдата к делу приспособить. Все тут временные — сегодня одни, завтра наполовину другие. Но все равно каждому надо дать дело, чтобы на нарах как можно меньше прохлаждались. Потому-то Камыка и двигался много, всюду смотрел, все слышал. По одному солдатскому слову улавливал, что к чему. И здесь слова Ивана Варфоломеева осенили Камыку. Ишь, машинист завелся! Спрыгнув, Камыка вглядывался в сумрак нижнего яру-

са. Определить, кто заговорил про дела, не мог, спросил:

— Который про машины балакал?

Иван Варфоломеев съехал с досок:

— Я самый.

— Мне тебя и надобно,— сказал Камыка.— Часик в тепле посидел и хватит. Хватит или не хватит?

— Хватит бы, товарищ старшина,— отрубил Иван, ни о чем не догадываясь.

— Работа у нас тут одна в тупике. Воды нет — кухня на сухом режиме. Солдаты из пруда таскают. Разве дело? Искал человека, не нашел.

— Починка?— осведомился Иван.

— Она самая. Берись! Не хватит дня, похлопочу насчет отсрочки с отбытием из запасного. Давай!

На работу Иван со всех ног не кинулся: дела он привык исполнять неторопливо, но надежно. Если брался, заранее знал, за что брался. А тут туманные для него водоводные трубы. При осечке Ивану будет советно, а от Камыки жди наказания. Даже обещанная отсрочка не прельстила Ивана.

— Можно бы, командир, но работа не по моей части. Я железо ковал. Кузнец я, понимаешь, кузнец!

— Так я и понимаю: там железо и тут железо,— сказал старшина.— Все едино. Иди!

После ухода Ивана место рядом с Семеном освободилось. Чтобы сидеть попросторней, Герман Стебликов подвинулся к Семену, но и тот в свою очередь не сплосковал — распластал ноги. Повезло иль не повезло Ивану? Сомнений нет, шибко повезло — приблизился он к командирам, а кухня на него и вовсе молиться будет — вода вся в его руках. Выгоды ему привалили! У Семена ничего нет, у Стебликова тоже ничего, но этому ничего и не надо, лишь бы служба шла. А Семену ни к чему томиться в землянке. Ему бы в помощники к Ивану — неужто там ни копнуть, ни ударить? И в мастеровом деле полно простой работы. Но Иван не возьмет Семена — из-за Надежды. Отправят его с часу на час, а Иван, глядишь, и выиграл. Придет Надежда, у них и свидание. Семен для себя старался, когда Надежде писал, а вышло для другого.

Тоскливо стало Семену, сил нет.

Отведя Ивана Варфоломеева на работу, Камыка опять воротился к нарам и нащупал наметанным глазом дремавшего Стебликова:

— Который по счету сон видишь, боец?

Тот вскочил:

— Слушаю!

— Мерина запряжешь?

— Да я ж чисто городской, товарищ старшина, — растерянно ответил Стебликов. — Лошадь только издали видел, не запрягал и не ездил, ей-богу!

— Что еще за деление на городских и деревенских? — возмущился Камыка. — Лошадь ему не запрячь, ему не поехать! Скажи, не желаешь или боишься. Ну-ка, марш запрягать! Для кухни дров привезешь.

Семен поднялся не в защиту Стебликова, а сам по себе:

— Такого бы никак не надо к лошади — и сам упрет, и лошадь умучает.

Старшина грозно поглядел на Семена, как бы решая, наказывать или не наказывать за самовольное вмешательство.

— Не ты ли поедешь?

— Могу, приходилось, — кивнул Семен.

Согласившись заменить, Камыка, однако, Стебликова от работы не освободил — послал белить стены в командирском отсеке землянки. Побелка — дело городское, не отпихнешься. И выходить наружу не надо.

Его мобилизовали первой военной осенью. Хотели увезти на юг, в действующие войска, но на погрузке он оказался лишним — ему не хватило места в вагоне. Сперва его оставили в резерве, до подхода еще одной партии лошадей, а когда партии все не было, и вовсе отвели на работы в запасной полк. Пришелся он вовремя: возки много, а машины по болотистым дорогам к расположению полка не проходили. Поместили Балую в старом просторном сарае. Первые дни он работал без отдыха — что ни утро, запрягает новый возчик. Запрягать запрягают, а кормят скудно, и мерину приходится трудиться или впроголодь или и вовсе на пустой желудок. Против-то деревенской жизни воинская его жизнь намного ухудшилась. В деревне, возле рубленой конюшни, его по обыкновению запрягал возчик Кирилл —

мужик степенный и добрый. Он трепал Балую по холке и мягко говорил:

— Отдохнул, а, Балуй? Гоже! За дела примемся. Делов у нас с тобой опять много собралось. Делов у трудового мужика и у лошади всегда много. Как ни делай, ни убавляются, а все прибывают. Чудно, да? Наоборот бы должно. Но в том, как видно, и секрет жизни, чтобы дела захлестывали.

Кирилл совершал привычную утреннюю езду к реке за сеном для колхозных коров. Дорога давно повторялась изо дня в день, еще с тех пор, когда Балуй бежал за матерью нерабочим жеребенком. Все знакомо Балую по дороге: избы, деревья, изгороди. Возчик, зная, что лошадь не собьется, дремал на телеге или пел лежа — протяжно и горько, отчего и мерину становилось тоскливо. Он не понимал, откуда бралась тоска: не знал ни единого слова.

Он помнил то ненастное утро, когда его обратали на приречном лугу и погнали одним гуртом с другими знакомыми лошадьми на станцию. Все лошади, кроме Балую, были молодые и беззаботные, весело шли до самого места, набегая друг на дружку или соскакивая с дороги в сторону. Погонщик сердито стегал вольниц. Лишь Балуй, умудренный шестилетним трудовым опытом, сознавал, что безвозвратно уходит прочь одна пора жизни и настает другая. Лошади, одна за другой, внеслись на высокий помост и скрылись в вагоне. Балуй же, по своей степенности, оказался последним и тот, кто загонял, в шинели, в пилотке, будто виновато сказал:

— Некуда, набито, да и лучше тебе остаться: что от старика толку?

Балую вели городскими улицами, копыта бились о камни, затем ровной, унылой малообжитой местностью — нигде ни построек, ни деревьев. Трава под ногами пахла незнакомо горько. Балуй ущипнул — не для еды.

Потянулась однообразная одинокая жизнь...

В то утро он ждал очередного возчика. Хотел, чтобы не приходил вчерашний — неумелый, грубый, знавший лишь стегать Балую по самым больным местам.

Торопившийся к сараю Семен не знал, на какой лошади придется ехать. Увидев пегого, с опущенными боками мерина, потрогал мягкие губы его и произнес:

— Плохо одному-то? Вдвоем сколько-то побудем. Идем, на воле лучше.

Балуй попытился с привычного места к воротам. Семен снял с гвоздя тяжелый, потасканный хомут. Немало лошадей видел Семен. Иных помнил, но больше не помнил. Помнил лишь особенных — баловливых, чересчур резвых или отменно трудолюбивых. Помнил колхозную конюшню, где поначалу лошадей было побольше сотни. Но что ни год, становилось их все меньше, а перед уходом Семена на войну не осталось и половины.

Не один хомут, но и вся сбруя пришла в ветхость. Колеса телеги не смазывались, казалось, с тех пор, как надеты.

— Нет даже и плохонького хозяина, — рассуждал сам с собой Семен. — Недельку бы мне побыть, и я бы все привел в пригодный вид. Второпях мало чего успею. Примусь по-сурьезному, дела главные, зачем послан, не сдвинутся с места. Назовут лежебокой. Но что бы ни было, а так выехать не годится, надо мало-мальски подладить и подтянуть.

На свой риск Семен оставил Балуя пока в покое — починил хомут, смазал дегтем колеса, подколлотил расшатанную телегу. Выехал на целый час позже.

Старшина Камыка, казалось, только и наблюдал за одним Семеном.

— Спал, верно, в сарае, — заподозрил Камыка, повстречав его на дороге. — Котлы разжигать, а дрова где? Гляди, солдат Пивушков!

Разжигать котлы было чем и без нынешнего подвоза, но старшина любил подловить солдата и пристращать. Семен не испугался — он и стреляный, и пуганый. Просто-напросто стало неудобно ему.

— Нечего зря-то — не спал ни минуты. Дела делал. Не смею же я выехать кое-как — пришлось бы лошадь понапрасну мытарить и сбрую доводить. Кого станут ругать после? А еще коренной мужик, скажут, ездил!

Но Камыку не урезонить:

— Да не можешь ты поживей обернуться? Можешь или не можешь?

— Чудак-человек! — ухмыльнулся Семен. — Ты ж видишь, еду, а коли еду, привезу.

Для острастки он стегнул мерина, и тот потрусил. Балуй научился хитрить, по-своему пользуясь сменяемостью возчиков. Пока-то разгадают! Он то без причи-

ны бежал, а то сам, без позволения возчика, переходил на тихий ход. Медленный ход был для него самый выгодный: возчики догадывались, что он голодный, и разрешали схватить клоч сена или простой соломы.

Свесив ноги с телеги, Семен углубился в размышлы. Вот и все, Пивушков. Выиграл ты одно дело: вместо лежания работаешь. Зато другое проиграл: лечился не одну неделю в своем районном городе, а сродников не повидал, хотя все еще не потерял надежды... Привезет Семен дровец, и должны бы его накормить.

Потянулся лес — приболотный низкий сосняк. Ветер заиграл в лапах. Поленниц было немного, все на виду. Балуй сам остановился, где привык. Стало Семену — как вблизи своей деревни. Тот же благостный дух земли и леса, то же небо, студеное, осеннее, но свое, та же, ни чем не нарушаемая, кроме как громким дыханием Балуя, тишь. Как ушел Семен из дому, ничего такого не видел. И не до того было. Мучился он, мерз, голодовал. Желалось обогреться, поесть, выспаться. Пройдут считанные дни, и сызнава туда, в огонь. А пока распластался бы он на земле, лежал бы долго с закрытыми глазами. Да работа стоит. Он укладывал дрова на телегу. Рассупоненная лошадь жевала желтую подножную траву.

На обратной дороге, приберегая силы мерина, Семен все только шел, на весу держа вожжи. Ветер тянул с той стороны, где стояла Вахрушевка, дух родного места. Этаким неотвязчивый дух!

Кухонная обслуга — ничего себе, сытая, — высыпала выгружать. Старший повар, крупный, мосластый, взял Семена в оборот:

— Тебя, мужика неповоротливого, только за смертью и посылать. Ладно, в запасе были дрова, а то кукарекай. Кого винить?

— Двое виноватых, я и Балуй, — ответил Семен. — Лошадь не бежала, я не понуждал.

— Ага, так ты и лошадь приплел! Нажалуюсь старшине, он тебе пропишет!

А Семен только и думал, как бы взять свою порцию на кухне в счет обеденной нормы. Но повар и про чернак забыл. И вправду, сытый голодного не разумеет. Вероятно, повар всю жизнь в довольствах. За что благодарить? Семен же и не помнит, когда был сытый. За время службы ни разу. Только в госпитале первые дни

не хотелось есть — при сильных, долго не отпускающих болях пойдет ли еда? В запасном полку его пока ни разу не покормили, хотя и прибыл он еще утром. Сгрыз на нарах два госпитальных сухаря, и терпи.

Не напомним, и не подумают попотчевать.

— Как хочешь ругай меня, старшой, я все приму, но и ты будь человеком. Работать я работал, сам видишь мою работу. Дай поесть сколько-то.

Повар пристально взглянул на него, и Семену сызнава подумалось, что есть на свете люди, коим неведом голод.

— Н-да,— протяжно изрек повар, отдаляясь к котлу.— Можно, только не за счет кого-то, а за свой собственный.

— Хотя бы,— возрадовался Семен.— Счеты-расчеты еще когда, а есть охота сию минуту. Понимаешь, какая штука, я бы и поболее привез, и лошадка добрая, взяла бы потяжеле, но телега никудышная.

Семен воодушевился: сыпал слово за словом. Всегда это с ним — разойдется в радости.

Своею рукой повар налил алюминиевую чашку супа, поверх капнул комбижиру. У Семена потекли слюнки. Хлебца бы. Но хлеб будет только в обед. А пока и так ладно. Он выливал в рот ложку за ложкой горячую жижу, ради удовольствия, без надобности, жевал. Повара всю хвалил:

— Из ничего, глядеть, а скус — первый сорт. Что значат руки!

Похвалу повар редко слышал, как, впрочем, и хулу тоже, и в благодарность добавил полчерпака.

— Спасибо, друг,— и вовсе расчувствовался Семен.— Видать, нашенский, тверской, стало быть?

— Новгородский.

— Все ли твои сродники там живые?— спросил Семен, хлебная суп ускоренно.

— Ничего, слава богу, хоть и фронт от наших мест недалеко,— ответил повар.

У Семена и совсем наладилась жизнь. Он бы и еще не прочь побыть на кухне, однако старшина Камыка будто по духу учуял, что Семен, кончив дело, прохладается. Только Камыка в дверь, как Семен шмыг к телеге и давай суетиться, вроде и не прерывал дела. Старшина к повару:

— Как он?

— Чудо, сколько привез!— одобрил повар.

Камыка тотчас проводил Семена на новые работы— подвезти камня к выбоинам на дороге.

III

Изгородь сложили из горбылей, старых досок, жердей — из всего, что подвернулось под руку. Дыбилась она не первый месяц, перезимовала, успела местами покривиться так, что если смотреть снаружи, можно наблюдать, что делается внутри — на воинском пятачке. Но кого приведет без надобности пеший путь? Солдаты шли строем и поодиночке. Одни двигались, как вполне здоровые, другие, недолеченные, кое-как. Ни жалоб, ни стонов. Лишь команды.

Найти запасной полк, не зная адреса, немислимо. Но на то и вольный свет: немислимое оказывается возможным. Как, например, Надежда Пивушкова узнала, что ее Семен ни где-нибудь, а неподалеку от Вахрушевки, и уже не в госпитале, а в полку? Может, получила-таки письмо? Ничуть не бывало! Семен хотя и точно посылал письмо, однако адрес был проставлен так, что нигде не разобрали и положили, вместе с другими подобными, в кипу недоставленных, тем более и обратный адрес тоже не могли прочесть. Но если бы Надежда и получила письмо, она, по тому что написано, не отыскала бы Семена.

А узнала Надежда о Семене случайно. Остановился в деревне на короткий отдых списанный со службы инвалид. Надежда и спросила, не видел ли он Семена или Ивана. Инвалид ответил, что на войне он встречал много всяких Семенов и Иванов. Она приметы описала и фамилии назвала. Инвалид откопал в памяти: выписали их с Семеном Пивушковым из госпиталя в один день и час, но Семена отправили служить дальше.

— Увезли?— спросила Надежда.

— Пока-то не должно, но держать в запасе долго не будут, не такой момент, чтобы долго.

Надежда ни на что не поглядела — на неотложные работы, на запрет председателя колхоза, на долгий пеший путь. Пошла увидеть Семена. И помнила, с тайной радостью, что, может, и Ивана Варфоломеева увидит. И что было странно ей, Ивана она помнила яснее и ближе, а Семена далеко и туманно. Несла она в мешке,

закинутом за плечи, каравай хлеба, две пары носков своей вязки, нательную рубашу и штаны, махорки мешочек и бутылку самодельного свекольного вина. К тому дню она порядком обессилела — беспросветные работы и недоедание изнурили ее. На поход откуда-то нашлись добавочные силы. Ей представлялось, как встретит ее Семен, о чем спросит: то ли первым делом о ней самой, как живет, ест ли досыта или недоедает? Или сразу о Ваньке Варфоломееве — не воротился ли? Если воротился, то какой?

При думах обо всем этом у Надежды ныло сердце. Что ответить? Надо бы успокоить Семена, сказать, что дома все ладно, что она пока ни разу сильно не болела, дров запасено, хлеба немного, но она умеет приберегать. А Ваньки Варфоломеева дома нет и неизвестно, что с ним. Лучше бы об Иване ни слова. Его она постоянно помнит. И замужем, и вон сколько всего перетерпела, а из головы не выходит. И деревня вся знает, что Ванька у нее на уме.

Сватовство и свадьба какие были? Надежда Семена не выбирала, лишь дурачилась с ним. Отец ее нахваливал Семена: и разворотливый, и самостоятельный, и жизнью ученый. А от Ивана-де какой толк? Одно умеет — железо гнуть да корезить. Сила-дура...

Тем временем Семен делал еще одну работу — третью за день: вез старшинское имущество со склада к ротной землянке. Старые, пробитые на войне, с кровавыми пятнами шинели были по-братски связаны междо собою веревкой, брюки — ватные и летние диагональные — тоже не с фабрики: видели их окопы, землянки. В них неслись в атаку, ползли, спали, кончались. Семен достаточно повидал такой одежды на линии.

Когда же его определят в маршевую роту — наступающей ночью или утром? Отправки больше ночью. Он пожалел мерина Балую: опять попадет в другие руки. Нет того хуже для лошади — переход из рук в руки.

Громыхая, телега подкатила к землянке. Оттуда ветром вынесло солдата — монаховского помощника. Он повел себя неким командиром над Семеном:

— В беспорядке набросано! Не все, верно, доставил, потерял что-нибудь?

— Думаешь, ты зрячий, а я слепой,— буркнул Семен.

Монаковский помощник велел таскать привоз в кладовку, а сам исчез.

Тут-то Семена и окликнули:

— Пивушков не ты ли будешь? Баба спрашивает. Такая, брат, баба!

— Да где хоть? Придумают, баба!— приняв за шутку, отозвался Семен.

— Вона, за городьбой. Отсель видать, глаза светятся. Бегом, украдут!

Семен впопыхах и телегу оставил, и лошадь к столбу забыл привязать.

— Мать честная, неужто Надька? Да и быть того не может. Обманут для развлечения.

Но почему бы и не она — нашла госпиталь, отсюда по следу в полк. Мало ли?

Он трусил бровкой канавы к забору, за которым и верно виднелось бабье клетчатое платье и чернел платок. Теперь он не помнил, что бежать ему, тяжело раненному в ногу, опасно. При выписке доктор наставлял:

— Придется на время ограничить ходьбу, а бегать так и вовсе нельзя.

Чудные они, доктора,— что за ограничения на службе? Однако при беге он не ощущал боли, опасливо оглядывался, нет ли поблизости Ивана Варфоломеева?

Увидев Семена в нескольких шагах, Надежда не смогла узнать: и в обличье будто не он, и бежит незнакомо — весь как переродился.

— Се-ема, ты ли?

— Ага,— прокричал он, узнав Надежду по голосу.

— Не чаяла свидеться, Сема,— сказала она.— И кто бы думал?

— И я не чаял, Надя,— Семен видел ее не всю.— Как у вас тама, пришел кто-нибудь с фронту?

— Ни один не пришел,— ответила Надежда, подозревая, что он первым долгом намекает на Ивана Варфоломеева.— Ни единого человечка — ни хворого, ни покалеченного. Двоих убило, похоронки присланы. Знаешь их, Паню Калистратова да Мефода Молчуна.

— Не диво, Надя. Я и сам чудом живой остался. Шибко ранило, правда. Дальше-то останусь ли, кто знает?

Про Ивана, что он тоже раненый и находится в пол-

ку, Семен умышленно не сказал, хотя и подмывало сказать — увидел бы, как воспримет это Надежда.

Пропихнув голову между досками, Семен обзревал жену целиком. Изменилась, но не так чтобы.

А от караулки — триста шагов — неся во весь дух сторожевой солдат с винтовкой и орал:

— Прочь от зоны! Прочь, говорено! Эй, баба, уходи. И ты, боец.

Ноги Семена будто приклеились к одному месту. Он только и видел Надеждины глаза и любовно твердил:

— Диво какое, надо же! Вижу, ты, а никак не верится.

— И я вижу, вроде ты и не ты, — замято говорила она. — Щеки ввалились, может, и зубы выпали?

— Ты что? Зубы все как один на месте, даже не болели не одна.

Обняться бы Семену, поцеловать бы Надежду, да разгорожены они.

— Тебя и не выпустят, хоть на минуту? — спросила Надежда.

— Кто знает, может, выпустили бы, да к командирам идти надобно — к старшине, к ротному. А время занятое и строгости — зачем да почему?

Надежда пропихнула меж досками свой домашний принос. Семен принял.

— Больно, чай, было, когда шмякнуло? — спросила она.

— Сразу-то нет, а больно стало потом, на столе у доктора, когда по живому месту резали и зашивали. Не до усыпления было. Боялись момент упустить: кровь фонтаном била.

Рассказывал Семен, а сам помнил Ивана Варфоломеева. И Надежда с замиранием сердца ждала, упомянет он Ивана, а она не сдержится, выдаст себя. Одно успокаивало Семена: должно, Иван в колодце — воду в трубы гонит. Семен видел неразгруженную телегу. С минуты на минуту налетит Камыка, не поглядит, что Семен с женой встретился. Старшине дело делай и никуда не отлучайся.

— Знаешь, нет ли, Иван Варфоломеев со мной, — неожиданно для самого себя выпалил Семен.

— С тобой?! — вскрикнула Надежда и побелела с лица.

Сердце Семена отозвалось болью. Так-то! Все он

пережил — смертные бои, голодовки, холода, караулы. ранение, а все равно никуда не делось прошлое — не откинешь напрочь. И у тебя, Надька, ничего не забылось. Вышла ты замуж, Семен женился. Думал, на этом мёртво. Зря думал. Не с Семеном ты пришла повидаться, а с Иваном больше. Иван-то знает иль не знает, что ты здесь, вот теперь коренной вопрос.

— Сразу домой? — спросил Семен, владея собой.

— Ага, сразу, ночевать все равно негде. И сердце изболит — изба так брошена.

— Ивана на работу услали, — сообщил Семен, не сводя глаз с Надежды. — Трубы водяные прокладывает з земле. Он и тут по железной части.

— После ранения и не отдохнул, — проговорила она, не скрыв жалости к невидимому Ивану.

— И я работаю, — сказал Семен. — У тебя-то много работы?

— Свету вольного не вижу.

— В сусеках что-нибудь осталось? Только правду скажи. Когда я уходил, ячменя пудика два было, муки аржаной сколько-то, крахмалу мешочек.

— Да все и осталось, Сема, — уверила Надежда. — Я ела, что получала.

Встревожила его мысль, что бережет она хлеб для Ивана: придет он, она его и встретит. А что, разве такого не может быть? Иван воротится, а Семена как и на свете не было. И такое может получиться, оба явятся, только Иван опередит на годок. Не дай бог! В этот приход встретится Надежда с Иваном или нет? Может, Иван ожидает в потайном месте? Отойдет Семен, Иван как тут и был. О многом бы надо перемолвиться с Надеждой, но старшина Камыка, пожалуй, из себя выходит: пропал Пивушков, бросил на произвол казенное имущество.

— Самоволка! — набатно звенит в ушах у Семена.

— Хоть повидались, а дальше как знать: мне сызнова туда. — Он махнул руками на станционную сторону, откуда доносились протяжные гудки.

Камыка и точно бегал вокруг телеги и поносил Семена.

— Скрылся, все оставил. А ну, покажись, покажись на глаза!

Хоть и далеко был Семен, а старшина как-то углядел его. Увидел и женскую одежду по ту сторону изгороди. Ага, так вон тут что! Камыка кинулся со всех ног. В тот момент Семен прощался с Надеждой и наказывал, чтобы она сохраняла себя, а если он не вернется — так могло выйти, — нашла бы себе мужа. Только не смела бы поселять в избу Ивана Варфоломеева: разорит хозяйство, ее, Надежду, будет проклинять — зачем, было время, за Семена вышла?

Камыка как тут и был:

— Да ты вон где, Пивушков!

— Отлучился на минуту, понимаешь, — пролепетал Семен. — Баба из Вахрушевки притопала. Я вызвал, она и пожаловала. Побакнули.

— К нему баба! — воскликнул старшина, провожая Семена к телеге. — Не спросился! Обмундирование оставил!

Возле лошади остановились. Семен простодушно моргал глазами, глядя на переступавшего ногами Балую.

— Увидел Надьку, так побежал. Каждый бы... Хоть так, хоть этак, твоя воля.

Без наказания Камыка не оставил:

— Дотемна будешь возить. А в полночь при воротах на караул встанешь. Поймешь, как служить.

Как служить, Семен знал, но и при хорошем знании допускал иногда вывихи.

Вечером вся большая землянка в сборе. Занятия кончились. Младшие командиры умаялись сами, умаяли солдат, отдыхали на своем втором ярусе. Ни одного командира постарше не было видно: этим полегче — они только день на ногах, а ночь могут спать вволю, даже могут раздеться до исподнего. А солдат ничего не может: постели у него нет, сон ему не разрешен. В любую минуту ему прикажут: становись в полном боевом! Хоть из всех сил работал день, или занимался, или на нарах просидел — все равно будь наготове.

Стоит закрыть глаза в дреме, окрик:

— Спишь, Иванов!

Тот ошалело вскакивает, свежо рубит:

— Никак нет, товарищ сержант, только глаза закрыл, чтоб не слезились.

— Почему слезятся?

— С непривычки. У нас дома свет гасят ночью, а здесь карасин не берегут.

Семен сидел на своем нижнем ярусе, чинил порванную на работе неизвестно как шинель и вспоминал свои дневные успехи и провалы. Ишь, будто и день знаменитый, тыловой, а сколь всего прошло мимо. Тут и работы, и наказание словил, а самое главное — с Надеждой повидался. Как ни живет, а об Иване думает. Ядовитое это дело — любовь: ничем не вытравишь и огнем не выжжешь. Когда Семен брал Надежду, был у них разговор об Иване-кузнеце. Семен строго-настрого наказал: чтоб никаких Ванек-Панек, один Семен, и все.

— Семен, и все! — поклялась Надежда.

Когда женатым дома жил, слуху не шло, чтоб Надежда хоть раз останавливалась где с Иваном. И Ванька притих, проходил мимо Семена словно с завязанными глазами. Пошел однажды Семен в кузницу с заказом, нарочно заговорил про свою семейную жизнь, а Иван выслушал, заказ сделал, а сам ни слова. Затаился...

Совсем недавно пришел Иван со своей водоводной работы. Семен ни о чем его не спросил, но он сам склонился к Семену и сказал:

— Уработался, Сема, страх! Бывало, на кузнечных так не уработывался.

А на улице было темно, и Семен из подозрительности спросил:

— Чего же в темноте видно, какая работа?

— Видно не видно, а воду вынь да положи, — сказал Иван, притаенно засмеявшись.

Семен заметил удалый блеск в его глазах.

Может, давно, еще засветло, кончил он работу, и Надежда домой не ушла, осталась, чтобы с Иваном воровским порядком свидеться. Не терпелось Семену разузнать, но как разузнаешь? Иван удалился в тень — к Семену за спину, чтоб зоркий командирский глаз не увидел Ивана спящим. Стебликов сидел с Семеном бок о бок и хулил его шитье:

— Стараешься, Пивушков, силы вкладываешь, а шинелька и починки не заслуживает. Барахло. У меня прохудится, не притронусь, в такой и буду ходить — пусть командиры видят.

— Барахло не барахло, а в дырявой нигде нельзя, даже в окопах. Меня на передке комвзвода остановил:

ты что, Пивушков, удумал? Чучело чучелом. Почини и почишь!

Для Стебликова то был явный укол: ты-то, мол, и дня как следует не служил, так не тебе и знать, как должна выглядеть солдатская обмундировка. В тот день Стебликов сумел увернуться от работы, просидел на занятиях, вдоволь подремал и чувствовал себя бодро. Одежду он опять где-то обновил: выглядел хотя и не прежним щеголем, но все было на нем доброе — с одеждой Семена никакого сравнения.

Игла с нажимом втыкалась в потертое сукно. Семен тащил нитку. Усталость смежала веки. Палец то и дело укалывало.

— Швец! — язвительно произнес Стебликов.

Напротив, тоже на первом ярусе, двое спорили из-за табака.

— Хапнул ты, проходимец, кучку! Только бы жребий бросить, а твои руки гребут. Ишь, ведь!

— Мож, ты поболе моего хапнул, только тайно, никто не видел.

В проходе меж тем шла своя жизнь. Одни направлялись к выходу, другие, напротив, забирались на ярусы. Тут же строилась команда на выбытие. Звонкоголосый новобранец возгласил радостно:

— Жизнь в запасе мне ненавистна, хочу самую что ни на есть боевую.

— Видишь, он хочет жить по-другому, — кивнул в ту сторону Стебликов. — А понять того не может, другой жизни теперь и нет.

— А фронтовая? — оторвался от шитья Семен. — Хотя что же я? Ты ж ее покуда ни нюхал, фронтовую-то. Люди там болеют, загадывают, даже женятся изредка. Живут, стало быть.

— Это ты брось — женятся! — не поверил Стебликов.

Семен локтем разбудил Ивана:

— Подтверди, женятся ведь на огневой линии.

— Слышал, женятся, но сам молодоженов не встречал. Женятся всякие побочные, те, что от огня далеко.

Чтобы отдохнули глаза, Семен на малое время оторвался от работы и стал глядеть на пустующий проход. Мимо вяло двигался взъерошенный солдат. Остановился и, покачнувшись, упал навзничь. Тело его стало содрогаться, руки и ноги вразнобой вскидывались.

— Где санитары?— встревожился Стебликов.

— Припадок,— сказал Семен.— Много здесь разного люду, никаких санитаров не хватит.

Тем временем припадочный затихал. Кто-то из командиров углядел непорядок.

— Эвона, разлегся! Ну-ка, встать!

Солдат лежал.

— Больной он, товарищ сержант.

Припадочный сел и, уцепившись за стойку нар, стал вползать.

Сверху донизу ожили нары — солдаты и командиры закопошились, заговорили. Повеяло махорочным дымом. Скоро общее построение и отправки. Сколько-то послужив, всяк и без команды угадывает, чего ждать. Строиться придется в полной обмундировке и с вещмешками.

— Оно, Сема?— для напоминания справился Иван.

— То самое и есть. Ближе к дому другой раз не воротиться.

— Бывает, ворочаются,— сказал Иван.— Через запасной не однава проходят. Встретил я мужика, пятый раз в запасном.

— Один, он и есть один,— рассудил Семен.

— А я в запасном впервые, и засиделся,— похвастался Стебликов.— Не гонят, так можно.

— Другие там, а ты здесь, ловкач!— укорил Семен.— Лишь по чужим байкам кое-что знаешь. Каково своими-то глазами все видеть? Мурашки по коже!

— Так, Сема, я на себе испытал,— кивнул Иван.

Он стал укладываться в дорогу. Что у него в мешке? Считай, все здесь, в запасном, приобрел: медная зажигалка за две пайки хлеба, десять конвертов за табак, карандаш — его так кто-то сунул, поясной брезентовый ремень — остался на нарах после выбывшего с маршевой ротой. А еще... Тут Иван машинально повернулся к Семену боком, чтобы тот не подсмотрел. Но поздно — Семен углядел шерстяные носки, точь-в-точь такие фасоном и цветом, какие Семен сам получил ныне от Надежды. Он все забыл: предстоящее построение, отpravку с маршевой ротой, одного Ивана видел. Явственно нарисовалось Семену, как Иван встретился с Надеждой — и с глазу на глаз, в укромности. Свершилось-таки! Прорвалась копившаяся годами злость — Семен с кулаками кинулся на Ивана:

— Негодник, мучитель!

— Да ты сам первый мучитель!— прохрипел Иван.

Увидел он себя деревенского. Вспомнил, как Семен подгадал момент, женился на Надежде. В то время у Ивана сошли в землю друг за дружкой отец с матерью, вольный свет Ивану был не мил и не дорог. А отец Надежды, дядя Кирей, не терпел мастеровой род Варфоломеевых. Варфоломеевым он и звания иного не знал, как только жженые-каленные.

Безжалостно тузя друг дружку, они клубком скатились с нар и возились в проходе.

— Н-на, жулик!

— Получи сдачу, отродье!

Хотя от природы Иван был намного сильней Семена, но тот собрал все силы — вывертывался и наседал.

Вокруг толпа: невиданное дело в запасном — потасовка.

На шум прискочил старшина Камыка:

— Нализались?!

Ни наказывать своей властью, ни доносить выше не стал: все равно обоим ночью в дорогу — ближе к фронту.

ПОПОЛНЕНИЕ ПРИХОДИТ НА РАССВЕТЕ

Глава первая

1

Одуванчики — целое море — волновались, желтели, мешали глядеть на недоступную гору. А туда требовалось глядеть да глядеть — там они, немцы, и тоже залегли. Холодные снега и тут же одуванчики — откуда наваждение?

Тишь устоялась на короткое время, будто не фронт, не передовая — кровавое гиблое место, а глубокий безлюдный лес или затаившееся трудовое поле пред весенней пахотой. Но одуванчики все не исчезали, цвели. «Чудно, еще как чудно-то!» — воскликнул в душе солдат Сергей Пашалов, ничуть не желавший, чтобы летнее видение пропало.

Николай Якимов, распластавшийся на снегу в соседстве, локоть к локтю, глядя слезящимися глазами на Сергея, догадливо сказал:

— И что с тобой делается, земляк? Вроде и позабыл, где находимся.

Нехорошо, муторно стало Сергею, будто Николай грубо влез в тайники его души:

— Лежи, Коля, понял? По сторонам зенками не рыскай, упрись ими, куда командир велел.

Они — двое верховских — высматривали, как незаметней и ловчей пролезть наступающей ночью к городу на взгорке, к черным деревьям. Теперь, при дневном морозном свете, подходы и подступы видны ясно, но темнота скроет приметы.

Минувшей ночью, как и в предшествующие, много полегло наших на снеговом поле. На рубеж вышел полк, а после атаки и батальона не составить. Утром

пополнили подступившими из тыла, слабо и наспех обученными. А положат в первый же день — редко ли? — и учить не придется.

Недавно убитые, еще не одетые снегом, с запекшимися кровавыми пятнами на шинелях и ватниках, чернели по всему полю. Сергею о них не думалось, будто рядом не мертвые, а раскидало той ночью некое чудище камни. По темноте, в малой видимости, соберут вчерашних живых в большие, подобно стогам сена или соломы, кучи, окатят вонючей соляркой и запалят. Поползет во все стороны тошнотворный дух. Кто из троих верховских угадает в тлеющую кучу или ее ни одному не избежать?

Душа Сергея не успела окаменеть и ожесточиться, жила прежней тихой деревенской жизнью. А окаменеть бы могла хотя бы от близости сотен мертвых. Каждый рассчитывал вернуться домой, писал отцу с матерью, жене, детишкам утешительные письма: ждите, приеду. Сергей тоже рассчитывал вчера, не отчаялся и ныне. И Николая Якимова не покинула надежда. Может, Алешку Кирикова покинула? Нет-нет, спросить — ни одного не покинула. Только какво спрашивать под пулями? Надеялись твердо, хотя и студено было, и ноги коченели, обернутые байкой, сунутые в кожаную, пахнущую дегтем обувь, скованные до колена обручами-обмотками. Придумали смышленные люди для солдата обувь, чтобы в тесноте ноги стыли пуще. Сергей подвигал пальцами: больно от холода, а ничего, живые. А ну-ка, поморозь, что в роте поднимется:

— Пашалов нарочно, чтобы выбыть с передка на отдых. Судить его, сукина сына!

Разве не могут осудить? Запросто.

И сызнава ничего не видать впереди, цветут да цветут себе одуванчики, и никакого снега нигде. Николай и тут угадал, что творится с Сергеем:

— И знать ничего не желаешь, кроме своей промелькнувшей любви.

Все-то понимает Николай, бес, даже тут, на краю жизни. Любовь и война — одно с другим не сходится, противостоят друг дружке, как жизнь противостоит смерти. И все же, хотя ты и на лютой войне, в самом пекле, а о живом не в силах не думать.

— Сам-то, Коля, ты кого видишь? — отозвался Сергей. — Неужто свою Варьку забыл начисто?

— Ну-ну, шлепай меня взаимно, шлепай,— дружески сказал Николай, посмеиваясь.

Белая мгла стлалась впереди. От одуванчиков и следа не осталось, только снег. За снегами, а может, и посреди них, темнели деревья, неразделимая стена. День и ночь колотят по ним пушки, а они где стояли вчера, там стоят и сегодня — убежать не могут.

Пятеро в маскировочных халатах выбрались на ледовый бруствер и полезли по снегу.

— Эй, куда понесло?— вдогонку окликнул Сергей.

— К теще на блины.

И тут на языке шутки!

Сергею ни о чем больше не думалось, лишь мерещилось тепло, хотя сейчас его нет и не может быть.

2

Такая она, эта земля, еще недавно жилая, населенная множеством трудовых людей, а теперь уставленная пушками, исторгавшими огонь.

Сменившись с боевого поста, двое продрогших верховских прошли в пригородную улицу. Она и всего-то в километре от рубежа — почти сохранилась, хотя сюда доставали не только снаряды и мины, но и пули.

У Сергея желудок пустой. Но еды дадут, пускай и не до отвала, а дадут — на то и паек спущен всем одинаковый. А тепло свыше не предусмотрено, погреешься где — ладно, не погрелся — так сойдет.

Рубленый дом, где располагалась рота, хозяйский, особо стоящий, чудом уцелевший от пожаров и порухи — в некотором роде удачник. Когда Николай и Сергей сюда вошли, их обдало неровным теплом от железной печки. На дощатых нарах лежали, а больше сидели бойцы — в сумраке все на одно лицо. Лишь один особенный, Митя Миронов, юнец, — рука забинтована от плеча до локтя: садануло вчера снарядным осколком, но в госпиталь не захотел, отбрыкался.

Стрельба слышалась ровная — далекая и близкая, орудийная и винтовочная.

— Можем сказать, Серега, опять уцелели покуда, воротились с передка невредимые, — проговорил Николай тихо. — А могли и не воротиться, как другие, смотришь, не ворочаются.

— Снаряды над головой пролетали, пули тыкались

рядом, но не в живое место,— горьковато пошутил Сергей.— Черед, по всему видно, не наш, а без череда никуда не попадешь, даже и на тот свет.

Они сели вместе со всеми на доски с намерением чуток расслабиться.

— Да, как же там все-таки моя Варька?— вслух спросил Николай и вздохнул.

И Сергею бы вздохнуть, но о которой — о Наташке или о Лидии? Раздвоенность окаянная, вьюга с морозцем — рвись на части. Никуда от себя не деться. Лидия постоянно в глазах, и тут же на него с укоризною пятится большеглазая Наталья. Вот же что проделывает с ним мягкость.

Меж тем отнюдь не вместибельный дом набивался солдатами. Который откуда. Кто, отлежав свое время, со снега поднялся, как Сергей с Николаем, кто на часах отстоял поблизости, кто обучался в кирпичном сарае стрельбе из винтовки. Мало знакомых. Знакомства скоротечные. Только познакомились, глядь, знакомого и след простыл: убитый или раненый. Лишь верховские подзадержались. По этому поводу они прямо не высказывались из предосторожности, как бы не положило обоих за один выход.

Постоянного места на досках ни у кого, даже у командиров, нет — дом не для проживания, лишь для обогрева. Садились и ложились, где в данный момент пустовало. Никакого личного имущества, кроме легкого заплечного мешка. В нем запасные портянки, щепоть соли в тряпочном узелке — от тошноты при недоедании, затертые до неясности письма, винтовочные патроны. И ни хлеба, ни курева.

Забыли, когда в последний раз раздевались до исподнего и разувались — приходилось быть всегда наго-тове. И тепла настоящего нет — мерзнут ноги. И собственного согрева тоже нет — что это за еда для солдата, который и не помнит, когда спал всю ночь напролет?

— Алешки не видно, может, и не придет, наповал могли запросто уложить.— То очередная ловкая подковырка: Николай-то знает, что лишнее напоминание об Алешке Кирикове тревожит Сергею душу.

— Где-нибудь, верно, тут, за чужой спиной хоронится,— буркнул Сергей.

— От меня ему незачем прятаться,— Николай опять — с явным намеком.

Много раз обстоятельства — погибель, ранения, переброски — могли разлучить земляков, но все не разлучали, будто нарочно берегли для совместной опасной жизни.

Из деревни по мобилизации много километров шли вместе, целая дюжина. Было хмуро и холодно тогда. Ветер гнал с западной, гнилой стороны колючую морось. Бывало прежде, когда не надо, Верховье виделось верст за пятнадцать с любой горки, а тут и рядом, в какой-то версте, ничего не видать, хотя и тумана нет, только все та же морось.

После горестного расставания все бабы остались на дороге, будто ждали, мужиков вернут. Одна Наталья пораньше всех скрылась, чтобы не мозолить глаза Сергею.

Он с котомкою за спиной, где лежали сухари, каравай хлеба и кружка, понуро плелся сзади, видел чужие спины, особенно широкую спину Алешки Кирикова. Шедший с ним на пару Николай занимал Алешку забавными рассказами, находил силы непринужденно смеяться.

«Что завтра будет, никому не угадать, а пока темшимся», — думалось Сергею. Стоит Лидия между ним и Алешкой, развязки ждет, а она может получиться такая, что не увидит Лидия больше ни того, ни другого.

Николай, живо обернувшись к Сергею, хрипловато, после вчерашней гулянки, спросил:

— Почему же мы не сказали бабам, чтобы в район они наведались? Все бы отложили на время и наведались. Нас же, думаю, поддержат сколько-то и поучат. Скажем, я в военном деле смыслю, ты тоже смыслишь, а другой-третий нисколько.

— А не хочешь ли с ходу в телячий вагон? — полушутливо отозвался Сергей.

Куда и зачем идут, знал каждый. Какая тут может быть задержка?

Потому-то разговор и заглох.

В район притопали на исходе дня. Небо очистилось, земля не парила, лишь издавала еще не успевшее сойти на нет летнее тепло.

— Такое оно, небушко, в день нашего расставания, — приглушенно сказал Николай Якимов. — Это что-бы вспоминали мы его там, в огне.

Приемка и отправка мобилизованных происходили

днем и ночью на огороженном досками дворе школы. Времени для сна отведено не было. Прошлой ночью верховские спали по своим избам, и среди многих поступивших у них был самый бодрый вид. Военкоматские командиры оценили их по-своему:

— Ребята вы боевые, марш в первый вагон!

Дорога была долгая — эшелон больше стоял, чем двигался. За все дни Сергей ни словечком не обмолвился с Алешкой. Впрочем, и тот не выказал желания перекинуться хотя бы двумя-тремя словами. Даже когда под первую в жизни бомбежку попали, перед прибытием на станцию Волхов, каждый лежал в своем углу бессловесно.

3

В тот момент, когда закочневшие Сергей и Николай обогревались под крышей, Алешки Кирикова не было видно, хотя и был он живой. На снегу, как двое его однопороденцев, он не лежал ни минуты, а неподалеку от ротной стоянки ходил на лыжах. Такой ему и еще пятерым покрепче телом приказ командирский вышел:

— Ты, Кириков, сохранился. Баба у тебя, видать, заботливая, сытно кормила. Другие, гляди, враз потощали, обессилели, себя еле волокут, не то что лыжи.

Алешка как бы и не помнил своей жены Лидии. У него хватало силы отстраняться ото всего, что было когда-то с ним и с его близкими, и жить лишь тем, что требовалось от него в этот день и в этот час. И это не из опасения за свою жизнь, а больше, пожалуй, по трезвому рассуждению — зачем думать о том, чего, увы, нет и будет ли когда, неизвестно?

А ждали от него теперь усердия, то есть чтобы он постоянно помнил, что от его терпения и смелости многое зависит. Требовалось это, конечно, не только от него, а и от тех, кто находился в эту минуту в ротном прибежище, как и от тех, кто лежал в снегах живой и при оружии.

Отогревшийся чуть-чуть Николай успел задремать. Тут-то к печке и подсел Алешка.

— Что там, на самом передовом фронте? — очнувшись, спросил Николай.

Находясь и сам на передовой, он все же различал места, где солдата доставала простая пуля ближнего боя, и места, куда пуля не доставала. К примеру, вот это бревенчатое укрытие, по его мысли, не самый передовой фронт, а некий тыл, хотя и небезопасный.

— Да ты и сам только-только оттуда,— хмуро отозвался Алешка, грея руки над печкой. Лицо у него небритое, бурое, скулы торчат.

Николай, как ни промерз и как ни хотел полежать, поднялся, сел рядом с Алешкой.

— Ответь, друг, ты все же сынок учительши, я здесь то и дело слышу: Ижора, Ижора. А что такое обозначает — Ижора?

— Откуда мне знать про Ижору?— уклонился Алешка.— Возможно, земля такая, место, где люди живут исстари.

— Наше, русское?

— Чье же еще?

Николай понял, что большего от Алешки не добиться. Тем бы и кончилось, но донесся сипловатый голос Сергея с нар:

— Никакое не место и не земля, а речка такая, Ижорой зовется.

— Эх, как следует ни один не знает.— В недовольстве Николай даже отвернулся к углу, где на обоях плясали красные зайчики от печки.

— А тебе зачем знать?— подивился Алешка.— Совсем не важно, река или место, все равно отходить нам некуда и нельзя — или сколько-то здесь топтаться, силенки подкапливать, или к горе с боем проталкиваться, оттуда дальше.

Возражений не последовало: дело известное — паться некуда, линия эта предельная.

Потому-то Николай и спросил насчет Ижоры. И в ответ — не Волга, не Нева, а скрытая под снегом и льдом неведомая речушка. Такие-то везде есть — летом вброд перейдешь. Зацепись попробуй.

— Хоть бы текла она, Ижора,— сказал он с некоторой досадой.— А то, вишь, мертво.

— Она и течет тихо-скрытно, под толстым льдом,— напомнил Алешка.

— Надо на виду, чтобы был рубеж как рубеж, а то его будто и нету.

— Весна придет, Коля, проснется Ижора, увидишь.

— Увижу? До весны дожить надо,— посетовал Николай.

4

У крыльца в глубоком снегу разорвалась первая мина. И тотчас удары глухие, не трескучие, со всех сторон обложили солдатский приют. Осколки впивались в бревна, вырывали щепки. Но печка как ни в чем не бывало пыхала вовсю. Команды никакой не последовало. Солдаты не знали, бежать на улицу или по-прежнему находиться на нарах, тем более, что потеряешь — не вернешь.

Алешка на грохот не повернулся и не открыл глаз, хотя и не спал. Сергей настороженно оторвал голову от вещмешка-подушки, на Алешку не поглядел, ждал команды на выход. Но команды все не было, и он снова распластался лицом к потолку. Притаенно думалось: вот и такой конец возможен. Не там, на бровке снежного окопа, не на пешей дороге туда или оттуда, а здесь, на нарах и при печке, в удобствах. Рванет, и ушла жизнь из-под ног. Кто о нем поплачет? Наташка открыто, при людях, а Лидия дома украдкой. Николай же по прирожденной непоседливости лежать и не подумал — вскочил, испуганный, озирающийся.

— Не иначе, нас засекли! Да ей-богу, засекли! С неба, из-под облаков, высмотрели, как мы к окопам и оттуда двигаемся.

— Не будоражь, Колюха. Обходилось раньше, глядишь, и опять обойдется.— Алешка так и сидел, зажмурившись.

А за стеною все шлепались в снег и разлетались смертоносными брызгами мины.

Наконец-то донесся приказ вбежавшего комвзвода Гаврикова:

— Ну-ка, долой наружу, ну-ка, кидайся наземь, ноги-руки вразмет!

С неясным гулом понеслись, толкаясь, из тепла на декабрьскую стужу. Страх не брал, охватывал холод. Ротный Жаворонков первый успел — уже распластался на снегу — хотел еще пожить. И все-то хотят жить, всем есть зачем жить.

Алешка вышел последний. Как ни в чем не бывало, с прищуром поглядел на небо, будто ожидал увидеть

солнце. Но солнца весь день не было, а было привычно хмуро и бело, и падал лениво снег, уже не колючий, а умягченный, не подгоняемый ветром. Возможно, не небесный, а лежалый, поднятый взрывами. Алешке представилось, что дома, в Верховье, тоже идет снег. И также не вьется, а ложится лениво. И на всей земле валит и валит снег, даже в далеких южных, не задетых войною краях.

Рядом очутился взбудораженный Николай и заорал в ухо Алешке:

— Идешь не идешь, форсишь. Камнем бухайся, так и этак мать-перемать!

Неподалеку, в каких-то шагах, плюхнулась мина. Алешка, казалось, увидел ее, черную, еще не разлетевшуюся на куски. Когда рвануло, он не устоял на ногах, со всего маху плюхнулся на белую постель. Ощупал себя — ничего, целый.

Сергей покоился на снегу, будто в тепле на нарах, и глядел на небо. Даже и взрыв не повлиял, лишь засыпало глаза поднятой снеговой мукой. Но снег тут же и растаял. «Живой, живой, кровушка еще согревает малость!»

Николай приполз к лежавшему без признаков жизни Алешке, ошалело крикнул:

— Что тебе было говорено? Сам бы вылетел пробкой, растянулся, как другие, а то уложило. Куда деть — в госпиталь или в общую кучу к убитым?

Алешка молча вздел руку: цел-невредим!

Может, мины иссякли или минометчики-фрицы замерзли в своих летних шинелишках, только обстрел заглох.

Стали по одному возвращаться в помещение — не с той прытью, с какой вырывались наружу. Задержались только Сергей и Николай. И не просто так задержались.

— Глянь на конек, Коля, — рукою указал Сергей на крышу. — Видишь?

Но Николаю не до крыши было — он еще не пришел в себя. Сказал наобум, не поглядев:

— Крыша и крыша, драночная, изрешеченная.

— Да ты гляди!

Чуток успокоенный, прозревший, Николай заметил на высоте живого человека. Тот, оседлав конек, повер-

нул голову, укутанную в женскую шаль, как раз туда, откуда только что сыпались мины.

— Так не иначе, этот седок и виноват!— озлобился Николай.— Минометчиками командует, куда положить. А вот я его, как поганую ворону, смахну!

Он живо патроны достал, винтовку вскинул, однако Сергей отвел:

— Этакий проворный! Не различаешь, мальчонка сидит. Мерзнет, а все равно сидит, возможно, себя закаляет. Мы ж его и так подманим. Эй, парень, а ну, сюда! Не чуешь? На землю, и точка, не то себя загубишь!

Тот не стронулся с места, лишь показал лицо. Глаза у него как две луковики, волосы из-под шали рыжие, длинные, мешают впрямую глядеть.

— Да он еще и упираться!— гнал в свой черед Николай.— А вот мы тебя на мелкие кусочки!

Мальчишка кубарем скатился по крыше и плюхнулся в снег. Вскочив, вытянулся почти по-солдатски.

— Кто такой, почему там?— нестрого спросил Сергей.

— У трубы сижу, от нее, бывает, тепло исходит, когда дымит. Если дыму нет, тепла тоже не бывает. Сейчас труба даже горячая.

— Слышь, Серега, чего проделывает хитрец?— восхитился Николай.— Как тебя звать-то хитреца?

— Ванькой, а на улице, как и себя помню, еще Иоханном кличут.

Николай с Сергеем недоуменно переглянулись. Иоханн? Да подобные имена где-то там, у тех, с кем приходится биться насмерть.

— Какая же у тебя народность, нация, по-ученому?— спросил Николай.

— Русак.

Докапываться не решились.

— Не наше с тобой дело, Коля,— рассудил Сергей.— На то командиры. Иди, Иван, то бишь, Иоханн, к нам в избу, там и пояснишь.

Глава вторая

1

Задержанный Иван командиру роты Жаворонкову сказал, что в доме, заселенном теперь ротой, не так

давно жили трое — вот он, Ванька, Иоханн по-уличному, его мать Катерина, и слабая здоровьем бабушка Лизавета. А фамилия у всех одна — Бедовы. Откуда взялось имя Иоханн, мальчишка пояснить отказался. Это несколько насторожило Жаворонкова.

— Почему же ты застрял в опасной зоне? Может, и мать тут или еще кто?

Малец ничуть ничего не пугался: он столько всего повидал и перетерпел, что его свое будущее мало интересовало, лишь бы не маяли расспросами и не лишали воли.

— Нету рядом ни мамы, ни бабушки.

— А отец?

— Его никогда и не было.

— Новости, отца не было! Скрываешь?

— Говорю, не было, — твердил Ванька. — Убито сколько, не сосчитать, а я живой.

— Как же получилось? — Жаворонкову, и в самом деле, было любопытно.

— Вот так. Когда мама и бабушка на вокзал уходили, я на крыше за трубой сидел. Никуда не хотелось. Мама позвала сколько-то раз, а на поиски даже минуты не осталось — бои подкатились.

— Но ты еще и голодный, — предположил Жаворонков.

— Голодный-то голодный, да не совсем. У меня хлебные карточки на троих, а магазин не так и далеко, каждый день выкупаю.

Жаворонкову представилось: фантазирует, поди, какие карточки? Но ведь чем-то живет!

— Пойдешь выкупать с провожатыми. — Ротный тут же командировал Сергея и Николая.

Последнему не очень-то и хотелось: успел лишь чуть-чуть согреться. И было бы что-нибудь серьезное, а то мальчика сопровождать!

— Надумал командир с тобой возится, — ворчал Николай дорогой. — Прогнал бы в штаб полка, а оттуда тебя бы еще дальше: не путайся под ногами!

— Делать тебе на фронтовой линии нечего, это как пить дать, — подтвердил Сергей.

— Не уйду, мне некуда, — отговаривался Ванька.

— И спрашивать тебя нечего, — напирал Николай. — Только и не хватало глядеть в рот разным Иоханнам.

— Иоханн, так и есть, — кивнул Ванька. — С нами

рядом жил старый-престарый Иоханн, добрый такой дедушка. Я к нему и повадился. Так-то и меня окрестили Иоханном. Бабушке Лизавете понравилось имечко.

Не остерегаясь, подвигались засыпанной снегом улицей. Ванька посередине, будто под охраной. Где-то покажется солдат с доской или бревешком на топливо. Он так и под обстрелом пойдет, не пригнется — голодовка отняла силы.

— Житуха подвалила, а, Серега? — не пожаловался, а удивился Николай. — Разве думали-гадали?

Пашалов мало чему удивлялся:

— Мы с тобой не думали, правда, а кто поразумней, тот предполагал, и себя готовил.

— Как?

— Кто как. К примеру, Васька Комаров из Вахрушевки, знаешь его? Командиром стал. Академик!

— Академик?! Васька-то? Да ты что?!

Ни одного целого деревянного дома по дороге, лишь обгорелые остовы — без окошек, без дверей, полужансенные снегом. И большие кирпичные выглядели не краше — побитые, необитаемые коробка без крыши. Много заводских труб неподалеку — ни дымка, ни парового вздоха. Нигде ни души — мертво.

— Думаете, я никудышный, ага? — набивал себе цену Ванька. — Да я ж с осени в батальон пробился, в наш, ижорский. Положили наших сколько! А я нетронутый, как заколдованный. Со всех сторон бьют, чем попало, с нашей линии одни пули винтовочные. Патроны знаешь как берегли!

— Брешешь, одни пули, — не поверил Николай. — Мальчишка, а все разведаль! Почему же ты из батальона удрал?

— Никак не бывало. Спихватились, пожалели, мал и все такое. К мамке воротился, черный, закоптелый, глядит, а признать не может.

Подступили к каменному строению с высоким полукруглым крыльцом. Окна наглухо заделаны чем попало: кирпичами, досками, железом. Нырнули друг за дружкой в тяжело открываемую дверь. В магазине не теплей, чем на улице, ничего не видать со свету. Далеко над прилавком дрожащим светом горела свеча. Белел фартук. Пахло хлебом — это учуяли все трое.

— Чистым аржаным тащит, — проговорил Николай,

глотая слюнки.— Наш солдатский наскрозь промороженный и ничем не пахнет, как железо.

На виду буханок не более десятка. Продавщица взяла карточки у Ваньки, вырезала ноженками нужные талоны.

— Четыреста десять граммов.

— Фунт да еще с добавкой,— определил Николай.

Он только и видел хлеб. Нет его, будто так и надо, но вот он, и не отвести глаз. Продавщица резала бережно, вроде не касаясь буханки ножом.

— Хватай, да живо, Иоханн!— поторопил Сергей, будто от одного мальчишки зависело, взять или не взять.

Приняв кусок, Ванька сжал его, как только мог, в худых руках, вроде боялся, отымут. И вон к двери. Дорогой даже малую добавку не съел, схитрил: пускай командир Жаворонков убедится, Ванька добыл хлеб как положено.

При таком обороте дела ротный окончательно смягчился:

— Не придумаю, куда тебя, Иван Бедов? Не при чем оставить, зря пропадешь.

— А я пропадать не хочу! — взмолился Ванька и едва не заплакал.

2

Зима выдалась снежная, жестокая. Явилась рано, в октябре, и взялась подминать под себя не успевшую остыть землю сразу, без раздумья. В глубоком снегу утонули поля. Непривычным к крутым морозам фрицам приходилось в землянках отсиживаться, в летние шинельки кутаться, тряпьем себя обволакивать.

Но стужа для всех стужа. У Сергея вся обмундировка — куртка на жидкой вате. Обувка — ботинки холодные, прилипают к ногам. Добро, он лишний кусок байки подвернул. Николай же и в деревне форсуном слыл, и на фронте не переродился. При обмундировке по своей охотке ботинки на размер меньше взял, хвастался: в походе будет легче легкого. Теперь ловит подковырки:

— Выгадал, Микола?

В секрете от земляков он хотел поменять фартовые ботинки на чоботы любого, пускай самого никудышного вида, только бы побольше размером. Но кто зимой захочет ущемить самого себя?

Он к старшине, а тот лишь посочувствовал и развел руками:

— Ничего подходящего, Якимов, покуда нет, топай в тех, кои на ногах.

Словом, никто его не пожалел. Он даже на риск был готов пуститься — на огневой линии после атаки переобуться за счет мертвого.

Наверняка и на такую крайность он бы решился, не будь Ваньки.

В тот первый день ротной службы мальчишке жилось сносно, как давно не жилось. Внимание к нему было полное и место на досках он получил. Правда, его пока не одели в военное, но это не потому, что не хотели, а потому что у старшины обмундировка на взрослых. Ему подошла только шапка со звездой. Шапка тоже отнюдь не на малыша, но у Ваньки по голове подошла. Старшина одобрил.

— Носи знай.

Николай тоже похвалил:

— Малахай как малахай.

Командиру роты Ванька и тем еще пришлось по душе, что знал окружающую местность в натуре как пять своих пальцев, вплоть до Мги и Павловска.

— Но то ж летом, Ваня,— усомнился было Жаворонков.— Зимой все под снегом.

— А по мне хоть зима, хоть лето,— уверил Ванька.— На лыжи, и айда.

Не по сердцу пришлась Николаю излишняя командирская доверчивость. А Ваньке он ляпнул в глаза:

— Подкатился, скажи, Иоханн! У тебя, поди, на подволоке радио?

— Было, как же, и какое!— простодушно ответил Ванька.— Но то ж когда! Уворовали, неизвестно кто. Остались лишь ботинки дядины.

— У тебя дядя?!

— Ага, мамин брат, дядя Федя. Его и в живых нет... Принести ботинки?

Бес, этот Ванька! И как мог догадаться, что у Николая нужда?

— Неси, авось подойдут. Чур, никому ни слова.

А уже стемнело. И сызнава, правда, реже, чем утром, плюхались неподалеку мины и фыркал снег.

Лежавший на нарах рядом с Николаем Сергей разгадал хитрые маневры земляка, толкнул в бок:

— Зачем иметь две пары?

— Без запасов жить не привык,— засмеялся Николай.

Ванька припер подбитые мехом ботинки. Николай тут же переобулся. Обнова оказалась по ноге, и подозрение к Ваньке у него ослабло, хотя вовсе и не прошло.

3

От славного Ижорского батальона, оборонявшего всю осень рубеж, к зиме сохранилась лишь память. Солдаты, что сменили ушедших, только начинали воевать. Командиры им напоминали: «Ижорцы, вот были ребята!»

У Жаворонкова в роте, по прошлой довоенной жизни, почти все мужики, крестьяне. Сам же он, хотя и родился в деревне, себя деревенским не считал. И поныне у него там мать и брат Петро, годами как Ванька.

— Готовься, Бедов, уйдем отсюда,— сказал Жаворонков, наблюдая, как это воспримет малец.

Тот насторожился:

— Куда?

— Только и знаю, в избе нам больше не бывать.

Ванька присмирел и сжался, но не надолго:

— Если надо, так и уйдем. Только карточку нужную со стены сыму. Можно, командир?

— Да хоть все. Ты ж тут единственный всему хозяин.

На стенах висело много фотографий — семейных и одиночных, в рамках и без них. Солдаты не смели прикоснуться к чужой жизни.

Карточку Ванька завернул в тетрадный листок, сунул в нутряной карман. Ни один — по неловкости — не спросил, кто там, на снимке, даже и Николай. К переходу Ваньке нечего готовиться. Какое у него имущество?

В новенькой шапке со звездой, в домашней потрепанной телогрейке, в разношенных валенках он подошел к Жаворонкову и доложил по всей форме:

— Готов!

Позади у него оставалась не такая и короткая, как он понимал, жизнь. «Много-много всего остается», — подумалось ему. Но кто посочувствует? Все же уходит

он из дому. А спросить каждого, кто откуда попал на войну, скажут: из дому.

Лишь Николай Якимов догадался ободрить:

— Ты ж, Ваня, большой.

— По одному, выходи!— призвал ротный.

Хватали у порога, в сумраке, каждый свою винтовку, выталкивались наружу. Было холодно, бело вокруг. Светили то ярко, то тускло ракеты. Одна падала и гасла, другая, вспорхнув, загоралась.

Когда Сергей проходил сениями, ему в загривок тепло дышал Николай, зачем-то твердивший: живей, Серега, а ну, живей! Будто тот в силах всех опередить. Да и зачем опережать?

К ночным выходам Сергей стал привыкать, хотя, казалось бы, и какая привычка, не спать ночью? Придется подбираться к передовой, возможно, миновать ее, где ползком, где перебежками. Сергей будет стрелять по ним, как и они не отмолчатся.

Легко пуржило, и неуверенный свет летел вместе со снегом, со снегом же летел и черный пепелок, не то с поля боя, не то с пригородного пожарища.

Стучали приклады винтовок. Спеша, солдаты в темноте натыкались друг на дружку. Глухо бренчали котелки. Голосов не было, не доносилось ругани, как бывало почти всегда.

Полусонный очумелый Николай метнулся туда, где стоял Алешка. Тот оговорил:

— Прешь, никого не видишь!

— И впрямь, ничего не разберу сослепу, сна ведь кою ночь нет,— оправдался Николай.

Когда замерли, Жаворонков во всеуслышание сказал:

— За сутки наша дивизия в атаках пока не подавалась вперед ни на вершок.

Перед каждым выходом на передовую ротный взял за правило говорить одно—ни на вершок. Чтоб всяк помнил, ради чего идти опять и опять, возможно, на смерть.

Ванька стоял неловко в самом хвосте—по росту тут ему место.

Двинулись гуськом, в пути облачались в белые халаты. Вскоре цепь слилась воедино со снеговой местностью. Шли и шли, не подгоняемые никем.

Глубокий, в двойной человеческий рост противотанковый ров выкопали лопатами летом и осенью. Однако к нему, залитому водою, вражеская железная армада не прорвалась, застряла неподалеку, а ров лежал как бесхозный.

— Только зря старались,— изрек студент Виталий Митюшов.

Прежде всего он пожалел свои силы — их оставалось день ото дня все меньше. Жил Митюшов впроголодь, а с началом войны, как ему представлялось, не ел и вовсе. Из пригорода, с рытья, воротился худой, кожа да кости, но достаточно бодрый, как может быть бодрым тот, кто едва переступил свое двадцатилетие. Все мнилось ему осуществимым и доступным, все прямо его касающимся.

Он только что повстречал свою сокурсницу Тоньку Воробьеву, имевшую, кроме некоторой склонности к сухим институтским наукам, еще и натуру, живую и тонкую. Она мнила себя — и небеспочвенно! — артисткой от рождения. Внешние манеры, способы изъясняться с друзьями и знакомыми у нее, и верно, шли от игры. Когда-то она пыталась пробиться, надеясь только на себя, в театральный вуз, не получилось.

Митюшов и Тонька встретились в затемненном институтском коридоре, и он ей сказал: «Я старался, и напрасно».

А Тонька не старалась — не копала землю, все лето пробыла в городе. Намеревалась уехать на родину, к отцу с матерью, в Вязники, но не могла попасть на поезд. Не могла, да и, сказать правду, не очень стремилась. Она всегда помнила Юру Жаворонкова, давно отбывшего на фронт.

Летом Митюшов, изнуренный работой, изредка показывался там, где учился и жил, рассказывал, что делает, протягивал Тоньке, как верное доказательство, загрубелые руки. Она дула на них, гладила своими мягкими ручками, сочувствовала:

— Бедняжка, Витек!

И вот он вернулся совсем — рыть ему больше не придется. Институтские кабинеты пусты, жилые комна-

ты холодны и неуютны. Голодно — ни хлеба, ни крупы, ни сахара. А теперь еще и не выехать: город в кольце.

— Не пропадать же нам, Витя! — взмолилась Тонька.

— Есть нечего, но скоро-скоро все опять будет, — уверил Митюшов.

Их товарищи попали кто куда. Иные приходили на малое время прямо с фронта, с заостренными лицами, скупались на рассказы, чтобы не растревожить себя еще пуще. Всем было известно, что нашими оставлена Луга.

У Митюшова одно спрашивали:

— Ты все еще здесь, почему?

— Ушел бы, да жду и надеюсь, — туманно отвечал он.

Ему верилось, что через неделю-две вернется прежняя жизнь. Придет он на кафедру к Михаилу Михайловичу Верескову, и тот ободрит:

— Итак, продолжим, Митюшов. Таких, как ты, полагается хранить и беречь во всякое время, а вот в такое особенно. Не берусь обещать твердо, но, кажется, я тебе помогу.

До равенства с Вересковым Митюшову далеко, но все же он успел прослыть способным. Разве этого мало, когда тебе всего лишь двадцать?

Теперь Митюшов вправе зайти к Верескову и сказать:

— Если вы, Михаил Михайлович, все еще не разувались во мне, я готов работать, да, я готов!

Но сразу не зашел — не пустила стеснительность. Зашел лишь на третий день по прибытии. Вернее, не зашел, а встретил Верескова в том же коридоре. Он не повел Митюшова к себе, как прежде много раз, а они коротко переговорили здесь же. Вересков был холоден и сух. Видать, и сам жил кое-как — донельзя исхудал, борода больше побелела.

Когда вышли на улицу, ветер тотчас пробрал Митюшова до дрожи.

— Не учусь, и не знаю, что дальше, — пробормотал он.

— Вот именно, что дальше, что дальше? — только повторил Вересков, уходя.

У Митюшова еще долго звучало в ушах: что дальше?..

Тонька вернулась в сумерки, утомленная, с туго набитой капустными листьями сумкой. Не переводя дух после долгой пешей дороги, она вытаскивала листья на пол. Были тут и съедобные в сыром виде кочерыжки.

— Хрумкай, Витя, сладко,— похвалила Тонька, принимаясь первая.

Митюшову вспомнилось другое время, тоже голодное. Мать приходила с поля с двумя-тремя картошкинами или с пучком свекольных листьев, варила и парила:

— С голоду не помрем, никак не помрем!

Сойдя вниз по лестнице, Митюшов у подъезда наготовил дров, и Тонька взялась на общей плите готовить еду. Ему было хорошо, что она старается ради него. Он всегда помнил, что Тонька дружила со своим однокурником Юркой Жаворонковым. Теперь же она о нем почему-то ни слова.

— Не видно Жаворонкова. Куда делся?— неожиданно напомнил Митюшов, наблюдая, как зеленая пена выбивается поверх кастрюли.

— В военкомат его никто не гнал, ушел сам,— сказала Тонька.— Я упрашивала, чтобы отсрочил хотя бы на денек. Жалела. Мог же и ты уйти, но не ушел.

— Забыла, я ведь был за городом.

— А в один день уходило двадцать пять ребят и три девчонки,— сообщила Тонька.— Собралась и я, но что-то помешало. Мне всегда что-нибудь мешает.

— Ты их проводила, конечно?

— Да. Провожатых было немного. Поезд отправили на Лугу. Все они где-то там.

— Ты уверена? Вот чудачка, будто ничего не видишь и не слышишь,— попрекнул Митюшов.— Луга ж давно...

— Не вижу и не слышу, да?— круто перебила Тонька.— Чтоб я поверила, будто Юрки нет?!

Так Митюшов лишний раз убедился, что она помнит Жаворонкова, и будет помнить.

Варево наконец упрело, и они взялись хлебать прямо из кастрюли. Ши не щи, горячая подсоленная вода вприкуску с жестковатыми листьями.

Трамвай легко скатился с горы, выскочил на Муринскую улицу, долго плутал и выполз в конце концов на угол Невского и Литейного. Здесь будто споткнулся, клюнул носом и, вздохнув, замер. Пассажиры—несколько женщин в рабочих фуфайках и двое военных—выпрыгнули на мостовую, как по команде уставились на трамвайную дугу. Из побитого при бомбежке окна высунулась вагоновожатая, пояснила:

— Не пойдет, току нет и, наверно, долго не будет. Отдохни, лошадка!

Митюшова влекло на Невский. Тут потревожней, чем в Лесном, часто бомбили, зато в соседстве с кинотеатром в полуподвале располагалась столовка. Можно чаю попить с морковной заваркой, даже поесть немного—иногда продавали без карточек пшеничную кашу, гороховый суп, вареную рыбешку. Словил лишнюю ложку еды, и удача!

Он звал Тоньку, но она страшилась. И его она отговаривала, умоляла даже: зачем лишний раз себя подставлять? Он понимал, что в какой-то выезд может и не вернуться, но нельзя угадать, где подкараулит беда.

На этот раз столовка оказалась на ремонте. Он прошел Невским от Литейного до Фонтанки. Было тихо. Ни единого автобуса, лишь изредка проскальзывали легковые. Пешеходы попадались нечасто—Митюшов мог каждого разглядеть. Вчера набирали людей в оружейную мастерскую, но его забраковали: какая от него польза?

Работая, получал бы четверть килограмма хлеба на день и поддерживал себя малость. Не работаешь—возьми сто пятьдесят граммов. Замкнутый круг. На ногах день ото дня все заметней голодные отеки. Ладно, подкармливает чуток Тонька: то капуста притащит с поля от Озерков, то малость хлебных корок, то хлопковой дуранды от зенитчиков, расположившихся со своими орудиями в парке. Из дуранды на заводе умудрились выжать все. От шелухи никакой сытости, лишь напоялся желудок.

На Литейном ни машин, ни людей. Свежий нетронутый снег лежал всюду. Пешеходная тропа, как по полю. Еще вчера Митюшов на ходу подымал ноги, двигался, если не легко, то и не прилагая больших усилий.

Редко останавливался отдохнуть. Теперь же ноги волочились как чужие.

Смеркалось. Нигде ни огонька, ни летящей искорки. Митюшову представилось: вот идешь, идешь, и свалишься замертво, как другие. Впереди из чугунных ворот выскользнули санки. Их тащил за веревку солдат, на вид не силач. На санках громыхал привязанный солдатским ремнем бак. На берегу служивый остановился, выжидательно поглядел на Митюшова, глотая студеной воздух посинелыми губами.

— Довезешь?— спросил Митюшов.

— Зачем и выезжать, если не довезти?— отозвался солдат.

Санки самостоятельно покатались по крутому спуску на лед.

На мосту мело. Неостановимо гудели обесточенные провода. По невскому льду люди везли и несли воду. Митюшов не добывал воды—Тонька натаивала из снега.

На середине моста маленький белобородый старичок обессиленно держался руками за перила. Митюшов и сам еле тащился, но все же подхватил старика под руку. Побрели вместе.

— Чую, не дойти,—затрудненно прошептал старик.— А ты шел бы да шел своей дорогой.

Мост они миновали-таки. Когда белая подо льдом река осталась позади, ветер утих, небо будто смилось, перестало кидаться снегом. Старик малость ожил.

— Дочка вторую неделю лежит, совсем ослабла. Я вот хлебца ей несу, взял по карточке.

Едва Митюшов расстался с ним подле его дома, как неподалеку, у Финляндского вокзала, стали рваться снаряды.

А люди шли и шли, не остерегаясь, будто им все равно: жить или умереть.

4

Тоньку он застал в слезах:

— Только бы сестренке Лизе—ты ее не раз видел—уехать к отцу с матерью, а тут обстрел. Она погибла. Горюшко-то!

Как Митюшов ее утешит? Только общими словами, но ведь горе у каждого свое.

— И все я, я виновата,— отчаивалась Тонька.— Уехать она пыталась еще летом, я уговорила остаться: я осталась, останься и ты, вдвоем нам будет легче.

— Но ты ж хотела ей добра.

Когда Тонька чуть-чуть успокоилась и затихла, Митюшов заметил на подоконнике повестку. Ему предписывалось завтра к десяти прибыть в военкомат, имея при себе ложку, кружку, полотенце.

— Да-да, ты уходишь,— спохватилась Тонька.— Как же я останусь одна, совершенно одна? Я с тобой. Разве нельзя?

Он не знал, можно ли и ей.

— Проводить?

— Почему только проводить?— отозвалась она.

Митюшов стал готовиться. Имущества у него, считай, не было. Смена ношеного белья, фотографии, исписанные на лекциях тетрадки, пустой кошелек. Тонька права, каково ей будет в одиночестве?

Глава четвертая

1

Минувшее лето представлялось Юрию Жаворонкову далеким-далеким. Он и вправду угадал первым делом под Лугу, как правда и то, что его и других ребят из института, провожала на вокзал Тонька. Был тогда Жаворонков рядовым, но кое-что нужное для войны усвоил в институте, а командиром роты был лейтенант Кириллов, крестьянский сын, как он себя именовал. И рота вся как один была по образу и подобию своего командира — коренные земледельцы. Именно потому, что Жаворонков происхождением был тоже сельский, он быстро со всеми сошелся. За считанные дни, пока отбивались от наседавшего противника, рота потеряла больше половины людского состава. Положило в контратаке ротного Кириллова, не стало ни одного взводного. Жаворонков чудом уцелел и, выйдя к своим, получил назначение:

— Взвод примешь. С тобой во взводе пятеро. Это на данный момент сила. Командуй!

В пору скитаний и полной неясности — постоянно на

волоске от смерти — он и Тоньку Воробьеву почти забыл: туманилась память.

Пополненная новобранцами дивизия под нажимом еще раз отошла с боями, оказавшись в предместье большого города — на реке Ижоре. Тут в те дни отчаянно бился батальон, сплошь составленный из вчерашних рабочих. На отступивших бесславно солдат ополченцы поглядывали косо: то ж по вашей милости мы вынуждены были погасить заводские печи и наглухо забить ворота. А что же дальше?

Прямых упреков Жаворонков не слышал, да и никто не слышал, но трудно ли было догадаться, чем дышат и что думают ижорцы? Они, наверное, и не знали, что рота Жаворонкова за малый срок трижды обновлялась. Ижорцы одно видели: отступили, не сдержали.

В роте сорок девять душ. А если считать иначе — только тех, кто способен действовать во всю силу, — наберется не более двух десятков. На пополнение теперь идут одни городские, отошавшие за голодное время — ветром шатает, пригнуться под пулями трудов стоит.

Вот они — идут и идут. Скрипит снег под ногами. Оружие — винтовки, пара гранат-лимонок на ремне. Патронов в обрез. Сперва миновали заваленную снегом улицу.

Жаворонков не выпускал из глаз Ваньку — тот или впереди или сзади.

За крайними опустевшими домами равнина с воронками от бомб и снарядов, с траншеями и ходами сообщений. Посреди равнины — ров с замерзшим дном, со скользкими обледеделыми скатами, с землянками по всей километровой длине. Куда ни плюхнись снаряд, угодит в живое место. И по другую сторону рва такая же равнина. Сколько полегло тут народу...

Рота рассредоточилась на голом месте. Двигались поодиночке, одни открыто, в полный рост, как бы пренебрегая опасностью, другие ходами сообщений, хранимые землей. Оберегавший себя Николай Якимов напомнил Сергею, шедшему без предохранения:

— Сюда ныряй, будто не видишь, огненные мухи так и шьют, так и шьют.

Достаточно повидал таких мух Сергей, как, впрочем, и Николай тоже. Но в любом деле Николай ловчей. Уж сразу по прибытии в роту он не прошляпил: произвели его в повара — вместо убитого. Сумел себя предста-

вить, хотя ничего, кроме картошки в мундире — печеной в золе или сваренной в чугушке, — готовить ему не приходилось. Старшине при своем определении доложил, что не только варить да жарить, но и стряпать всякую всячину — от овсяных блинов до творожных ватрушек — ему доводилось несчетно раз. Блокадную же кашу и мучной суп сварганить нет никакой хитрости.

Сергея он упросил под секретом и за последующую услугу подтвердить его, Николая, поварские заслуги, что земляк и сделал: отвечать за дело своих рук все равно Николаю.

Споткнулся тот на первой же варке: суп вышел вовсе не суп, а посоленная теплая вода, которую не только хлебать ложкой, но и пить даже по великой нужде никто не решится.

Жаворонков так разгневался, что распорядился немедленно отправить самозванца в передовой окоп:

— Пусть за обледенелый бруствер, как все наши, ляжет, а к котлу другого.

Николай не смел оправдываться и просить снисхождения. Выручил старшина, с чьей легкой руки Якимов оказался в поварах:

— То ж он на жидком погорел, товарищ лейтенант, пускай попробует кашу сварить спустя рукава, пускай только попробует!

Но и со вторым блюдом вышел не меньший конфуз — при варке получилась не каша, а крутая каша. Каждый получил буквально две ложки — попробуй терпи до ужина!

Обошлось хотя и без наказания, но поварские обязанности Николай с себя сложил.

2

Самое бы время думать о прожитом, упрекать себя — кого-то обидел словом и делом, кому-то не помог в беде. Всего хватало у Сергея.

Шедший впереди Николай будто прочитал чужие мысли, повернулся к Сергею, посетовал:

— Плохо, если сойдем в землю грешниками.

— Нагрешил, что ли, много?

— Живешь, так и грешишь.

— Примут и грешника, — сказал Сергей.

— Принимать-то там всех принимают, только од-

них как жданных, с почестями, а других поневоле — иного места для мертвых все равно нет.

Хотя до смерти рукой подать, но думать Сергею о ней не хотелось. В уме складывалось письмо домой. Написать пока невозможно, так хоть в уме.

— Глянь, Коля, идет ли Алешка?

— Ишь, забота проняла!—воскликнул Николай, угадывая в хвосте Алешку — тот как тащился, так и тащится.

Своя будущая жизнь рисовалась Сергею вразрез с теперешней. Он никогда не строил и не хотел строить свое счастье на несчастье других. Уцелеют оба — он и Алешка, — придется опять жить в одной деревне. Уживутся ли?

По дну рва пошли в полный рост: пули летели поверху, орудия молчали.

Из накрытой плащпалатками ямы показался связанной с винтовкой, задержал Жаворонкова:

— К комбату приказано, товарищ лейтенант!

Ротный отпахнул плащпалатку и исчез.

Сергей сел прямо на снег — устал. С поля напольз пахнувший горелым шинельным сукном дым. В пяти шагах застрял танк с развороченной снарядом гусеницей. Из-под железа доносился сдавленный стон.

— В западне очутился, друг?—сочувственно окликнул Сергей, приблизясь.

— Заклинило, и мне перепало, — слышалось из железного гроба. — Выручили бы, хорошие люди.

А как выручишь, если и у самого от холода не гнутся руки, ноги плохо держат? Сергей все же нашел силы, позвал своих:

— Сюда, Коля! И Алешку веди!

Забрались втроем наверх. Давай бить чем попало по крышке. И удары не ахти какой силы, и били наобум, не зная, в нужную ли точку. Железо сопротивлялось. Так и бросили бы, но помнили — заживо погребен человек. Дышали как загнанные, а били, били. Гремел металл...

Ротный Жаворонков вылез от комбата, как ошпаренный, схватив нагоняй: на местах пора быть, а рота плетется еле-еле. Располагай своих, Жаворонков!

— Первый взвод в гнезда, поверх рва, второй левее, третий направо!

Танковый люк наконец-то приподнялся. Ожил раненый водитель:

— Спасибо, братцы, кровью бы изошел, замерз бы. Кого добром поминать?

— Троих из Верховья.

— Псковские?

— Нет, вологодские.

Не без опаски глядел Сергей на белую гору, на темную грядку старого царского парка, как глядел туда же вчера и, если не будет убит или ранен, станет глядеть завтра. Только рядом сейчас не Николай, а Алешка. «Сводит и сводит нас, а если разведет, то навек».

При некоторой привычке к фронтовому житью можно и о себе подумать. Вчера не до этого было, позавчера и подавно, ныне как раз. Придется бежать из последних сил. Раньше фрица атаквали другие, а рота Жаворонкова лишь поддерживала огнем. А ныне и ей идти. Плыли и плыли огни над белой местностью. В ожидании команды Сергей следил за ними. За спиной притаенно жил ров — глухие голоса неслись оттуда.

Рядом прополз ротный Жаворонков, на ходу возвысил Алешку:

— Отделение поведешь, Кириков, когда потребуется.

Итак, Алешка чем-то по нраву пришелся ротному. Пожалуй, грамотностью и рассудительностью. Так или этак, а все равно кого-то надо: прежний отделенный, Тимофей Выборнов, выбыл — поранило его сильно по дороге сюда, утащили на носилках в санчасть.

А что если немцы опередят — попрут на нас первыми? Такая мысль оказалась столь навязчивой, что Сергею пришлось поделиться ею с Николаем:

— Как думаешь, не обхитрят нас?

— Не должны, Серега. Откуда им узнать, что мы пойдем?

— Хм, откуда... Будто мы первые идем. Каждое утро наши выходят, вот и догадаются.

Неподалеку подал голос пулемет.

Оставив своих лежать на холодном снегу, Жаворонков скатился в ров и вторично вполз в убежище комба-

та Проланова. Пламя свечи качалось, готовое погаснуть от холодного воздуха. На сидящем комбате и шуба, как следует быть, и шапка белая, и валенки теплы и удобны. Жаворонков мог лишь позавидовать. Теплое обмундирование ему на исходе осени как-то не попало — он так и носил осеннее, поддев под широкую, не по телосложению, шинель солдатскую куртку. На ногах, правда, валенки, но тепла от них немного — ноше-ны-переношены.

Комбат скупно кивнул, чтобы ротный садился на земляную скамью, накрытую солдатской шинелью.

— Учился, говоришь, лейтенант, долго?

— Пришлось, товарищ капитан, — ответил Жаворонков. — Но военному делу лишь постольку-поскольку.

— Ну, а я и вовсе неученый. Шофер, на грузовике гонял. В центр города не пускали, так приходилось во-круг да около. И воевать ушли вместе в один день.

— С кем?

— С грузовиком. Разбило его под Лугой. Жалко, хорошая была машина.

— Ах, под Лугой, — вроде опаматовался Жаворонков, ощущая, как холод вяжет губы.

— Машины сколько недель нет, а я все еще живой, это же какое-то чудо!

— Так ведь и я из-под Луги, и тоже пока живой, — с горькой иронией проговорил Жаворонков.

— Повезло, а может, и не повезло. Вперед загады-вать не будем. А вот позади...

Однако что там, позади, капитан Проланов выкла-дывать не стал — если Жаворонков тоже из-под Луги, стало быть, повидал не меньше, одно ясно, оба они, можно сказать, судьбою и богом хранимые.

Своего шоферского происхождения комбат не скры-вал, напротив, перед такими, как Жаворонков, шибко учеными и молодыми, не прочь был погордиться. Иног-да пылал гневом без меры. Так, когда малое время то-му назад Жаворонков привел роту, капитан грозился:

— За это в расход бы вас, расхлябанных! Как мож-но с вами боевые дела делать?

Да, рота у Жаворонкова разношерстная, мала чис-лом, никак не сбита. И времени нет сбивать.

Теперь комбат глядел на Жаворонкова почти дру-жески.

— Со мной сорок восемь, один не дошел,— доложил Жаворонков.

— В роте сорок восемь, во всем батальоне девяносто девять,— отозвался капитан невесело.— Считая всех: меня, командиров рот, взводов и отделений. Какой же это батальон, чуешь?

— В минувшие сутки пополнения не было,— посетовал Жаворонков.

— Зачем мальчишку подобрал?

— Один остался, погиб бы.

— Ишь ты какой!— усмехнулся комбат.— Там бы погиб, а у тебя уцелеет. Концы с концами не связываешь, лейтенант. Пока от Луги шли, можно было из таких мальчишек целый батальон составить. У меня дома сынок, Шурка, двенадцати лет. Как бы я его в бой сунул? Непозволительно, безжалостно! Нет, Жаворонков, побереги мальчишку, не гони в пекло, ни в коем разе. Надо думать, утром пополнят роту.

Утром... А перед рассветом атака. Кому придется принимать пополнение? Все тому же Жаворонкову. Для этого немного надо — остаться живым после боя.

Глава пятая

1

С приходом холодов фронт будто заledenел — ни с места, хотя огонь стлался с упрямым ожесточением, сжигая все, что можно, плавя бетон и кирпич, испаряя снег и лед. Люди же, закопавшись в промерзлую землю, выживали, и едва огонь на малое время умирался, выходили драться с противником в ближнем бою.

Подвигаясь ближе к передовой, Виталий Митюшов не знал, что совсем неподалеку, именно там, где он осенью копал ров, находится никто иной, как Юрий Жаворонков, с которым они вместе два года учились.

Маршевую роту, составленную из полутора сот бойцов, сопровождал до места лейтенант, успевший поднатореть в маршевом деле. На ходу он заученно подбадривал:

— А ну, головы не вешать и не кручиниться сильно-то! Придем, первым делом кормежка, и только потом бои. Так что жить еще, други, можно. Выше голову!

И всю долгую дорогу он держал себя бодро.

Не было и малого подвоза — только все шли. И на какой подвоз надежда? Даже и следов машинных на снегу нет. В колонне пока никаких потерь. Только двое, обессилев вовсе, отстали.

В селе Рыбацком неодолимо повлекло отдышаться и погреться.

На ходу роняли:

— Хотя бы минуту теплом подышать.

— Заодно и ноги расслабить мало-мало.

В прежних переходах лейтенант-службист привала в Рыбацком ни под каким предлогом не позволял, напротив, как раз тут и слышалась самая строгая его команда:

— Никаких! Разве не чувствуете, куда торопимся? Живо рукой туда!

Шли через силу, ни единым словом не выразив неодобрения командирской твердости.

Однако на этот раз свершилось чудо: лейтенант позволил малую остановку. Озарив свои наручные часы сигаркой, он засек время. Десять минут, ни больше ни меньше. Колонна мигом распалась.

Митюшов с ходу, без выбора, попал в избу, чем-то внутри похожую на ту, в какой он жил давно-давно с отцом с матерью. Тускло и красно светила керосиновая лампа, за столом сидела старуха — точь-в-точь его бабушка Степанида. И было уютно и тепло, будто и нет войны, разрухи, холода. Забывшись, Митюшов замахнулся расстегнуть куртку, но сразу же спохватился, вспомнил про командирские десять минут.

— Здорово, бабушка!

— Здорово, милый. Ты так похож с лица на моего внука Серафима! Он тоже по-военному одетый, ко мне заходил недельки три назад. Тоже, как все, отправился в сторону Ижоры. И с той поры ни словечка от него. Господи праведный, не убили бы! Только им и дышу.

Зашедшая за Митюшовым следом Тонька — белым инеем облита куртка на ней — прошептала:

— Думаю, куда делся? Рядом был, и уже нет. Позвал бы...

— Могли не впустить, а впустили, — оправдался он.

Сели рядом на пол, и Митюшов посчитал себя на короткие минуты удачливым: он не один, с ним Тонька. Что ей Жаворонков? Думалось Митюшову о самом житейском. Попить бы не чаю — откуда чай? — а хотя бы

крутого кипятку без заварки, но с кусочком сахара. Пожевать бы хлеба. Это бы чуть-чуть восстановило силы, облегчило ноги — отяжелели, будто к ним привешены камни.

Хозяйка вытащила на шесток ухватом чугунок с теплой водой.

— Другого ничего нет.

Тонька не стала, а Митюшов погрелся.

За окошком слышалось:

— Строиться, живей!

— Бояться нечего, без нас с тобой не уйдут, — сказала Тонька.

Они побыли лишнюю минуту — тепло не отпускало. Вот бы полчасика!

Но вбежал лейтенант:

— Родственники нашлись?

— Время породнило, — подала голос старуха.

Лейтенант налил себе кружку воды из чугунка, выпил залпом:

— Пошли!

2

Под утро темней было, чем глухой ночью. Был еще тот ранний час, когда — по прошлому мирному времени — спать бы да спать. Однако в домах по соседству с передовой, давно необитаемых и полуразрушенных, замечалось движение, вроде сами по себе, без жильцов, ожили стены и перекрытия. Но то был всего лишь обман. Ожила передовая — завязался предрассветный бой, да такой обширный и жаркий, что в домах осыпалась штукатурка, звенели остатки стекол, стонали связи.

А по пустынной улице лошадь по имени Побежка тащила телегу с горою ящиков. Еще недавно та же самая Побежка тащила коробка с хлебом или мешки с крупой от одного магазина к другому — что ни дальше, становилось ей легче. И самой лошади перепало — то корка хлеба, то горсть овсяной крупы. Теперь ничего — хлеба и крупы и самим людям мало. Но воз Побежку все равно принуждают тащить. А тащить день ото дня становилось все тяжелей, спирало дух, темнело в глазах. Возможно, переменные возчики забывали смазать колеса или потому, что ее совсем скудно кормили, только

Побежка прекращала свой ход не там, где полагалось. Усматривали в этом волюнку. С каких-то пор ее даже и по имени не окликали.

— Да ты что, тварюга несчастная, человека под удар ставишь? Разве не понимаешь, что вражина как раз сюда шпарит едва ли не прямой наводкой? Бегом!

Это голодная-то — бегом! Как же она побежит, если и ходит через великую силу? Виделось ей, в дреме, свое хорошее прошлое. Тянула она, в далекой молодости, плуг. Пахарь Сергей шагал сзади. Никогда не бил, лишь бессловесно трогал вожжами. Про нее говорили люди:

— Наша Побежка ныне опять поработала на совесть, надо ей погуще да поболее пошла вынести.

И не обманывали — выносили.

Теперь на нее только орут и гонят работать. Надоест ездить, заводят, не в теплую конюшню, как раньше, а под щелеватый навес, где со всех сторон дует. Ветер приносит дух невской воды. Повернет оттуда, куда ей приходится возить снаряды, и запахнет человеческой кровью, едким дымом. У Побежки мутится голова. Ночами грохот усиливается, и ей кажется, пришел конец. Взвизг бы в испуге, как в молодости, пожаловаться. Но напрасно — никого нет поблизости.

Едва темнело, а темнело рано, приходили запрягать. Побежка через силу волокла телегу с тяжелыми, наглухо забитыми ящиками, в которых неизвестно что и лежало. Она лишь догадывалась, что еды нет. Если бы еда, дали бы хоть крошек.

На этот раз погнали по свежему снегу ближе к передовой, а не к складам. Все ярче огни, все ближе удары. Она боязливо всхрапывала: даже в голоде и опасностях ей хотелось еще пожить. Сидевший на телеге солдат оставался спокоен, клевал носом.

Спустились в малоснежный неглубокий овраг. Ветра не было. Побежку остановили вожжами. На телегу клали раненых в ночном бою. Она слышала стоны. Ее взяли под уздцы, повели тем же оврагом назад. Колеса натыкались на камни. Когда выбрались на ровное место, идти стало легче. Возле каменной стены последовала остановка. Появились люди с носилками. Вдруг ее назвали:

— То ж никак Побежка!

Знакомый ослабленный голос с носилок напомнил

ей давно минувшее — луговые травы, деревню среди полей. Напомнил пруд, откуда она, в ту пору резвая кобылка, пила. Увидела она себя в просторном, пахнущем сеном дворе.

И вот потому, что она была первой лошадей среди десятков молодых лошадей, председатель колхоза Серафим Браткин показал ее, чтобы выхвалиться, приезжему армейскому командиру. Тот, большерукий, тяжелый, взнуздал Побезку и повел на луга. Ловко вскочив, стегнул ремнем, да еще ударил в бока ногами. Побезка взвилась от обиды и пронзительной боли.

— А-а, да ты недотрога! — вскричал наездник, яростно гоня.

Она капризничала, то неслась птицею, то останавливалась как вкопанная, намереваясь сбросить седока. Но он повидал всяких лошадей. Побезка лишилась сил, плохо видела. Пена хлопьями стекала с губ, а наездник не унимался. Наконец-то возле конного двора он соскочил на землю, удовлетворенно сказал Браткину:

— Берем!

— Всегда рады помочь воинству, — с готовностью ответил Браткин.

Но тут из проулка вывернулся тот, кто ее кормил и чьего прихода она всегда ждала.

— А если я не отдам?

Такой оборот командира озадачил.

— Кобылка разве твоя собственная?

— Не моя, а не дам!

Сергей Пашалов имел на Побезку некое право: происхождением она была с пашаловского двора.

Своего слова председатель не нарушил: послал Сергея на целую неделю на лесозаготовки, а тем временем лошадь на станцию — и в вагон. Скакал на ней до отправки Николай Якимов и злорадствовал:

— Послужишь, неженка. Побаловал тут тебя Серега, ой, побаловал!

Теперь, после долгой разлуки, Побезка, вспомнив былое, вздохнула. А его, искалеченного минувшей ночью, понесли в каменное помещение на перевязку.

Ездивший на Побезке солдат вроде ничего и не заметил, повернул лошадь обратно — за новой партией раненых.

После Рыбацкого колонна больше не застревала ни на минуту — негде было. И все равно на неразличимый по зиме берег Ижоры попали лишь под утро. Лейтенанту-сопроводителю этого и хотелось: успеть к рассвету.

Куда вести, он знал — к пустующей школе. Она хоть и стояла, где всегда, но сохранилось лишь подобие ее — стены сверху донизу в провалах. Неповрежденным остался только нижний этаж: мерзнуть новоприбывшим предстоит не под холодными звездами, а под крышей.

Сбоку двигающейся колонны появилась лошадь Побежка, тащившаяся с ночной работы перевести дух под навесом.

— Гляди, еле ноги переставляет, — сказал Митюшов своему долговязому соседу. — Ей нас не перегнать, как и нам ее тоже.

Сосед на лошадь не поглядел. Зато другой, из-за спины Митюшова, отозвался с горькою шуткой:

— В огне не только люди, но и лошади живут. Терпимо, так надо понимать!

Не соблюдая черед, толкаясь, повалили в коридор в надежде хоть малость согреться. Но было тут ничуть не теплее, чем на улице. От дверей не сохранилось даже петель. Горы битого кирпича завалили проходы.

— Куда, видать, наш брат ни попади, везде холодушка. Вся земля, считай, голодная и промерзлая.

— Не забудь, Африка есть, Сахара.

— А ты там был?

Никто не ждал, что в боевых ротах будет потеплей, а житуха поудобней, но все ждали определенности, такой, к примеру, как у только что прошедшей лошади. У нее своя работа, свой хозяин, свое место для стоянки. У солдата, только-только появившегося на линии, пока ничего нет. Из госпиталя или из дому он убыл, а в часть еще не поступил.

Ощутили некую волю. Запалили школьные бумаги. Взвился до потолка огонь, видный снаружи. Будто не передовая рядом, за пустым дверным проемом, а мирное поле.

— Ударят оттуда прицельно.

— Пускай, лишь бы погреться.

Тепло дороже еды. К огню тянулись, подставляли бока. Подпаливались брови. Вокруг огня приплясывали. Развязывались языки.

— Распалишь, бывало, на опушке. Дров-то даровых! Напихаешь картошки в золу. Сидишь, подремываешь сладко, слюнки пускаешь. Очнешься, а картошки как и не бывало, сгорела. Сытость-то что с нами вытворяет!

Вздохи:

— У нас бы вот тут не сгорела и не подожглась. Мы бы и недопеченную на зубы, у нас бы за конфетку сошла...

— А что, ребята, ведь нас сперва покормят в ротах-взводах иль сразу на поле боя, чтоб зря на нашего брата, обреченного, не тратиться?

— Вон как тебя заранее ухлопало! Обреченные, уй, могильная твоя душа!

— Покормить должны-обязаны, по наркомовской норме. А нарком есть, он живой!

Митюшову, как всем, было адски холодно. А еще он помнил: так же холодно и Тоньке. В коридоре ей не стоялось. Чтобы не окоченеть вовсе, она бродила, и Митюшов бродил, хотя с похода ноги гудели, плохо слушались.

Ночь медленно таяла, на небе и на снегу проступала утренняя синь. Холодней стало. Ракеты не светили, лишь продолжительно шипели, остывая на морозе. Лейтенант пронесся коридором, запинаясь, заорал напуганно:

— Эко, что удумали, будто домой явились!

Сам взялся растаптывать огонь. Погрелись, хватит!

Двигаясь, Митюшов наткнулся на бетонную лестницу, уводившую в подвал. Оттуда, из подземелья, притягательно пахло дровяным дымом и жилым теплом. Сойдя, нащупал дверь, отворил толчком.

— Кого бог дал?— донесся из сумрака настороженный женский голос.

— Разреши погреться, хозяйка.

В мерклом свете керосиновой лампадки проступили жилыцы. Женщина неопределенных лет, девочка-ребенок и мальчишка лет шести-семи. На полу, на досках, общая постель, самая простая—два матраца, носильная потрепанная одежда. Митюшов позвал Тоньку обогреться.

— Никуда мы не успели,—едва не плача, пожало-

валась хозяйка.— Все уехали и ушли, а мне одной куда с малыши? И мужик, Богдан, на войне, в неизвестности. Сгинем без хлеба. Смертушка наша.

Она сдавленно заплакала. Мальчишка кинулся к ней утешать:

— Рассветает, хлебца пойду искать.

Митюшов сел к двери на пол, усадил рядом Тоньку. Она тотчас забылась, склонив на его колени голову. Забылся и Митюшов. Потерялись у него из глаз и женщины, и ее малолетние дети — все потерялось.

2

Они и сами не знали, сколько пробыли в тепле спящими. Когда, очнувшись, поднялись в коридор, мало кого застали: пришедшие командиры развели новеньких по ротам. Разбили не как попало, а расчетливо — в пулеметчики, в связисты, в дивизионную разведку. При каждодневных потерях везде нехватка. Чтобы никого не обделить, пулеметчикам тридцать, минометчикам двадцать четыре, в разведку сорок, всех больше — так и должно быть — в стрелковые роты.

Лейтенант-разведчик, со свежим косым рубцом через всю скулу, недобрал нужного числа, вертелся вьюном. Подскочив к Митюшову, давай нахваливать:

— Служба наша — во, боевая из боевых. У нас порядки на большой, у нас обмундировка первая, у нас курево и все прочее. Идешь?

Но, оглядев с ног до головы Тоньку, стоявшую рядом с Митюшовым, сбавил тон:

— Одна такая расхорошая у нас уже есть. Две ни к чему.

Митюшов и Тонька не попали ни в пулеметчики, ни в связисты, ни в разведчики, а взяли их в стрелки.

Глава седьмая

1

Довольный тем, что комбат Проланов зла не помнит, Жаворонков прополз под неприцельным пулеметным огнем к своей роте. Ему было тревожно, как тревожно стало постоянно с того дня, как началась война. Куда повезли, он не знал. И ни один не знал во всей

команде. Жаворонкову еще не приходилось согревать окопы своим телом, а кое-кому из ехавших с ним приходилось, но они молчали, о войне не говорили. О возможной гибели ни слова, точно как жили до сих пор, так и будут бесконечно жить, хотя каждый знал, под пули едут. В те дни Жаворонков еще ясно помнил Тоньку Воробьеву.

До места назначения не довезли. Застрыл эшелон среди леса. И сразу — на выход.

Тогда Жаворонков был еще в силе, не изнуренный, бежал долго вместе с другими, не зная куда.

Внезапно возникла, будто из ничего, пальба. Стрелял из винтовки Жаворонков, угадывал, и в него стреляли. Еще не вполне сознавая, что происходит, он перебегал с места на место, прятался за деревья, пока не очутился один в лесу. Стрельбы как не бывало. Здесь-то и стало ему страшно. Почему он один? Поташился куда глаза глядят. Шел час, полтора. Страх не исчезал. Набрел на зенитчиков, оберегавших железнодорожный мост через реку. Они накормили, дали закурить, показали дорогу.

К Жаворонкову, лежащему в развороченной снарядом яме, подполз Ванька. Он как ни в чем не бывало грыз сухарь вприкуску со снегом.

— Только бы не так тихо и мертво! — обеспокоенно сказал Николай Якимов, находившийся в соседстве с Жаворонковым. — Жутко делается, даже в ушах гудит.

Жуть от фронтовой тишины брала не раз и самого Жаворонкова. Глухая тишина перед смертельной схваткой. Вот-вот разверзнется земля и небо, и некуда деться, как только устремиться вперед, туда, откуда бьют и бьют.

Хуже нет, когда вот так лежишь, а когда поднялся и, не помня себя, выкрикнул «ур-ра-а», как выкрикнули и другие слева и справа, то с этого момента шалешь, ничего не видишь, только бежишь.

— Товарищ ротный, да что же будет-то?! — не выдержал Николай, до боли прижимая винтовочный приклад к плечу.

— Гляньте туда, гляньте! — изумился вдруг Ванька, протягивая вперед руку.

— Что там?

— Уходит, сдается, гад!

Двое — Жаворонков и Николай — поначалу ничего не увидели. Бело всюду, только и всего. Но, присмотревшись, различили, как по белому полю будто ветром переносилась с места на место фигура. То склонялась к земле, то поднималась во весь рост.

— Якимов и Кириков, наперерез и сюда его! — приказал Жаворонков.

Дрожа телом — не понять, от холода или от опасности, — Николай пошел, пригнувшись. Алешка следом.

Тот, на поле, припустил. «Не из голодных, видать!» — подумалось Николаю. Заподозренный в побеге вдруг замер, как бы поддразнивая.

— Руки! — выкрикнул Николай, настигая.

Алешка с Николаем залегли, положив задержанного посередине.

— Не туда правишь, поганец, назад правь, — со злостью проговорил Алешка.

— На месте пришибем, нисколько не жалко, — пригрозил Николай.

— Так или этак, смерть одна-единственная, и не все ли равно? — проямлил задержанный.

— Говори, куда и почему идешь? — спросил Алешка.

— Окоченел возле пулемета, на ходу греюсь. Ваше дело, верить или нет. А так-то я рабочий с Кировского.

— Неужто с того Кировского, ну, с путиловца? — изумился Николай.

Недавний путиловец ничуть не сопротивлялся, не просил пощады, ничего не придумывал в свое оправдание. Алешка и Николай повели его к себе в роту.

— Мы не судьи, — сказал Алексей, когда до рва оставалось рукой подать.

Пулеметный огонь настиг троих, едва они, соскользнув друг за дружкой, скрылись за земляным валом.

Звали его Арсением Двинцовым, был он перед мобилизацией и вправду рабочий. Работа ему досталась тяжелая — он кидал и смешивал лопатой землю в пыльном и жарком литейном пролете. Из земли другие рабочие делали формы, куда из ковшей заливался жид-

кий чугуун. Если форма рассыпалась до заливки, Арсения поругивали:

— Гляди, какую ты землю дал!

Он клялся уйти с земляной пыльной работы, но приковали деньги: на руки ему выдавали много, так много, что, куда ни уйди, заработок составил бы не больше половины теперешнего. На повседневную жизнь денег требовалось ему меньше того, что имел, и остаток от покупки одежды и еды он откладывал в виде чистогана пока без всякой цели.

Накопления бы не росли, привыкли Арсений к выпивкам, к хорошей еде, вообще, к жизни на широкую ногу. Однако он в большой город прибыл из владимирской деревни, семьей хотя и обзавелся, но состояла она всего лишь из него самого, супруги Клавдии и малолетнего сына Егорки, названного так по имени его деревенского дедушки.

— Денежки на улице не валяются,— наставлял Арсений жену, будто та была убеждена в обратном.

Наставление не им придумано — так говаривал ему отец: денежки, смотри, Арсений, на улице не валяются.

В то утро, когда началась война, он, вернувшись с ночной смены сумрачный, многое вспомнил и, между прочим, пожалел:

— Не истратил я ни рубля, а теперь истратил бы, да некуда.

— Лопнут денежки, не у тебя одного лопнут,— утешила Клавдия, которая тоже переживала, но не так сильно.

— У других-то, возможно, не трудом нажитое, ворованное. И ворованного жалко, да не так, как трудового.

Странно, конечно, что в такое время он не спросил первым делом, пришла или нет повестка.

Несколько дней он так и работал: заменить его было некому.

Но черед все же подошел.

Идя с ним под руку на сборный пункт, Клавдия со слезами уговаривала:

— Плюнь на деньги, Сеня, живой останешься, наживем.

— Тебе шутя говорить, Клавдя, ты не наживала, только тратила готовенькое. А я своим горбом наживал, и мне невыносимо больно.

Пребывая в растерянности, он и не заметил, как воз-

ле казарменных чугунных ворот расстался с женой. «Почему же я будто ее в это время и не помнил?» — понедоумевал он. Толкнули в спину:

— Проваливай, мешать входу нечего, там запишут, и дело с концом.

Его захватила и понесла, как щепку, людская река внутрь обширного казенного двора и вытолкнула не куда-нибудь, а прямым в строй. В одной шеренге стояло множество таких, как он. Арсений угадал в середину. Стояли пока необмундированные, во всем домашнем.

Бравый, с седоватыми висками командир — три шпалы в петлицах — чинно прохаживался перед строем и одно твердил:

— Враг у стен Кировского завода.

Толстый, со всхлипами дышащий сосед Арсения толкнул его рукой:

— Слышь, друг, у самого Кировского!

— А ты и не знал? — отозвался Арсений. — Я ж вчера своими глазами видел, орудия возле проходной к стрельбе приготовлены.

— Неужели?!

Командир призвал:

— Постоим же насмерть!

По строю прошелся неясный шум, затем единый вздох.

Со всеми вместе вздохнул сосед-толстяк, по виду никакой не рабочий, выдохнул и покосился на Арсения:

— Почему будто окаменел?

А он как-то пропустил нужный момент, со всеми не выдохнул, и потому не выдохнул, что вспомнил, Клавдия всегда хотела купить пальто с лисьим воротником. Было это и сразу, как расписались, и потом, когда родился Егорка. Арсений все обнадеживал:

— Возьмем, Клавдия, еще только деньжонок сколько-то подкопим, и возьмем!

Но втайне думал иначе. «Как бы не так, чтоб я раскошелился! Тятка разве справлял мамке дорогую одежду? Никогда! А тут Клавде вынь да положи дорогой воротник. Как бы не так!» Теперь-то бы она распахнулась, пошла тратиться, да поздно...

Когда Арсений обмундировывался во все солдатское, только и помнил, чтобы не оставить в кармане домашнего пиджака, подлежащего сдаче, три сотни, взятые с собою, на всякий случай.

Арсений лежал в казарме на верхнем ярусе нар вместе с другими, готовыми на выход. Рассуждали, куда поведут. Бои не утихают ни на час, и благодать всюду одна, какие войска ни возьми. Арсению кроме пехоты никуда не попасть — и грамоты мало, и действительную отслужил в стрелках.

— Будто другого ничего нет, окромя,— высказался он с намеком.

— Например?

— Минеры.

— Минеры?!

Повернулось несколько голов, чтобы поглядеть на Арсения: эвона, куда захотел!

Но в минеры его вовсе не влекло, и знал он такую службу лишь с чужих слов. Два дня назад брал по расчету деньги в заводской кассе. Вышел на улицу, мимо проходил солдатский строй. Арсений спросил, кто такие?

Задний ответил:

— Зачем тебе? Ну, минеры.

Живя в городе много лет, Арсений мало куда выезжал. По молодости — тому, пожалуй, лет десяток,— забрались они с Клавдией к морю. Разувшись, ходили, голоногие, по прибрежным камням. Клавдия то и дело вскрикивала от боли.

— Поддержи, Сеня, видишь, как по ножам иду!

— Мне-то хоть бы что.— Его огрубелые подошвы боли не чуяли.

Они еще и купаться вздумали, однако дно было сплошь каменистое и Клавдия поплескалась лишь у берега.

Это в тот раз он обещал ей катание на моторке, но обошлось без катания, без баловни, как он говорил.

Перед отбытием на передовую — дорога ныне одна — дали похлебать мучного супу с кусочком хлеба. Затем вписали в книгу уходящих. Во дворе он попал в шеренгу таких же выбывающих. Шли, шли, и ни единой знакомой улицы.

— Где мы, слушай?— справился он у парня, усердно топавшего следом.

— Литейный проходим.

— Чудо!— подивился Арсений.— Эвона, куда занесло!

И потому чудо, что его Клавдия с Литейного родом. У нее и по сию пору живет здесь мать, старуха мягкая и набожная. В ее комнатке Арсений так ни разу и не побывал, а она у них дома гостила часто. Своего нерасположения к теще он не таил, резал в глаза ей:

— Знайте, мамаша, денег у нас лишних нет.

Это чтобы не засиживалась.

— Господь с вами, живите,— говорила она, уходя.— Вам ребятишек, попроще бы жили, они опрошают.

И Литейный прошли целиком — от реки до Невского, повернули налево. Знатоки определили:

— К Обухову подались, а оттуда прямая дорога аж на Невскую Дубровку, местечко, я вам скажу!

Иные помрачнели, но мысли держали при себе, лишь один кто-то не вынес:

— Однова побывал я, попаду вторично, целым не вернуться.

На Арсения даже и такой прогноз не повлиял: командирам виднее, куда вести.

В той школе, на нижнем этаже, где побывал Митюшов с Тонькой, ожидал разбивки и Арсений. Только с ним это случилось несколькими неделями раньше, когда школа стояла почти целая. Даже стекла блестели кое-где в окошках. Погреться он никуда не совался: пора была еще не такая и студеная, помещение не продувалось. И не подремал ни минуты, понимая, что от того, куда попадешь, зависит дальнейшая жизнь. Так что когда пришли определять, Арсений высказал свою волю:

— Только в пулеметчики!

На него поглядели двое. Один спросил:

— Пулемет на горбу донесешь?

— Как же! Я землю в литейке ворочал.

Когда Якимов с Кириковым передали Арсения ротному Жаворонкову, тот определил:

— Пожалуй, я тебя видел.

— Кажись, и я тебя, командир.

— Как же ты на смертное поле попал?— строго спросил Жаворонков.— Намеренно сам себя под пули подставлял или и впрямь вон туда, к фрицам, хотел ударять?

— Судить ты вправе хоть так, хоть этак,— смиренно

ответил Арсений.— Так рассудишь, мне каюк, рассудишь этак, куда живой останусь.

Жаворонков своего добивался:

— Почему же ты ни куда-нибудь устремился, а к горе?

— Боялся поморозиться, так на ходу грелся. Солдат как ни шагни, все неладно, не по компасу.

3

Пулеметная рота, где служил Арсений не одну неделю, была разбросана по полю боя. Пулеметы помещались в снежных гнездах, земля же была лишь чуть-чуть тронута лопатой: ее, глубоко промороженную, у людей не хватало силы копать.

Гнезда нарочно выдались вперед, так что пехота залегла сзади, под постоянным огневым прикрытием.

Арсений был не ахти какой меткий стрелок, зато тело его еще сохранило силы. Даже в блокадной голодовке он поплошал мало. Это кстати пришлось командиру расчета Мухамеджанову, тоже городскому, только не с Кировского, а со «Светланы». Они не соперничали, не кичились своим прошлым, напротив, Арсений поставил себя целиком в зависимость от Мухамеджанова. Когда тот бил по цели или для прикрытия, старался подать в нужный момент патроны.

— Ладно снабжаешь, Арсений,— похваливал Мухамеджанов.— Только еще одно запомни, друг: когда будем сниматься по команде, взваливай пулемет к себе на спину, и бегом. Дошло?

— Куда же, кроме спины?— послушно отвечал Арсений.— За пазуху не впихнешь.

Мухамеджанов был маленький, щуплый, ему не то что пулемет в сборе, даже ящик патронный пустой нести в тягость. Печаль у него одна: пулемет то и дело захлебывался, вроде мороз перехватывал дыхание. И замолкал он в тот момент, когда ротный требовал самой надежной прицельной стрельбы. Выходило, будто Мухамеджанов злоумышленно лежит в бездействии. Здесь-то Арсений лишний раз и проявлял свое усердие — буквально согревал заледенелый ствол своим теплым телом, а Мухамеджанов дул и дул на затвор.

В тот момент, когда малый Ванька из роты Жаво-

ронкова по своему мальчишескому любопытству углядел на снежном поле человека в белом халате, то и был Арсений, поднявшийся во весь рост из гнезда, чтобы расшевелить заочиненные от согревания пулемета члены. Опасность он сознавал, но разве лучше замерзнуть живьем?

Мухамеджанов же только все стрелял и стрелял и отлучки Арсеньевой в рвении не заметил, благо патронов хватало. А когда он от стрельбы устал и прилег, сказав себе: мать же честная, вот она, работа!—его обдало снегом от разорвавшегося поблизости снаряда. В такой момент он и вовсе не мог хватиться подносчика, лишь, раненный в живот, воскликнул, слабая от потери крови:

— Не смогу боле, друг, замени меня, и огонь, огонь!
Но где она, замена?

4

За все время, как попал в действующие войска, Арсения записали по фамилии только однажды— в городской казарме, а в роте не записывали: не было ни чернил, ни карандашей, ни бумаги. Да и писаря тоже не было: зачем писарь, если и прямых пулеметчиков не хватало по постоянной убыли? Когда Арсений Двинцов исчез, хватились его лишь как подносчика патронов.

— Куда делся?

— Всегда рядом со мной был,— расслабленно ответил Мухамеджанов, попавший в ров на перевязку через полчаса после ранения.

— Убитый?

— Почему бы и нет? Снегом засыпало и лежит, по весне вытаяет.

Глава восьмая

1

Доставляя Арсения в распоряжение своей роты, Николай Якимов и Алешка Кириков не помышляли особо отличиться. Они рассуждали просто: какая ни служба.

все равно служба. Они и подумать не могли, будто Арсений, свой же брат русак, может куда-то перебежать с поднятыми от трусости или по предательству руками. Жаворонков, хотя и был ученый, но тоже не мог взять в толк, почему Арсений очутился один среди снегов.

— Мой командир вон опять палит и палит,— сказал Арсений.— Это и ладно, но может патронов не хватить без подноски.

На снежном поле сызнава разгорелась пальба. Велась она одновременно в нескольких местах, и Жаворонков не поверил, будто Арсений в этом недружном хоре мог различить голос своего пулемета.

Между тем время подпирало к утру, и уже бросок должен быть с минуты на минуту. Красная ракета вот-вот вспорхнет.

— Бери винтовку и патроны, с нами пойдешь,— рассудил Жаворонков.— Уцелеешь, никуда не денешься, раскроешь, зачем по полю путешествовал.

— Командиру видней,— ответил Арсений так, будто эта касалось не его лично, а другого кого-то.

Он тут же и залег на снег и, вспомнив свою давнюю службу в стрелках, расположил на бруствере винтовку. Он знал, одному Мухамеджанову без подмоги туго, но успокоил себя, что и стрелки не на печке отлеживаются. А убьют, если суждено, и везде убьют.

2

Николай Якимов лежал на снегу, вовсе не помня, что привел Арсения, как, впрочем, не помнил этого и Алешка. И не до той памяти было — через считанные минуты придется бежать под пулями, а добежав, колоть штыком, бить прикладом. Лишь бы хватило силы, не споткнуться, не упасть у противника на глазах. Тело у Николая не зябло, напротив, разогрелось перед делом. Только ноги в кожаных не утепленных ботинках стыли, да будто закаменели руки.

Не избалован Николай теплом — северный он житель. Постоянно на зимних работах — лес возил на лошади, сено с реки, плотничал. То метель с ног валит, то мороз — дух захватывает. Одежка, правда, была по-

теплей, чем вот эта, солдатская. Валенки и шуба всегда в ходу. И кормежка была — мясного немного, зато картошки и хлеба вволю. А тут живот подвело, и не знаешь, есть он или нет.

А вот этот, заводской, стужи наверняка в миру не попробовал. Работа в тепле, дорога домой на машине, дома опять же тепло, не печное — от горячих труб. Тут же все равны. Лежи себе пока, носа не высывай.

— Так ты что же, друг, на горе видишь чего-нибудь или опять же ничего не видишь? — спросил Николай с подковыркой.

— Ничего не вижу, как и раньше, у пулемета, ничего не видел, — ответил Арсений бесхитростно. — А сам-то ты видишь?

— Вижу малость, а больше угадываю. Мы изготовились, ждем, они, гады, тоже ждут. Нам студено, а им еще студенее.

— Студенее, чем мне, думаю, и быть не может, — пожаловался Арсений: у него зуб на зуб не попадал. — В литейке, бывало, всю зиму благодать, теплень.

— И к сытой жизни ты, полагаю, приученный?

— Само собой.

— Мне к холоду привыкать проще простого, — похвастался Николай.

Только они так, почти криком, перемолвились — стрельба велась с обеих сторон, приглушенная, но велась, — как над головой повисла, и долго ни с места, малиновая ракета.

— Она, наша! — завопил Николай не голосом даже, а страшным полусшепотом.

— Лежи знай, ротный оповестит, бежать нам или погодить, — одернул Алешка, неосознанно подымаясь на колени.

Жаворонков вскочил, сипловато, но все же ясно выкрикнул:

— За мной!

Сперва вяловато, затем все живее двинулась жидкая белая цепь. Винтовочные хлопки слышались из цепи.

— За мной!

Оттуда, с белой зловещей горы, пока ничего не последовало. Может, не было полной видимости или наб-

людателям задремалось под утро: пока-то глаза разлепят! Но оцепенение было короткое. Через все поле натянулись красные нити, возник и все нарастал звенящий писк пуль. Николай Якимов ничего не видел и не слышал — бежал изо всех сил. Не чуял телесной дрожи. В глазах стояла Варвара, жена. Этакое наваждение — огонь в лоб хлещет, и тут же... Нашлись силы. Ноги хотя и вязли в снегу, но, казалось, без труда вытаскивались.

Бежали все, бежал и Арсений Двинцов, стреляя наугад в сторону медленно приближающейся горы.

Стали ложиться снаряды. Их разрывы и пулевая стрельба заглушили все иные звуки. Может, следовали команды, но их не стало слышно.

Арсений на бегу запнулся о голову лежащего убитого, упал, но тут же поднялся. Когда до цели, где различались деревья — каждое по отдельности, — остались шаги, Арсений рухнул. Еще малое время загребал снег руками, но движения замедлялись, пока не прекратились совсем.

Увидев первого в своей жизни живого немца, Николай занес над его головою приклад. Немец увернулся и уполз бы, но Николай прицельно выстрелил. Николай только и успел заметить, какой он лежал маленький.

Пробежал ротный, показал рукою Николаю: туда, только туда! Все шли...

Но упал, как бы споткнулся, и Николай, успев лишь подумать: «Вот и меня клюнуло...»

Долго или коротко пребывал он в беспамятстве, неизвестно, только очнулся на телеге вместе с другими тяжело ранеными. Напитавшаяся кровью повязка замерзла, стягивала тело. И малые толчки вызывали сильную боль. С ним по соседству лежали двое без признаков жизни.

— Столько опять положило нашего брата! — как можно громче произнес Николай, чтобы отозвался с передка телеги солдат, погонявший лошадь.

— Положило, и еще положит, ой, положит, — донесся глухой отклик.

Телега выкатилась на каменную бесснежную дорогу. Тряска ввергла ослабевшего Николая в забытие.

На открытом месте под парами стоял паровоз с шестью вагонами в упряжке. Раненых — весь ночной сбор — рассортировали: живых внесли в вагоны, кончившихся при подвозе положили на холодный снег вместе. Верховские — Сергей Пашалов и Николай Якимов — угадали в один вагон, чему оживший малость Николай порадовался:

— Гляди, где лбами стукнулись, Серега! Оба побитые, но дышим, стало быть, и раздышимся.

Сергей промолчал, лишь понимающе кивнул.

3

Митюшов ждал, когда его поведут в стрелковую роту, как и Тонька ждала. Ждали и еще пятеро.

— Не назад ли в Питер наша дорога? — полушутливо высказался один из пятерых.

— Не дай господи в Питер! — всерьез отозвался второй, взятый на фронт из городского учреждения, но обмундированный по всей солдатской форме.

Было утро. Посветлело. Пальба поутихла.

— Утомились за ночь фрицы, должно, завтракают, — предположил бывалый солдат с неясным лицом.

— Долго ли тут задерживаются? — полюбопытствовал Митюшов.

— Одна пуля знает, долго или недолго, — ответил все тот же бывалый. — Кого-то в первый же час скосит, а кто-то и месяц невредимый. Целый месяц! Во всяком деле, парень, везет иль не везет.

Рвануло неподалеку. Задрожали стены. Снизу, из подвала, где Митюшов подремал сколько-то, поднялась знакомая женщина, спросила в испуге:

— Неужто опять будут бить?

Но по разваленной школе бить немцы не стали.

4

Опустошенный, измотанный, Жаворонков пришел взять пополнение: в роте к утру остался невредимым лишь каждый третий — шестнадцать всего навсего.

— К нам, значит?— спросил он глухо, казалось, не Митюшова, а самого себя.

Митюшов же и подумать не мог, что перед ним Жаворонков. А Тонька узнала его по голосу. Вернее, не по голосу, а по интонации. Сердце у нее застучало, и она, не помня себя, кинулась к нему.

РАССКАЗЫ

ДЕВОЧКА НА ТЕЛЕГЕ

1

С горы к большой реке неостановимо сползала жидкая, только что вывернутая машинами из чрева земли глина. Все меньше день ото дня оставалось вокруг зеленого живого места. А вчера и дорогу к конному двору, где содержались в стойлах рабочие лошади, рассекла траншея с черной болотной водой.

Оказался Илья Ярополов, как и лошади, будто на острове.

— Глядишь, и ступить скоро будет некуда хоть человеку, хоть лошади, хоть малому воробышку,— расстроено ворчал он себе под нос.— Уйти бы с глаз долой, чем себя мытарить, на все гляючи.

Илья уверовал, что его простая, не ахти какая сытая жизнь все-таки жизнь настоящая, а жизнь на раскапываемой горе — загадочная и шумная,— хотя и приносит деньги, но оглушает и изматывает до срока.

Ксения, бедная мать Ильи, не далее как в прошлом году, за месяц до кончины,— сказала, что родила она его здесь же, в приделке к конному двору, и в тот самый год, когда у него не стало отца.

— А какой он был, мой отец?— спросил Илья заинтересованно: отца он совсем не видел и ничего о нем толком не знал.

— Обыкновенный,— ответила мать.— Как и все мы обыкновенные, денег получаем ни много ни мало — в обрез. Когда, бывало, не выпьет лишнего,— чего греха таить, он выпивал,— у нас и недостатков и прорех нету, а выпьет, как хочешь, Ксения, корми семейство. И никуда не денешься, кормила, одевала, пускай и не в сукна да шелка.

Здесь увидев свет и повзрослев тоже здесь, Ильяных мест не хотел и знать, кроме как побывать где-то из простого любопытства. При переезде пришлось бы начинать новую жизнь. Теперешняя ему понятна и привычна, а та будет какая?

Он взошел на гору, и то, что предстало перед ним, так изумило, что он тотчас хотел вернуться к конюшне и посидеть в курилке до подхода людей. Успокоился бы, порассуждал, что к чему.

Он все же отважился, прошел вершиной и, вздев кулаки, крикнул:

— Куда прешь, безмозглая, куда и зачем?— Будто глина живая испугается, повернет вспять.

Стая грачей кружила в небе. Им тоже стало не просто найти пищу, когда повсюду распростерлась глина.

2

Жилище, где обитал Илья со своею Настасьей, уютным и вполне удобным признать нельзя, но все же то было надежное прибежище от дождя, пронизывающего ветра и лютой стужи. Оно было и побольше и потеплее малой пристройки к конному двору, где он родился и долго жил. Теперешний домишко соорудил своими руками Илья в благодарность матери за то, что она произвела его на свет и плохо или хорошо кормила и одевала до взрослости.

— Чего бы мне ни стоило, а дом у нас будет, чтобы ты, мать, хоть перед кончиной пожила сколько-то обособленно от лошадей.

От конюшни постройка встала недалеко. Илья не выбирал места—занимай, где пусто. Место как место—не красное, не на горке, утром солнышка не увидишь. Насобирав он где бревешек, где досок, где кирпичей, за год слепил. И печь, занявшую едва не половину строения, сложил, чтобы простуженная за трудовую жизнь мать погрела свои больные кости. Когда он первый раз истопил, она, ослабевая, кашляющая тяжело и нутряно, поклонилась ему в ноги:

— Спасибо, Илюша, погреюсь перед смертью.

Она и вправду только погрелась и той же ночью в новом домишке на новой печи и кончилась.

Илья сам сколотил гроб—от своей стройки остались доски. Пришел на конюшню запрячь мерина Сор-

ванца, чтобы отвезти покойную до могилы. Начальник Сидоршин давай ругаться:

— Головой или чем думал, Ярополов? Середь дня такую лошадь от дела оторвать!

— Надо же, понимаешь, Николай Евстигнееч.

— Хм, надо. Возьми запаленную кобылку Миту, отвезешь, торопиться теперь Ксении некуда.

Смирным слыл Илья, а тут возмутился:

— Она что же, доброй лошади не заслужила? За троих мужиков здесь ломила, потому и век у нее короткий вышел.

Впервые за все время Илья не послушался Сидоршина, повез мертвую мать на лучшей лошади и похоронил честь честью.

Опечаленный пришел он в тот вечер домой, а там Настасья сидит — никакая Илье не жена и не знакомая вовсе. Говорит ему скорбно:

— Никто тебе не сочувствует, потому что ты простой, одинокий, не почетный, одна я сочувствую.

А он в тот момент лишь в сочувствии и нуждался. Не расспросил даже, кто она и откуда, как узнала, чего для себя выгадывает. Пришла и сидит в переднем углу.

По обычаям помянуть бы полагалось усопшую, но как он скажет: мать у него кровная, а для той, что пришла и сидит, незнакомая и чужая.

Однако Настасья будто и это предвидела:

— Царствие ей небесное, тете Ксении, намаялась при жизни и сошла на покой, — со слезами сказала Настасья и, упав на колени, перекрестилась в пустой передний угол.

Илья увидел на табуретке узел ее. Она развязала, а там щи в кастрюльке, каравай черного хлеба, луковица и маленькая бутылка вина.

— Самому тебе некогда, да и не сумеешь, ну и времени нет.

Сели за стол, давай из одной тарелки поминальные щи хлебать. И покойнице отлила Настасья чашку, хлеба положила ломток:

— Поешь, тетя Ксения, в этот день мы тебя от еды не отлучаем. Исподволь сама отойдешь.

После выпитого вина душа у Ильи потеплела и обмякла.

— Не для себя я руки ломал, старался изо всех сил,

строился, для одной матери, а она здесь и ночи не провела, только погрелась.

— Ей, выходит, и малого хватило,— ласково рассудила Настасья.— Отвела душу, и оставила тебе для жизни.

Ее рассуждения прились ему по сердцу, и он ощутил в ней некую свою опору.

В тот вечер он не расспрашивал Настасью о жизни, она сама рассказывала.

Стала она бывать у него каждый день. Убиралась, а он не гнал ее. Пусть Илья слова ее не так близко принимал к сердцу, как в первый поминальный день, а все же он выслушивал ее дружески, и даже хвалил. Так и шло у них ни много ни мало, целый месяц. За это время Илья стал свыкаться, что нет у него матери. И вообще, поблизости у него никого не осталось. Было бы не так тоскливо, если бы хоть изредка навестил его брат или сестра. Или хотя бы тетка, а то ни души. Жил у него в дальней местности, на этот день даже неизвестно и где, старший брат Петя, но от него ни слуху ни духу, почитай, целых пятнадцать годов.

Отсутствие поблизости хоть какого-нибудь родства тоже немало способствовало его тяге к Настасье: какая она ни есть, а все-таки живая душа.

Работа у Ильи не через силу тяжелая, но занимала много времени. Днем домой не уйдешь — с утра до ночи будь на месте с лошадыю. К тому же он выделялся среди равных себе аккуратностью и прилежанием. Другой, поглядишь, незаметно исчез, и нет его до предвечерних сумерек. Спросят, где столько часов пропадал, а он:

— Как где? Дегтю не выдают, так я добывал. Не смажешь — не поедешь.

Оправдаться всегда можно. Но Илья не такой: ему не обмануть.

Настасья по-своему оценила Илью: поутру он на конный двор, а она ведет свою дочку Лидочку в его жилище. В конце дня он домой, а там полный ужин. А кому бывала лишней чужая добрая услужливость?

3

Илья проявил некую взаимную заботу, спросив:

— Где живешь, Настя?

Понурившись, она ответила:

— Ты, наверно, хотел спросить, где раньше жила?

— Почему раньше? Живешь же ты где-то?

— Нигде не живу.

Чудно ему стало. Все где-нибудь живут, а она нигде. Хитрит, что ли, баба? А хитростей он побаивался, о бабьих наслышался всякого.

Долго она увиливала да жалась, скрытничала, но в конце концов призналась, что у ее девчонки Лидочки в городе отец есть, только он с ними не живет.

— Поругались?— предположил Илья.

— Поверила я ему, а верить мужикам, видно, и нельзя,— сказала Настасья.

Свою Лидочку она к нему подослала, и он ее приласкал, обнял даже:

— Постоянно живи у меня под крышей, и будет тебе тепло и удобно.

С того дня зажили они втроем. Илья не спрашивал Настасью, кто был тот, кому она подарила свою первую любовь, как не спрашивал и о том, что же все-таки привело ее жить у него, у Ильи, в неудобствах. Он полагал, что люди — мужчины и женщины — если и сходятся и живут вместе, то не по взаимной любви, а чтобы побороть одиночество и тоску. Он на себе самом испытал непомерную тоску в тот день, когда не стало матери. Сразу после похорон ему и домой идти не хотелось. Своему знакомому, Сергею Пашалову, помогавшему хоронить мать, он сказал, что дома ждет его тоска.

— Многим знакомо это, мне тоже,— ответил прочувствованно Пашалов.

— Ты похоронил мать?

— Нет, мать умерла, когда меня не было дома, а был я на войне. Похоронил я жену.

— Жена — не мать,— заметил Илья.— Жалко, понимаю, но все же она не мать.

— Не мать, правильно, но у меня с женой были совместные малые ребятишки,— сказал Пашалов.

Хорошо или плохо — иметь совместных ребятишек, Илье было неведомо.

Прожили вместе два месяца. Время повернуло с лета на осень. Хмурилось по утрам небо. Птицы умолкли. Глина с горы от дождей еще шире растеклась во все стороны, прихватив даже еловый лесок вдоль железной дороги. Река, видная из ихнего единственного окошка,

не играла больше, а покоилась будто в стариковской постели.

Настасья была женщина. Как бы она ни была обижена тем мужчиною, который покинул ее, она осталась самолюбивой и хотела понравиться Илье. Ей думалось, что если он не прогнал ее сразу и не гонит до сих пор, значит, она сумела заронить ему в душу скрытую радость и тепло. Если не заронила, зачем бы ему терпеть ее в своем доме? Разве нет иных женщин вокруг — бездетных и помоложе? Внешне Илья ничуть не менялся. Все также рано утром исчезал и так же затемно приходил. Ужинал и ложился. Скупое ласкал Настасью, не говоря ни слова. То и не была, пожалуй, ласка.

Лидочка своим детским умом распознала доброту Ильи, подходила к нему без опаски и даже притрагивалась своею ручонкой к его большой грубой руке.

Нетерпение завладело Настасьей, и она сказала:

— Лидочка моя и его дочь.

— Бывает, отцы возвращаются,— отозвался Илья предположительно.

— Сюда он не придет, нет,— уверила Настасья.

— В таком случае, придется мне самому его отыскать,— сказал Илья.

Его намерение Настасья ни одобрила, ни осудила — промолчала.

4

Илья решил искать. Почему-то он предположил, что Лидочкин отец должен выходить на работу туда, где вывертывают наверх глину. Добрым людям совестно портить лик земли, они способны ее лишь облагораживать, как не способны добрые люди рвать просто так цветы, спиливать ни за что ни про что деревья, губить птиц и животных. Всякое плохое и губительное деяние дурные люди оправдывают тем, что им, мол, надо жить, будто, если они не повалят рошу или не застрелят медведя, то помрут с голоду в холодном жилище. Илья обрывал обманные слова:

— Не городил бы огород, слышь-ка!

Так-то Илье и незачем было выезжать на мерине Сорванце к той выворачиваемой машинными ковшами и простой лопатою земле. Работа у него и у лошади была совсем иного порядка: способствовала жизни. Они

возили из ближних деревень в город молоко в светлых жбанах. Выезжая с утра пораньше, они успевали обернуться дважды, а если Сорванец был особенно резв на ногу, то даже и трижды. Молоко, которое они доставляли с колхозных дворов, нужно было в городе всем, особенно же маленьким, таким, как Лидочка. Когда они оборачивались трижды, то, как заметил Илья, Настасья приносила из лавки молока две бутылки, а когда лишь дважды, всего одну, и Лидочке не хватало на день. Илья стал понуждать Сорванца поворачиваться живей. Правда, не бил, а убеждал хорошими словами, и тот понимал хозяина.

Но оказалось, и в том, что мерин ходит так или этак, виноват опять же Илья. Накормит сеном досыта, и мерину дорога не дорога, покормит второпях и мало, Сорванец плетется еле-еле. Такая она, видно, жизнь — сцепленная из частей колючими репьями.

А пожелалось Илье увидеть Лидочкина родителя и потому еще, что не верилось, будто есть люди, коим свои родные дети хуже чужих.

Чтобы взобраться туда, на верх исхлестанной канавами горы, надо было придумать предлог, потому что начальник Сидоршин не любил, когда ездовые гонят лошадей не туда, куда наряжены. Он даже наблюдал с дороги, кто в какую сторону едет. Что ни утро, он напоминал:

— Смотри, Ярополов, правь прямой дорогой.

Будто у Ильи бывали отвороты и заезды.

И на этот раз он не хотел обманывать Сидоршина и махнул рукой на гору, где собирался побывать:

— Мне туда позарез, Николай Евстигнееч. А после и со жбанами.

— Эвона, куда тебя поволокло! — потревожился малость Сидоршин. — Но нет туда нашего ходу. Иль не знаешь, что там творится? И сам утонешь и лошадь утопишь.

Илья взялся настаивать, не называя, однако, причину такой странной ездки. Сидоршину было любопытно, но дознаваться он не стал, тем более на горе отыскалось попутное дельце, кое все равно кому-то придется поручать.

— Ладно, трогай, Ярополов, но оттуда два-три камня пудовых прихватишь. Почему на меня так глядишь? Столовке камни понадобились — капусту пригнести.

Илья тронулся в путь. Телега не споро шла в гору, вроде и вовсе не шла. Илья на передке не сидел, а лошадь все равно покрылась испариной.

Встречных долго не было.

5

Инженер Олег Аграсимов не то, чтобы вовсе забыл Настасью, с которой он сколько-то жил, как муж с женой, хотя и не был в записи, он просто-напросто отторгнул прочь от себя свое недавнее прошлое, как ненужность. Так что нечего говорить и о том, что он вроде не помнил дочку. При этом рассуждал он трезво и здраво: если с ним рядом нет ни той ни другой, стало быть, они где-то все равно живут. Пусть и дальше так. О чем еще говорить? Зато он постоянно помнил, что ему каждое утро следует в одно и то же время вставать, умываться, завтракать, ехать на работу, то есть совершать такой круг дел, поступков, встреч, который приносит ему почти все необходимое для дальнейшей жизни.

Рождением и проживанием он был городской, только городской не местный, а приезжий.

Жил он тут, как прибывший, поначалу убого, так убого, что когда наконец зажил иначе, почище и поудобней, то постарался убить память о минувшем отрезке жизни. Такое умение откидывать прошлое он считал своим немалым преимуществом перед другими: еще бы, живи, не оглядываясь!

На горе, где в то утро хотел побывать инженер Аграсимов, производилось вовсе не рытье примитивных канав и не пустое перекидывание глины с места на место, а осмысленное освоение пустовавшей местности. Каких-нибудь два-три года, и вознесутся белые дома.

Аграсимов прибыл на место не пешком, а на машине. То была лучшая в городе машина, полученная управлением незадолго до сорокалетия Аграсимова. Страшно подумать — уже сорок! А он все еще неженатый. Надо бы, надо! Недавняя знакомая, Нина, поразительно мила, изящна, молода, да что еще скажешь, лучше нет и не может быть. И что сорок? Сорок пустяк, еще жить да жить!

Машина миновала-таки опасные перешейки между ямами, обогнула глинистые бугры и скользкие спуски. Пока Аграсимов вскидывал ногу, чтобы сойти на сухой

ключок, пока примерялся, как удобней пробраться меж камнями, из-под горы показалась рыжая голова лошади, потом скрипевшая отчаянно телега и человек сбоку ее с вожжами на весу. Поскольку Аграсимов был на всей этой преобразуемой местности единственный распорядитель, то на лице у него возникло недоумение. А дело в том, что для отвозки грунта под откос он занарядил пятьдесят две машины, но не занарядил ни единой телеги. Если бы выскользнуло десять грузовиков, он не обратил бы внимания. Но телега сразу привлекла. Что за чудеса?

Едва только Илья поравнялся с Аграсимовым, тот окликнул:

— Не ищешь ли кого?

— Так точно, ищу,— ответил Илья.— Не искать, зачем и ехать, лошадь на такой дороге портить?

Они стояли друг против друга, никак незнакомые, ничем непохожие.

— Едешь, будто не видишь, нет тут дороги,— пожурил Аграсимов.

— Была, помнится,— оправдался Илья.— Этой дорогой я не только ездил, а и ходил. А еще раньше бегал вприпрыжку. Еще раньше ползал.

— Как?

— Да так, ляжешь на пузо — и айда! Маленький я был и непоседа. Мамка на работу уйдет, меня одного кинет. Скучно мне было одному при конюшне сидеть, я и уходил куда глаза глядят. Силы хватало, шел, потом полз.

Аграсимов возматал иначе, под присмотром бабушки и матери, в просторном и чистом доме. Он не понимал и теперь еще, как можно жить малышу при конюшне. Мог и не поверить — мало ли какие фантазии рисуются в голове, когда надо себя как-то выгодно представить.

— Лошадям здесь и делать нечего,— назидательно сказал Аграсимов.— Только машинам да человеку место.

— Испортили, постарались,— проворчал Илья, беря лошадь под уздцы.

— Кто испортил, тот и украсит.

— Украсит, жди!

Дальше подвигались втроем — двое мужчин и лошадь.

— Скажи все же, как и зачем?— спросил Аграсимов.

— Секрета нет, тебя спросить прибыл, женатый был или не был?

Странно, конечно, что незнакомец приехал на лошади узнать, был ли Аграсимов женатый! Потому-то он и помедлил с ответом. Чудак какой-нибудь.

— Нет, пока нет,— ответил Аграсимов.— Но женюсь, очень скоро женюсь. Можно и порадоваться, так ведь? Сам ты, верно, женатый, и по опыту знаешь, женатому живется поудобней.

Ему вспомнилась хорошенькая Нина, которую он непременно увидит нынешним вечером. Где же они условились встретиться? Она назвала место, а он пропустил мимо ушей.

— А не знал ли ты тут, приятель, одну бабенку, Настасьей звать?— вдруг спросил Илья.— У нее дите, девочка Лидочка.

Аграсимов нарочито недоуменно поглядел на него и твердо ответил:

— Не знал, нет. И не надо мне. Впрочем, может, и знал, да не вспомню. Мало ли кого я знал? Положено знать. Тебя вот узнал. Могу в чем-то помочь. Скажем, переходи к нам на гору работать. Хватит с лошадью возиться, к машине приставим. Только и будешь зачищать да гладить землю лопатой.

Понял Илья, что то, зачем он сюда приехал, для Аграсимова мало значит, а много значит для него свое пребывание возле ям и канав.

— Да ты бы открылся, сказал, где жил по приезду?— настаивал Илья.

— Где жил, там не живу, в новом каменном доме живу,— ответил Аграсимов.— Хочешь знать, жила по старому месту одна женщина, ничего собой, годами постарше меня. Я ушел, она осталась. Впрочем, не знаю, осталась ли. Оставаться было негде — домишко ветхий, буквально развалился.

— Понимаю, бросил ты ее с дитем.

Больше Илье от Аграсимова ничего не надо было, и он, развернув лошадь, намеревался ехать назад — дорога под уклон полегче. Но вспомнил про камни. На горе их, и вправду, хватало всяких, хоть больших, хоть мелких. Пока Илья поднимал камни на телегу, Аграсимов стоял в сторонке. Женщину, про которую говорил

Илья, Аграсимов тут же и забыл. Пудовые камни Илье навалить ничего не стоило: молочные жбаны ставил и не такой тяжести. Поехал, сидя.

— Понадобятся еще, приезжай!— всерьез крикнул вдогонку Аграсимов.— Нам камни только мешают.

В дороге Илье неотвязчиво думалось про Настасьину житейскую историю. Надо же, простая, а с каким ученым лицом зналась! Только не сумела при нем удержаться, к Илье сползла. Он не ругал ее в душе, не заподозрил в хитростях и обмане. Ему даже приятно было, что он приютил Настасью с дочкой Лидочкой. Возможно, не сразу Настасья к нему под крышу угодила, а где-то еще ютилась?

Однако предположение не вызвало ревности, а лишь скользнуло в голове и никак не отразилось. Как бы ни было, а Настасья оказалась у него. Выходит, он чего-нибудь стоит. Только не уронить бы себя ни в каком деле.

6

По прибытии на конный двор Илья повстречал знакомого, Серегу Пашалова, пожаловавшего сюда не ради пустого времяпрепровождения, а по прямому делу. Рядом с конюшней валялись чугунные трубы, их предстояло погрузить на машину и доставить на гору, чтобы уложить в землю.

Впервые Илья и Сергей Пашалов столкнулись года два назад в городе, на узкой тропке. Сергей восходил на горку, Илья же спускался. А тропка одна. Ни один не уступил.

— Прочь с дороги!

— Не я, а ты прочь!

Когда разминутись-таки, оглянулись, кто первый в сторонку подался — наверняка, ты, а не я!

Сергей заждался машины и пожаловался, как это плохо — долго ждать.

А Илье что? Ему свалить камни, да ехать по прямому заданию — везти молочные жбаны. К тому же, Илью все больше занимала его встреча с инженером и предстоящий вечерний разговор с Настасьей. Как его начать? А может, и не начинать, выждать, пока она сама начнет?

В такой неопределенности Илья и хотел приступить

к разгрузке, уже сбросил первый камень, однако вышедший из конторы Сидоршин остановил:

— Не тебе ли велено, чтоб камни к столовке? Понял? К столовке! Этакый неслух! И в годах, не молодецкий. Может, не высыпaeшьсe?

Илья хоть и разобиделся, но не огрызнулся. Он вообще никогда не огрызался, а тут прямая его вина: Сидоршин и вправду приказал доставить к столовке.

Тут-то Серега Пашалов и спросил:

— Вроде ты с Аграсимовым познакомился? Ну и какой же он, на твой взгляд?

Илья не стал по одной встрече ни хвалить, ни ругать чужого начальника, тем более, при Сидоршине: он-то ждет дела.

До столовки десять минут езды.

В своих дорожных суждениях об Аграсимове Илья пошел дальше. «Полный обманщик и есть. Хоть Лидочка еще совсем крошка, а здорово на него похожа. Ишь, чем захотел улестить — иди, Ярополов, и работай на горе. Денег получишь поболее, от лошади освободишься...» Стал Илья мысленно принижать Аграсимова. Инженер, подумаешь! Он что же, первый такой? Да из Ильи, может, и похлеще вышел бы кто, скажем, доктор или морской капитан, родился он не у нищей матери и возрастая при обоих родителях. Как ни говори, а когда с тобой рядом отец, иное дело. Сыну от него поддержка. Отец он всегда отец.

Подле столовки его ждала сама заведующая Мартыанова, грудастая, могучая телом:

— Едешь, не торопишься! Сваливай тут камешки, а мы, когда надобно, с земли подыдем.

Илья без натуги свалил и надеялся, что начальница поведет его в обеденный зал покормить супом и кашей: раньше иногда так бывало. Но она вроде забыла отблагодарить, и ему пришлось уехать ни с чем.

За день досталось рукам, ногам и всему телу. Впрочем, притомился не только Илья, но и мерин стал искося поглядывать на Илью — сколько-де еще ходить да таскать телегу до основательной кормежки и полного отдыха. Пока мерин так выжидательно не глядел, значило, надо работать и работать изо всех сил обоим, а

как начал косить глаза, то баста, откатывай телегу, куда надо, распрягай, сыпь корм и отправляйся на все четыре.

Такой момент и подошел.

Тот момент еще и тем хорош, что Илье день ото дня все сильнее хотелось домой, и он не мог объяснить себе, почему. По правде сказать, он редко когда объяснял что-нибудь самому себе. В тот вечер его особенно влекло. Он даже решил увернуться от дотошливого Сидоршина, взявшего за правило каждый вечер давать Илье дело назавтра.

— Тебе, Ярополов, после ночного отдыха предстоит...

Будто ему предстояло ехать не со жбанами за молоком, а шить одежду или пахать землю.

Итак, Илья задумал схитрить — впервые за все время уйти на какие-то минуты раньше, чем всегда. И уйти не где всегда ходил, а другими, тыловыми, ходами, затем пролезть в дыру между досками ограды и был таков. Но это он лишь подумал так. А едва подумал, как был застигнут врасплох окриком Сидоршина:

— Не забудь, ко мне!

Илья раскрыл рот, чтобы сказать что-то, но не нашелся, потащился вслед за Сидоршиным.

Там, в служебной чистенькой и теплой комнате, рассеянно слушая болтливого начальника, Илья рисовал себе, как он придет домой. И не Настасью он представлял первой, а Лидочку. Она уже не казалась ему неродной.

Догадавшись, что Илья не слушает, Сидоршин спросил:

— Понятно?

Илья только и уловил, что пора встать и уйти.

Со стороны можно было всякое предполагать и по-всякому судить о Настасье. Можно думать, что она нахально втерлась в чужую жизнь, воспользовавшись простотой одинокого человека. А можно ее и оправдать: надо же и ей как-то устраивать свою жизнь — не старуха же, в самом деле. А можно предположить, что у нее доброе сердце: перешла к Илье, когда ему было осо-

бенно тяжело и одиноко. Но как бы ни было, Настасья по-своему повернула жизнь Ильи.

В душе он не проклинал Аграсимова, напротив, хотел больше его узнать. К тому же, сама Настасья немало этому способствовала.

Когда в тот раз Илья вернулся, она сочувственно ему сказала:

— Вижу, устал ты сильно.

— С чего мне устать?— отозвался он.— Молока привез лишь разок.

— Когда ты мало доставляешь молока, его в магазине возьмешь с трудом,— сказала Настасья с тихой улыбкой, подмолодившей ее лицо.— А сегодня с утра и вовсе не продавали.

Вот это Илья и упустил из виду, когда собирался поехать на гору искать Аграсимова — молока он не привезет, и Лидочке придется перебиваться.

— Поутру, Настя, я совершил пустую езду,— признался он.— Захотелось увидеть, и я увидел-таки человека, на которого так похожа Лидочка, особенно глазами. Когда я ему сказал об этом, он нахмурился и буркнул, что никакой Лидочки никогда не видел и знать не знает.

Настасья покраснела и встревожилась:

— Вон куда тебя занесло! Показалось тебе, будто Лидочка похожа на первого встречного. Да мало ли похожих людей? В рабочий час поехать высматривать! Садись ужинай. У меня картошка. Ты любишь картошку.

— Потому это, что я вырос на картошке,— сказал Илья.— Мать каждый день кормила меня картошкой. Ничего другого, бывали дни, и нет. Возле конного двора был клочок земли, который мы с матерью возделывали. Больше возделывала она—я был маленький и слабый. Родилась картошка крупная, по кулаку. Многого мне не хватало, а картошки хватало. Мне хотелось бы знать, как в то голодное время жил инженер, коего я встретил на горе. Как ты ни говори, а Лидочка на него похожа.

Девочка не выдержала, припала к пахнущей дегтем коленке Ильи, долго смотрела на него. Наглядевшись, несмело объявила:

— Да я на тебя похожа, на тебя!

— На меня?— польщенно засмеялся Илья.— Такого

и быть не может. У тебя и волосы не мои, и нос короткий.

— Похожа, похожа!— Девочка забила в ладоши.— Скажи, мама, ведь похожа?

Однако Настасья не подтвердила, промолчала. Илья прошелся к настенному зеркалу, что бывало с ним редко. На него глянули серые хмурые глаза, небритое лицо, крупный нос.

После ужина, в осенней темноте, Илья сидел на своем крыльце и наблюдал беспорядочно раскиданные по горе огни, освещающие желтые от глины спуски к реке.

9

Едва скрылась из глаз телега и седок на ней, Аграсимов забыл встречу и разговор, как и вообще забывал минувшее, избирал для памяти лишь то, без чего нельзя дальше жить. То, в чем Илья видел красоту и первоизданность, по убеждению Аграсимова не содержало этого, напротив, ему хотелось пересоздавать без устали то, что рождено самой природой. Потому-то он много двигался, подсказывал, торопил. Не скупился на брань, когда замечал, как медленно и неуклюже поворачивались укладчики чугунных труб.

— Может, и совсем замрем, а?

Раньше при окриках никто не отзывался, хотя ни быстроты ни ловкости не прибывало. Пропускали мимо ушей его попреки, потому что знали, сверху виднее.

А тут Сергей Пашалов, с утра весьма расстроенный, зло откликнулся:

— Да ты, Олег Дмитрич, уходил бы, слышишь? Нечего над душой стоять.

Другой, обидевшись, распалился бы, приплел правых и виноватых, но Аграсимов ни слова, будто не слышал. Оба отвели черед, разрядились — Аграсимов и Пашалов. Удалиться Аграсимову самый момент, а в траншее пусть продолжают свое. Ускорят или не ускорят, неизвестно, а подумают, не зря Аграсимов приехал и долго наблюдал.

Забывчив он, это так и есть, а на этот раз встреча с Ильей помнилась. Какая легкомысленность со стороны Аграсимова, эта Настасья! Жил он с нею не неделю и не две. Говорил: «На меня не надейся, Настя». Она вроде и не надеялась. А при расставании слез сколько бы-

ло: «Нет, ты не уйдешь, не посмеешь уйти!» С того времени ее и нет, будто умерла: ни разу нигде он ее не видел, ничем она о себе не напомнила. И он не искал ее. Лишь теперь, накануне его настоящей женитьбы, встретился ему странный мужик и сказал: «Лидочка на тебя похожа». А что, может, так и есть. Бежала бы она по улице, узнал бы ее Аграсимов или не узнал?

Опасностей от Настасьи как не было, так, вероятно, и не будет. Опасность в самом себе. Надо подавить память, как всегда, он умел подавлять.

Из-за нелегкой, неожиданно нахлынувшей думы Аграсимов даже припоздал на обед: обедать он ездил в город. Там, в уличной толчее, встретила ему Нина. Они зашли в безлюдный садик и взялись обсуждать, какая у них выйдет свадьба в конкретности: где, когда, кого позвать, а кого не надо, сколько денег у них есть, а сколько придется занять. Аграсимову в это время было уже не до маленькой Лидочки.

10

Насидевшись на крыльце, охладившийся Илья зашел в помещение. Настасья намекнула на их скудную жизнь, но тут же и оправдала ее: откуда ей быть иной, если она, Настасья, из-за дочки не работает, а у Ильи доходы известные? Хотя он и не усмотрел в ее словах прямого упрека, однако понял, что Настасья желала бы большего, чем имела. А еще он рассудил, что и каждый бы желал большего, да где взять?

— Говоришь ты, Настя, чистую правду,— одобрил он, ничуть не стараясь представить себя выгодно.— Откуда нам большие доходы взять? Что нам дали за прямую работу, то и наше.

— И я про то самое,— согласно сказала Настасья.

Это не послужило, как бывает у других, поводом для взаимных упреков и недовольств: сошлись они не по обязательствам, а вольно. И все же у Ильи заскребло на сердце: видать, жила Настасья при инженерере намного лучше.

— Он, надо понимать, знает, что живу неважнецки и содержу вас с Лидочкой в простой жизни, из одежды пока ни лоскутка не купил.

— Знать ему неоткуда,— поторопилась оправдаться Настасья.— Я с ним и не вижусь вовсе.

— По моей одежке и по работе судит. Можно полагать, смеется в душе: вот у кого пристроилась моя Настасья!

— Сама выбрала, так и живу.

— А что? Может, согласиться с инженером, перейти мне на его земляные и трубные работы? Тогда и жизнь к нам повернется красивым лицом.

Илья хоть и был простой от природы, однако пускался иногда на хитрости. Хитрости его были не слишком мудреные, чаще без труда разгадываемые хитрости, тем более такой бывалой женщиной, как Настасья. Схитрил он и на этот раз, хотел выведать, как она оценит, если он, ради семейной выгоды, перейдет к Аграсимову в подчинение.

Настасье будто и ни к чему его хитрость:

— Надо бы, Илья. Конечно, не ради нас с тобой, а ради Лидочки. Сам видишь, какая она бледненькая да хиленькая. А почему? Сидит на хлебе и на картошке.

По понятиям Настасьи, хлеба и картошки досыта — мало для полной жизни.

Что ж, Илья может перейти туда, где Сергей Пашалов возится с трубами, только сперва надо все, все досконально разузнать. На то Илья и прожил немало, чтобы не ухнуться с головой в пучину.

В довершение семейного сидения Лидочка, перед тем как лечь, подошла к Илье, и он лишний раз убедился, какая она худышка — кожа да кости. Ему показалось, она с надеждой и нежностью глядит на него.

— Дурашка, — мягко проговорил он, взяв ее на руки.

11

Так Илья и поступил. Перед тем как поехать со жбанами, взошел на попорченную рытьем гору и поискал глазами Сергея Пашалова. В тот раз, когда Илья впервые побывал тут, Сергея не видел, а видел одного Аграсимова. Теперь Илье вовсе был не нужен Аграсимов, а нужен был лишь Сергей. И поэтому Илья смотрел внутрь земли и медленно, будто ощупью, подвигался вперед. Пред ним открывались свежие траншеи и ямы. Кое-где торчали готовые бетонные колодцы.

Нигде никого. Будто нарочно попрятались. Может, не пришли? Ни к чему торопиться до срока: намочнуть и простудиться успеют.

Только Илье так подумалось, когда в ближней траншее, на дне ее, слышался голос льющейся воды и звон лопаты от ударов по камню.

— Эй, там!— окликнул Илья.

Возглас его потонул под землей.

— Зачем орешь, дурачишься?— донеслась сердитая отповедь.— Узнаю по голосу, это ты, Илья. Что надо, спрашивай?

— Пожелалось узнать, сколько тебе денег выдают в месячном понятии?

Ответ последовал не сразу. Как видно, в земле подсчеты и соображения происходят замедленно.

— Тебе-то зачем знать, ты ж все равно наверху, и к нам не попадешь?

— Обдумываю, может, попаду, вот и пришел.

— Один обдумываешь?

— Две головы заняты— моя и Настасьина,— ответил Илья, никак не шутя.

— Полторы, а не две,— долетела поправка.— Хочешь, знай, зарабатываю я одно, а домой приношу другое. Понимаешь или нет? А у тебя какой заработок, такой и домашний принос.

Прикинул Илья, что к чему, и поверил Сергею: и вправду, у Ильи что заработок, что принос— из копеечки в копейку.

Он и еще разузнавал про работы и про деньги, но снизу ответы не долетали: было там не до чужих представлений. Илья потоптался и, не вполне удовлетворенный, заспешил к лошади.

Возле конного двора народ был уже весь в наличии, не доставало лишь Ильи.

А тут еще одно вскрылось, что сильно потревожило Илью: вскорости молоко возить перестанут. То есть, возить-то его будут, только не как теперь, а на тракторном прицепе. Убивалось не один и не два зайца, а одним зарядом много. Лошади на подвоз не понадобятся, возчиков ни единого. Сидоршину полное облегчение: передай лошадей на чужие работы, к примеру, туда же, куда подумывал перейти Илья, и вся недолга. Работа на горе в одних руках— у Аграсимова, оплата работ из тех же рук. Не имей дело со многими дальними, а имей

дело с одним и ближним. Потому-то Сидоршин и взялся бабахать во все колокола: свой тягловый транспорт мы не губим, сохраняем целиком, только желаем ради великой пользы придать в помощь Аграсимову.

Высокое начальство, в области расквартированное, прослышав про тот благородный порыв Сидоршина, всячески расхвалило его:

— Все жертвует на единую пользу, ничего не упускает из виду.

Аграсимов, узнав о затее Сидоршина, только развел руками:

— Лошади?! Какие еще лошади? Зачем они нам, если всюду в ходу машины?

Однако увернуться не сумел: к нему с помощью, а он воротит нос! Так не пойдет!

Пришлось Аграсимову спускаться с горы к конюшне, уламывать Сидоршина, чтобы искал другого охотника на лошадиные работы. Сидоршин принял гостя прямо во дворе и, как почетного, повел по проходу между стойлами.

— Любуйся, инженер, какие у нас кони! Дорога есть, пройдут, дороги нет, тоже пройдут. Вывезут хоть тяжелое, хоть легкое. Что они взамен требуют? Да ничего! Ведь ночное содержание и кормежка наши.

Аграсимов к лошадям симпатии не питал, никогда ни верхом, ни на повозке не ездил, только слышал, что на земле их остается мало.

Лошади все, как одна, были на простое. Вероятно, они недоумевали, почему их не запрягают, а иные возчики и подходят с руганью:

— Пользы от вас!

Будто польза зависит целиком от лошадей.

Идя от стойла к стойлу, Аграсимов похваливал:

— Ничего, лошади как лошади.

— Никак нет, это необыкновенные лошади!— горячо убеждал Сидоршин.— А знаете ли вы, откуда они сюда попали? Я их прямо с завода пригнал. Они как на подбор красавицы и породистых кровей. Почему, думаете, я их хочу сохранить? Я бы мог завтра сказать, а ну, всех до единой на бойню. И вступиться бы некому. Но у меня не повернется язык. Мы ж люди, мы должны душу и разум иметь.

Он совершенно преобразился—горели его черные цыганские глаза, покраснелось смуглое лицо. Но Аг-

расимова не трогало чужое волнение, напротив, он воспринял все это лишь как желание во что бы то ни стало спихнуть необычное хозяйство на дядю.

— Никому не нужно, а мы получай,— проговорил Аграсимов.— Что нам на лошадях катать? Воду возить, прогуливаться от нечего делать?

— Боже, какая узость!— по-прежнему пылал Сидоршин.— Да неужели всякую мелочь тащить трактором? Понадобился мешок цементу, три чурбака, ящик гвоздей... Да половину ваших ездов взвали на лошадку!

Тут из стойла, от своей лошади, на проход вылез Илья. Теперь, когда ему предстояло, как он сказал себе, кувырнуться, то есть, круто переменить жизнь, и без того неизбаловавшую его, он не вешал носа, хотя и не прыгал до потолка. Устроится, как и прежде устраивалось, было бы здоровье. Другой день он никуда не ездил. Раньше ему в отъезде, на скотном дворе, попадала лишняя кружка молока, а со вчерашнего дня он целиком перешел на домашний рацион. После еды Настасье горько выговаривал:

— Уморишь ты меня, ей-богу!

На что она прохладно отвечала:

— Без меня ничего тебе не сделалось, а вовсе без приварка мотался изо дня в день.

Это она говорила просто так, не зная, возможно, набивала себе цену. Приварок кое-какой был: его производила мать. Даже в последние недели, хвоя, еле двигалась, но что-нибудь варила:

— Мыслимо ли, сынок, чтобы я лежала без дела, а ты с пустым брюхом на работу шел?

Такая она была, его мать.

Разговор Сидоршина с Аграсимовым слышал Илья лишь частично, и его толкало высказаться, чтобы задеть самолюбие инженера.

— Разве ему втолкуешь? Одно заладил: не нужны лошади, не нужны и не нужны.

Хотя виделись лишь однажды, Аграсимов тотчас узнал Илью.

— Вывернулся, ишь какой шустрый!— незлобиво, почти приятельски сказал Аграсимов и сам подошел к Илье.— Вот ты где прячешься! Как живется? Перейдешь ли к нам на гору? Как там Лидочка? Ты ж говорил о ней.

Тугодумный Илья не мог всего уловить и моментально ответить.

Сидоршин не замедлил ухватиться за руку, поданную Аграсимовым:

— Вот Ярополов и пойдет к вам первым. Принимайте! Запрягай, Илья! Отныне будешь туда выезжать. Заработком не обидят, работы хватит. Поезжай!

Свершилось все так быстро и определенно — Сидоршин насобачился вершить дела в мгновение ока, — что даже тертый Аграсимов неосмысленно поводил глазами, не говоря ни слова. Когда осознал, вынужден был согласиться:

— Подводу беру.

— Всего-то одну подводу?! — расстроился Сидоршин. — Бери больше, всех лошадей бери. Подвоз инструмента, бензина к машинам, хлеба и дров в столовки. Через недельку скажешь, и еще бы взял столько лошадок.

В увлечении Сидоршин думал за Аграсимова.

Илья вывел Сорванца к телеге. За два дня мерин отдохнул. В боках появилась округлость: кормежку Илья за ним сохранил прежнюю. Сорванец принадлежал к той породе лошадей, коим неизвестны почеты, празднества, особенные корма, изысканный уход. Если и видел он что, то не ради баловства. Когда Илья приносил корм и пойло, предстояли обычные ездки. Если ко всему еще и совал в зубы корку хлеба, то приходилось таскать груженую телегу дольше обычного.

Мерин не обижался на Илью: тот никогда не стегал кнутом, не поднимал кулаки к глазам, не бранился зло. Одно не нравилось Сорванцу — Илья много курил и пыхал дымом возле его ноздрей. Как мерин ни чихал и ни фыркал, выражая недовольство, Илья продолжал окуривать.

Да, у Сорванца была жизнь как жизнь, но и у Ильи она ничем не краше. И работа на двоих одна, и сон в те же часы, и кормят Илью ничуть не сытнее. Кормили бы получше, не грыз сухари, сидя на телеге. И живет Илья, по всему видно, один. Был бы кто, зашел на конюшню или по дороге встретился.

Перемены Сорванец почуял. Хотя Илья и поставил его в рабочую телегу, но зачем-то обмыл оглобли, про-

тер соломой хомут, почистил мерину спину, подвязал хвост. Что ни говори, а долгий отдых в конюшне и чистка перед ездой что-то значат!

Но то был лишь короткий интерес. Уже минутой позже мерин послушно подставил морду, чтобы надели хомут, разинул рот с желтыми, наполовину съеденными зубами для железных, блестящих удиц. На лошадиное тело легла обычная тяжесть — оглобли, дуга, седелка с продетым чересседельником. Он нетерпеливо попробовал стронуть телегу с места, но донесся знакомый окрик:

— Ишь, застоялся!

Илья переждал Аграсимова. Не вытерпев, сходил сам.

— Так что же, едем? — удивленно спросил Аграсимов. — Давай ходу, лошадка!

Мерин потрусил к горе.

13

Ехали сперва молча, каждый по-своему ощущая неловкость соседства. С этого часа Илья видел в Аграсимове своего начальника, а при начальнике, как он давно усвоил, выгоднее молчать, чем прослыть с первых же шагов болтливым.

Но исподволь Илью стало одолевать опасение, что у него зря пропадет целый день.

— Меня сразу по документам проведут иль я проваландаюсь на горе вхолостую?

— Почему же вхолостую? — посмеялся Аграсимов. — Сам едешь и меня везешь.

— Не хочу висеть между небом и землей ничейный, вот и еду, — сказал Илья.

— Бессребреник, что ли?

— Чего?

— В деньгах нужды нет?

— Куда делаешь? На мне Настасья и Лидочка. Кто на них заработает?

— Настасья, значит? Ей подай! Запишем тебе полный день, ради Лидочки запишем.

Илья исподлобья глянул на Аграсимова и прищелкнул языком, как бывало это с ним в недовольстве: Аграсимов запишет не потому что Илья как положено от-

работает день, а ради, стало быть, Лидочки. Хорошо гусь!

Когда взобрались на гору, дорога пропала под навалами глины. Лошади пришлось тяжело тащиться целиком — месивом и по кочкам.

— Дальше увидим, а пока будешь к столовке что потребуется возить, — определил Аграсимов.

К столовке, так к столовке, решил сам с собой Илья. Там возил молоко, тут придется картошку, муку, лук, маргарин, лимонад — все надо. Должен бы Аграсимов отрядить Илью на переброску железа, камней, кирпича, а он облегчил. Не иначе, из-за Лидочки. Изломайся Илья на тяжестях да сойди раньше срока в землю, кто девчонку до невест дотянет? Придется Аграсимову раскошелиться. А тут пускай Ярополов падчерицу на ноги ставит. Люди ушлые пошли, на всем выгадывают.

Трястись на телеге Аграсимов не пожелал, соскочил на подходе к главным рубежам.

Илью окликнул Сергей Пашалов, вылезший подышать наземным воздухом:

— Гляди, как ты вывернулся! А хотел к нам спуститься, в жиге вязнуть. Наверху оно лучше!

— Где лучше, где хуже рядовому, непремированному, никто не знает. Пока-то я на лошади был, на лошади и остался. Буду наверху, а все равно при вас. Как говорится, хоть на полу, а при бабе.

Распространяться Илья не стал, тем более, Пашалова повлекло назад в траншею.

День для Ильи обернулся удачей. Перед Настасьей он хвалиться не хотел, но само вырвалось:

— Как подфартило, слышь-ка! Меня на гору первого! Поехал работать, не дурака валять. А столовка буд-то на острове: пешком не подойти, на тракторе не подползти. Здесь-то и обнаружилось, что за смекалка у Аграсимова. Нет у него самого простого людского смысла. Поначалу и слышать не хотел, чтоб лошадок приспособить. А когда увидел, как я покати́л на телеге к той столовке, давай себя клясть: ах, такой я да этакий, пятнадцать годов по институтам обучался, а пустяка не освоил!

— Чтоб он себя клял?!— не поверила Настасья.— Он что сделал, то сделал, назад не воротится.

— Говорю же, клял.

— Нет!

От дальнейшего спора Илья уклонился, но уловил, что Настасья помнит и чтит Аграсимова. Да это и пускай. Илье некуда деться, как только тут жить, а на горе работать.

— Получилось, как мы с тобой говорили, помнишь?

— Так, да не так,— возразила Настасья.— Много ли ты выиграешь на возке?

Она хоть и не показала виду, но в душе возгордилась, что отныне Илья и Аграсимов будут находиться день-деньской друг подле друга. Пускай Илья сам собой напоминает Аграсимову, что есть на свете Настасья, как есть и совместная их дочка.

15

Так само собой и вышло: когда Аграсимов видел Илью, то прежде вспоминал Настасью и неведомую ему дочку Лидочку. Ничего такого с ним раньше и не бывало. Поначалу Аграсимов и Илья встречались возле канав, бугров и у столовки, обменивались обезличенными словами: как там да что там? Спрашивал только Аграсимов: ему так положено по должности. Отвечал Илья в такой же беспредметной форме: ничего и как следует быть.

Потом пришла конкретность: как Настасья? «Настасье почему не жить? — отвечивал Илья, — живет у меня в домишке, хозяйничает». «А Лидочка?» — любопытствовал Аграсимов. Лидочка-де растет помаленьку, веселенькая стала, даже песни поет, бывает.

От Настасьи тех разговоров Илья не таил, передавал слово в слово. Она разузнавала подробности, переспрашивала, хотела услышать, какой-то ныне Аграсимов.

Как перевелся Илья на гору, так что ни день — говори Настасье все. Для нее вечерние беседы про Аграсимова стали лекарством. Чуть ей плохо, Илья с рассказами, и оживает баба. Илью это не тревожило.

Не углядел он ничего для себя плохого и когда однажды Настасья рано утром стала одевать Лидочку на выход.

— Куда ты ее?— только и спросил.

— С тобой поедет, зачем ей все только дома сидеть?— ответила Настасья.

Он не воспротивился, даже одобрил Настасьину затею:

— Пускай, пускай. Я лошадь запрягу и мигом за Лидочкой обернусь.

Телегу он подогнал, когда девочка в ожидании стояла на крыльце, одетая не так богато, даже бедно, но тепло — по сырой осенней поре. И была она заспанная от ранней побудки.

— К реке поедем?

— Поедем туда, где ты и разочку не была,— сказал Илья, радуясь в душе присутствию Лидочки.

Та же радость передалась и Сорванцу: он чересчур резво взял с места и побежал.

На уличном свету Илья лишний раз убедился, как Лидочка похожа на Аграсимова. Мерин вымахал на гору и потащился привычным шагом. Не было конца Лидочкиным восторгам:

— А это что? А там?

У дощатой будки Илья погрузил на телегу две связки рогожных мешков. Возле кирпичного склада женщины накидали в них рыбных консервов. Когда немного отъехали, встретился Аграсимов. На этот раз он Илью не окликнул, как и Илья ему не сказал ни слова. Лишь долго Аграсимов загадочно глядел на девочку, глядел даже тогда, когда личика ее не мог видеть. Позвал:

— Лидочка!

Она в испуге повисла у Ильи на шее, и он позволил ей так и ехать в обнимку.

На вагонном столике тихо и ясно пел транзистор: «...Буду до ночной звезды лодку мастерить себе...»

За окном проносились леса — березовые, сосновые; проносились огни — зеленые, белые, красные; проносились желтые будки, черные столбы, высокие облака... Побудешь считанные дни на новом месте, зная лишь одну непрерывную работу, и опять в вагон. А куда, узнаешь лишь в тот день, когда уезжать. Не в крови ли дорожный зуд, как, например, у грачей? Не пора ли ему, Николаю Алексопулову, жить оседло — у моря, под крышей материнского дома?

— Алексопулов!

Он как оглох.

Мать в каждом письме зовет его. Он не смеет отказать, но приезжает домой лишь изредка, перевести дух.

— Сюда, Алексопулов!

Неустроенный ремонтный люд. Домны в Маргуполе и в Нижнем Тагиле, в Кузнецке и в Череповце.

— Брезгуешь, начальник, ага?

— А что, и точно, брезгует! Раньше не брезговал. Заелся! Вот он какой!

Горячие пальцы нахально ползут за ворот рубахи. Знакомые повадки!

— Ванадзе?! Руки распустил, сядь!

— Ха! Разве он не сидит?— А это уже в поддержку тому самому Ванадзе.

Скрестились две пары черных глаз. Только у Серго Ванадзе они с зеленоватым сердитым подцветом. И усы у него кончаются острием, будто заточены для укола.

— Мало-мало гулять будем, с утра варить железо

будем,— твердил ошалело Ванадзе.— Приказывать не будем. Приказывать завтра. Как глядишь, начальник, ну?

Он припал к Алексопулову гибким телом, но тот отпихнул. Ванадзе навалился с другого бока:

— Гулять будем!

Алексопулов опять отпихнул — чего ему стоило отпихнуть? Ванадзе вспылil, по-кошачьи мягко отпрянул к столу, за которым сидело четверо.

— Поч-чему не идет начальник? Сердится, да? Поч-чему он все одын да одын? Вай!

Круглолицый важничающий юнец Капиев тоскливо поглядел на Алексопулова:

— Уважь, товаришш. Свой доска будь, товаришш. Просим, просим!

Но и тут Алексопулов не стронулся с места. Рыжев-ватый щеголь Аркадий Полусветов с показной ленцой взял стакан и буркнул:

— Чужой Алексопулов, верно.— Отпив малость, пер-ревел дух.— Но его ни словом, ни кулаками не оби-жать. Поняли? Его обидеть, все равно что меня обидеть. А обид я не прощаю. Дошло? Так вот, у меня скоро свиданье со своими предками. Откололся я от них.

— О, радости!— воскликнул Капиев, закатив плу-товские глаза.— Отец, мать, о, радость.

— Постель, все такое,— похвалился Полусветов.— Словом, я дома на печке.

— Аха, дома, дома,— тряхнул головою Ванадзе.— Далекий мой дом. Мой дом Шамшири. Горы, долины, ущелье. И в ущелье солнце. Свет, вай!

— Зачем же ты удрал из Шамшири?— недоуменно спросил Полусветов.— Сидел бы.

— Э-э, грех говорить! Ты не сидел, начальник не сидел, никто не сидел.— Ванадзе кинул чужой взгляд на Алексопулова.— И этот... Капиев не сидел, а я си-дел. Нет! Я ездить, я варить железо, я...

Все Алексопулов пропускал. Недовольства, колкости, даже явные обиды его давно не больно трогали — ребя-та тешились как бы между делом, без зла. Они вот так же и друг дружку щиплют, и ничего. Вот эти четверо ездки зеленые, потому и угощают его. Алексопулова угощать не надо: захочет, сам нальет — он не гордец и не трезвенник.

В своем селе Марийке он всегда бывал поздней осе-

нью, когда к сумеркам разъяснялось небо и с моря постоянно дуло. В низкое небо вонзались тополя. Жестко шуршали виноградники. Алексопулов часами бродил по остывающему прибрежному песку и тосковал. В Марийке у него было много старых друзей, был простор, было тепло и сытно, было все для жизни, а он не мог пробыть лишнего дня. Мать провожала его к пристани, и он плыл катером до Новороссийска. Алексопулов помнит мать молодой и красивой. Она и теперь еще, в старости, по-особому красива. А потом она сдержанна и величава. Величие у нее в каждом шаге, в каждом движении. Она никогда не говорила ему о греческой земле — о земле своих предков: мать, как и он сам, не видела той земли, как не видели ее ни нынешние, ни давно умершие жители Марийки. Однако Алексопулов рисовал мысленно ту далекую землю. Солнечная, каменистая земля...

Час от часу все ближе горячая работа. И то там, то здесь затевают разговор о ней.

— Все, все я умею, но Алексопулов скупится, не всегда дает мне то, чего прошу.

— Всякому давать только по хотению, куда придем?

В крайнем к двери купе пели, выходило нескладно, дико, разлаженно: «И ветры в дебрях...»

Проводница — крупная, чинная — подала Алексопулову счет и осведомилась:

— Сразу уплатите за разбитое стекло? Двадцать один рубль тридцать копеек.

Кошельком трясти он не привык:

— Многовато.

Нашелся повод обсудить совместно.

— Да мы ж ненарочно.

— Не плати, старшой, столько.

— По суду взыщут, — пригрозила проводница.

Помнит Алексопулов, как бывало по суду... Ехали когда-то вот так же и по бесшабашности хрюснули полку — выкладывай, старший, едва не сотню. Он поспешил, не выложил. Через малое время в контору поступили бумаги, а его первого за шиворот: куда глядел? Почему неизвестен виновник? Может, Алексопулов потворствовал? Избавиться бы от буйства, от взаимных подозрений, но в кочевье много встреч, обид, расставаний, взлетов, падений. Не обойтись без постоянной езды — раскиданы по земле домны. Нет ремонта в Липец-

ке, лети аж на Урал, оттуда в Тулу или в Череповец.

— Что ж, дело ясное,— рассудил Алексопулов, вытаскивая деньги.— А с виноватых получим, эх, получим!

— Горсть волос,— нахально подморгнул Полусветов.

— Почему горсть?

— Виноватых нет, нету их!— дурашливо распростер руки Полусветов.

— Плохие люди, мерзкие люди, вай!— весь содрогнулся Ванадзе.— Заставлять не ездить, заставлять далеко ходить.

Это он в назидание тем, кто провинился.

Колеса грохали.

2

А город ждал прибавления. Конечно, не весь город и даже не заметная часть его, а только крохотный окраинный уголок неподалеку от старого городского парка. Как раз тут была кривая тесная улочка с несколькими давнишними домами, которые охотно принимали всех приезжих на малое время. Тут не было дворов и подъездов. Не было арок, белых фонарных столбов, не было не только ресторанов, но даже простеньких буфетов, а были одни дома с хлопающими дверями прямо с улицы. Алексопулов не бывал в этом городе и ничуть не знал его, но чутье подсказало, что попали они как раз верно.

— Нет музыки, Алексопулов, почему?— серьезно спросил Ванадзе, волоча свой роскошный, тяжелый, как бы заполненный камнями чемодан.

— Ему, слышь, музык!— выпучил глаза Капиев.— Ему веселый музык, бог мой!

— Разве мы это... все плохие?— обернулся к нему Ванадзе.— Ах-ах, есть у нас плохие, есть!

Он опять содрогнулся, как в вагоне.

— У нас музыка при деле,— солидно, тоном заправского хозяина, пояснил Аркадий Полусветов.

— Ага, ваша здешняя музыка только плачет, когда покойник,— вмешался седой тощий дядя по фамилии Кобчин, которого неизменно и давно звали Копчиком.

— Да, Копчик, наша музыка плачет, когда покойник,— кивнул Полусветов.— Может, когда-то и над тобой ей придется пролить слезы. Был Копчик, честный трудяга, и нет его.

Копчик обиженно хмыкнул.

Мало-помалу терялась надежда, что их кто-то встретит и приведет на место: иногда так бывало. Шли вразброд. Где серединой улицы, где обочиной. Где густо — семеро, а где двое-трое. Хмель успел выветриться, и шли вяло, в угрюмой сосредоточенности. Утро было осеннее с низовым сырым ветром. Дыхание рождало облака белого пара.

— Це-це-це... — на ходу манерно, по-птичьи, прищелкивал языком Ванадзе.

Полусветова подтолкнуло к шагавшему особняком Алексопулову.

— Домой позволь. Может, и тебе бы к нам на ночевку. Тесновато, да все лучше, чем там, в куче.

— Нет-нет, что ты, — отмахнулся рукою Алексопулов. — Где все, там и я. Знаешь ведь. Иди, но помни: завтра...

— Еще бы не помнить! Да-да, завтра аккуратно. У меня ж здесь, старшой, все как на ладони. Весь город знаю и меня все знают. Мальчики, девочки.

— Ах-ах, девочки! — тоненько проскулил Ванадзе и даже присел до земли. — С тобой бы, друг, а?

— Тебе со мной?!

Повернув к проулку, Полусветов постоял с прощально поднятыми руками и скрылся за строениями. Алексопулов ощутил облегчение: одним заводилой меньше. Всегда Полусветов сунется, всюду пойдет всем наперекор, кого-то глубоко обидит, кого-то вконец разозлит. Вольница. Впрочем, Алексопулов когда-то и сам был такой. Сперва прозвали его Греком. Вон Николаус Грек идет. Все только Грек, Грек.

— И конца нет. Может, не туда идем? — беспокоился передний.

— Идем, куда надо, — уверил Копчик. — Места мне знакомые.

Из окраинного дома в алой широкой юбке, в нарядной кофте выкатилась полная женщина и, скрестив на высокой груди руки, уставилась туда, откуда подходили приезжие.

— Сердешные, сердешные, — первое, что услышал от нее Алексопулов еще издали.

Куда только не приходилось, на памяти Алексопулова, вселяться кочевой братии: в огромные каменные дома, где каждому давалась железная, иногда даже де-

ревянная, койка с белоснежными принадлежностями; в степные глинобитные лачуги; в лесные шалаши; в сельские избы; в брезентовые палатки... Сияющий мириадами огней город, неоглядная пустынная равнина, нетронутая тайга. Живи, Алексопулов, живите, приезжие! Живите, понятно, для дела. В одном месте тебя ждали, в другом ты свалился как снег на голову, в третьем принимали ни жарко, ни холодно, в четвертом с опаской. Но чтоб сочувствовать и жалеть, как вот тут? Нет-нет, такого никогда не бывало.

А нарядная твердила:

— Сердешные...

— Едва Алексопулов приблизился к ней, она потянулась обняться. Глаза у нее и верно были полны сострадания.

— Ехали, ехали, устаешь в дороге,— сказал Алексопулов.

— Ой, тоже, бывает, ездим и не спим. Мыкаетесь, неприкаянные головы. Где поел, где голодом.

— Мы-то неприкаянные?— деланно усмехнулся Алексопулов.— Нет, у нас строго.

— Не притворялись бы хоть! Известны ваши строгости, не первых перелетных вижу. Нет за вами присмотру— неприкаянные, с бору да с сосенки, журавли-лебеди.

Встреча с «неприкаянными» так тронула добрую женщину, что она, казалось, заплачет. Алексопулов опять вспомнил, что подобного никогда не бывало.

Вразвалку подступил мрачноватый Ванадзе, учтиво склонил свою черную голову:

— Привэ-эт!

Женщина почему-то мигом повеселела:

— Вот он, неприкаянный! Чисто неприкаянный!

Ванадзе торопливо ощупал себя:

— Чего?! Не-не-не дури мне голову.

Подошел помятый Капиев.

— И этот такой,— определила женщина.

— Я?!— сжался и без того маленький Капиев.

— Неприкаянный.

— Во, я такой,— неожиданно согласился Капиев.— Мене барышень не уважает, а я хочу уважать. Хо-хо...

— Тебя должны уважать барышни?— изумился подошедший длинный Копчик.— И ты не шутишь? Да за что уважать-то, бог мой? За что?

Капиев крутнул головой:

— Ты старый, Копчик, я молодой. У тебя нет душа, у меня есть. Слышишь? Душа...

Возле дома на примятой и отстоявшей свой срок траве приехавшие образовали толпу. Ждать больше нечего, надо добиваться самим. Алексопулов первым шагнул к двери, за ним, толкаясь и неясно матерясь, тронулись все. В светлом коридоре Алексопулов требовательно сказал знакомой женщине:

— Перейдем к делу. Дайте нам все: теплые комнаты, кровати, одеяла, столы, посуду. Мы собираемся здесь жить, и дайте нам все!

Его требования никогда не были чрезмерными. При очередном вселении он сам перебирал наволочки, считал кружки, веники, графины, ложки. То была аккуратность, пришедшая с опытом.

Дайте нам все... Женщина поняла его по-своему.

— У нас тепло, живите на здоровье.

— Нет, дайте нам все!

— Что же вы еще хотите? Я запишу.

Коридор шумел. Чемоданы, рюкзаки, ножи, бритвы, мыло... Всюду мигом обшарено.

— Братва, мухи, брр...

— Лишь бы не клопы.

Алексопулов распорядителем носился из комнаты в комнату. Казалось, он забыл, что ведь и ему понадобится где-то спать. Комнаты были как на подбор — все одинаковые: белые, с низкими потолками, каждая с двумя окошками, упирающимися в дощатый плотный забор. Четыре железные кровати с тощими соломенными матрацами и жиденькими подушками. Четыре табуретки. Живи, братва!

Ванадзе водил Капиева по коридору под руку и ныл:

— Дэнги нет, вино нет, музык нет... Ничего нет.

Настроение у впечатлительного Ванадзе менялось несчетно раз на дню: то он горд, самолюбив, неприступен, а то слаб, мягок и даже угодлив. То молчалив, а то каждому готов многословно жаловаться на свою плохо складывающуюся жизнь. Зная его слабость, ему иногда напоминали про Шамшири. Он закатывал глаза, опускал руки себе на грудь и, раскачиваясь всем телом, произносил в сладостном забытии: ах, Шамшири... Что гоняло его по вольному свету, если есть где-то родное

Шамшири, никто не знал, а спросить было некому — и каждый ездил. С Капиевым связывало его... Впрочем, ничто их не связывало — вздорили они никак не меньше, чем дружили.

И тут, когда сердобольный Капиев, достаточно наслушавшись товарищей и наглядевшись, хотел отойти, чтобы устроиться на жительство, Ванадзе яро воспротивился. А задержать ему слабосильного Капиева ничего не стоило.

— Пэжать, пэжать? Нет, стой и слушай!— Ванадзе привалил Капиева к стене и держал руками.

— Мой комнат, мой комнат,— умолял Капиев.— Плохой кровать, плохой одеял, все плохой, негодный. Как жить?

— Тебя обидают? Никто, Капиев! Понял? Никто! Будет твой место. Клятва!

Однако Капиев не поверил всемогуществу Ванадзе и стал биться изо всех сил. Кончилось тем, что он каким-то чудом вырвался и живо юркнул за дверь в комнату. Ванадзе не примирился с бегством, пригрозил в сердцах:

— Ух, Капиев!

Из всех один Копчик, наспех сделав постель, не стал ждать общего отдыха — вытянулся на кровати первый. Его маленькое одутловатое от долгого вагонного сна личико выражало умиление: вот-де как мало требуется простому человеку — выпить, поесть досыта и поспать. Зайдя к себе в комнату тотчас после разговора с Капиевым, Ванадзе обнаружил беспорядок — почему один уже дрыхнет, а другим работа?

— Копчик, ты это... дрянь.

Тот вздрогнул и неприязненно скосил глаза:

— Прибавь, ну!

Однако Ванадзе не прибавил, и Копчик удержался от ответной ругани.

То был особенный работяга-одиночка, переезжавший с места на место, как он уверял, «по причине вечно горящего огня мщения». Когда-то, очень давно, отец его, почтенный городской человек, хирург, сбежал от семьи. Сбежал тайно, трусливо. Именно тогда у болезненного мальчишки надломилась жизнь. Очертя голову он ринулся странствовать — от любящей его без ума матери, от братьев, от сестер. Из шестерых он удался один такой. Намерения у него были самые земные: вдоволь на-

скитаться, наглядеться всего и в конце концов осесть вдали от своего города. Все годы, до самой кончины, мать ждала его, а один из братьев — интеллигентный осанистый Вадим — умудрился найти его. Они встретились в Туле, в вестибюле гостиницы, и Вадим долго и нудно втолковывал брату, как большому ребенку, что осознать самого себя никогда не поздно.

Однажды, лет пять назад, Копчик пытался прижиться в приглянувшемся ему волжском уютном городке. Простор, вода, крутые откосы, оседлая жизнь. После недельного аврала Алексопулов собирал своих в отъезд. Копчик каждому мямлял руку и самодовольно говорил:

— У меня, понимаешь ли, поворот. Когда-то так или иначе приходит.

А поворот ему был навязан местной оборотистой бабенкой, сумевшей, как ей казалось, укротить диковатого упрямого козла. Однако оседлый рай не по душе пришелся Копчику и он через малое время догнал своих на перепутье. Ему в глаза лепили насчет минувшего «медового месяца», пуховых перин, жарких ночей, но Копчик лишь молча ухмылялся. Алексопулов взял его без слова — таких можно брать.

Ванадзе не отстал, опять очутился возле Копчика:

— Лежать? Зачем лежать?

Тот страдальчески сморщился:

— Уйди. Ванадзе, добром прошу! Завтра пойдешь железо варить и меня тащи. А то усну как умру.

Подобред Ванадзе, осклабился:

— Варить, вай!

Ему не терпелось это — варить.

В дверь заглянул Капиев. Увидев Ванадзе, хотел скрыться, да поздно. Ванадзе облапил его и ввел за руку в комнату.

— Слушай, Капиев, думаешь, поколочу? Не-ет! Гляди на моего друга, Копчик. Спишь, Копчик?

И точно, он спал. Везде затихало.

С каких-то пор Алексопулов стал замечать в своем поведении двойственность. В будничный день с людьми он подчеркнуто суховат, официален, порой даже резок. Но наедине с самим собой тих и робок. И эти столь

противоположные по духу качества не воевали меж собой, а смыкались в одно целое. По прибытии он бы мог не мыкаться туда-сюда по мелочам, засел бы за чертежи — инженер же он, черт возьми! Только на кого переложить беготню: на Ванадзе, на Копчика? И думать нечего переложить.

Минувшей весной Алексопулову стукнуло тридцать пять. Один он знал в тот день, что ему уже тридцать пять — никакого праздника, работа. Тридцать пять — это много, очень много, по крайней мере, он был уверен, что это очень много. И дело тут не только в череде лет. Год назад он обнаружил у себя в смоляных волосах первые седины, а теперь их не пересчитать. Лицо его потеряло юношескую свежесть, стало вяловатым и пестрым. Это могло быть и от возраста и оттого еще, что Алексопулов день-деньской не видит помещения: все только солнце, обжигающий ветер, дождь... Алексопулов чудной, и многие в ремонтном управлении, где он работает, ему лепят в глаза, что он чудной. Контора управления издавна обосновалась в тихом городке, где никогда не было и нет домен. Алексопулов бывает здесь раз в месяц: отчитывается, принимает упреки, берет задания. Иногда его тут похваляют. Начальник, толстенький косоглазый Михал Михалыч Хлычев, при каждом свидании предостерегает:

— Не очень вольничай, Алексопулов, ты меня понял?

И глядит на подопечного с недоверием, будто тот сильно провинился. Однако Хлычев был уже тем хорош, что не наступал Алексопулову на пятки — контору предпочитал разъездам. Излишняя самостоятельность хотя несколько и баловала Алексопулова, но ничуть не расслабляла.

Приехавшие давно рассыпались по комнатам, насиделись. Кое-кто подремал, а Алексопулов не отдохнул ни минуты.

Вдруг весь дом всколыхнулся. Как в улье: ж-ж-ж... Однако пока не разобрать ни слова.

А вот и слова:

— Старшого за бока, братишки, пускай растолкует, что почем. Привык втихомолку.

— Старшо-ого!

— Привез, говори... Ишь, спрятался!

Чудаки! Да разве Алексопулов прятался? И всюду топот: в комнатах, в коридоре, в курилке. Вернулись с улицы, поднялись с постели. И все на ногах.

— Нам бы...

Не на шутку всполошилась сердобольная начальница:

— Что с ними, Алексопулов, чего они хотят?— Она назвала его, как все, по фамилии.

Он угадывал, что сейчас будет. Такое завелось не сегодня и не вчера: перед тем как завтра рано утром выйти на место и взяться за дело, народ хочет разведать. Разведывать будто и нечего, все привычно и знакомо — обязанности, сроки, плата,—но лишний разок не мешает растревожить начальство. Мало чего скажет Алексопулов. Народ завтра преобразится: одежда у всех будет одинаковая — казенная. Только работа разная.

В коридоре, в непоказанном месте, кто-то упрямо, с вызовом, чадит папироской. Кто-то пробкой застрял в дверях — ни туда, ни сюда. Нетерпеливый Ванадзе то зайдет в комнату, то выйдет, как бы чего-то ищет. Горбатый нос его стал еще внушительнее, а черные усы пуще заострились:

— Це-це-це...

Капиев тенью бродил за ним и успокоительно повторял:

— Зачем нам Алексопулов? Разве ты не видишь, у него дела? Зачем, скажи, кацо?

Оборачиваясь, Ванадзе грозно буркал:

— На ручки его, да? Качать, ага?

— Алексопулов ха-ароший человек, ах, какой ха-ароший он человек!

Копчику бы и не вставать — сон лишь разморил его. Но при общей суматохе даже и он приподнялся и сонно поводил мутными глазами. Физически Копчик страдал, немолодое тело его болело с головы до пяток. Однако не улежать.

— Ой-ой-ха...

Каким-то нюхом о кутерьме учуял Полусветов и оказался на месте в самом начале ее. Примчался он франтом — в шляпе с бордовой лентой, в зеленом атласном пиджаке, в остроносых блестящих ботинках. Встречали его где насмешками, а где неприкрыто завистливо.

— Так я же, друзья мои, дома, у мамоньки и у папоньки,— похвалялся он, шастая из комнаты в комнату.— Недолго только жить так-то.

Встревоженно прохаживаясь по одной и той же коридорной половице, Алексопулов обдумывал, что ответить. Начало работы ему известно досконально. Домну с ее трубами, каменным нутром и стальным кожухом, с ее лестницами, площадками, скрытыми и явными опасностями он обшарит с закрытыми глазами. Таких начал, какое ожидается завтра, в его жизни было не один десяток. Утром он скажет, куда какой бригаде пойти, где ковырнуть кирпич, чтобы как по швам поползла кладка. Он определит, что сварить Ванадзе, где примоститься со своею лебедкой Капиеву, какие подкрутить винты слесарю Брындину и на какие леса взойти Кобчину. С этими рассусоливать не придется—они возьмутся сразу. Как всегда неясно лишь с Любой Гайко. Она будет проситься на самый верх, это уже как пить дать—ей, видите ли, оттуда далеко видно... Ночлег у всех есть, на повестке иное.

Кругом смеялись, поругивались. Люба Гайко ото всех особняком—далеко от Алексопулова, на подоконнике. Эта ни спрашивать, ни говорить не будет, только глазеть.

— Значит, так-то, Алексопулов, наш Николай свет Никандрыч, летели мы, летели и прилетели,— силпо первым начал Копчик, облизывая нижнюю мокрую губу.— Картина, в общем, нам знакомая, а ты ее поднови, чтоб виднее была.

— Во! Поднови, Алексопулов!— вскрикнул парень в желтой фартовой кофте.

— Нам про дэло и про дэнги, про дэло и про дэнги!— осмелев, выдохнул сидящий на полу Капиев.

«Ладно, мужики помнят дело»,— подумал Алексопулов.

— Может, сперва про деньги?

Спорили, гоготали. Что пересилит—дело или деньги? Но пускай буйствуют: сколько ни буйствуй, а конечное слово за Алексопуловым:

— Сперва дело. Домну погасят на самое малое время. Что ни час, потери. Словом, деньги надо заработать!

Последовал невообразимый гвалт.

— Слышь, что он сказал? Деньги надо заработать.

И сперва надо видеть дело. Будто мы дела не видим, а зарабатывать не умеем. Обидно слушать!

— Все мы умеем!

— Куда бы ни приехали, везде умели. Сумеем и здесь, еще как сумеем!

Они хвалили самих себя. Они бахвалились как нигде раньше. Алексопулов ждал тишины. Он все сильнее возбуждался, но хотел скрыть это. Вот они какие! Походите, Алексопулов оценит каждого на новом месте. Увидит, какой Копчик, какой ты, Брындин... Как расходились! Войдут в раж, и посильней навалятся на Алексопулова. Конечно же, и тут не будет хватать людей, как не хватало всюду, где приходилось бывать Алексопулову раньше. И на них, его людей, ляжет груз потяжелее. А значит, и дело выиграет, и заплатят побольше. Обещай это теперь Алексопулов, и сомнения улягутся. Но он не привык обещать. На его памяти бывало всякое: посулят горы, и дадут...

— Побывал ли, Алексопулов, на месте?

Копчик знал, о чем спрашивал: «место» — это у начальства, которое дает работу. Бросив иные дела, Алексопулов мог бы побывать, но намеренно не побывал: пусть само начальство придет. Оно придет, если позарез нужны люди.

— Алексопулов там не был, он не был,—заорало одновременно несколько глоток.— Он трус, Алексопулов.

— Трус!

Нападки он испытал несчетно раз. Люди будут роптать, негодовать, надсмехаться, пока Алексопулов, подыскав резоны, не успокоит.

Мало-помалу стихало, но тут бритоголовый Пиров подлил масла в огонь:

— А что народ-люди, разве на том и баста? Алексопулов только общие слова просыпал. Да ты нам точно, как на ладони, выложи, а мы сами по-своему взвесим.

И он, будто кладя на весы, потряс ручищами.

— Во, мы взвесим!—заорали вокруг.

Брожение охватило всех, даже явных меланхоликов. Алексопулов не боялся шуму: потешатся, а с утра выйдут.

Задели любимчиков:

— Знаем, у старшего любимчики! Он опять подсунет им выгодную работку!

— Он и раньше всегда подсовывал.

Алексопулов не стерпел:

— Напраслина! Не было!

— Долой любимчиков!— выкрикнул в запальчивости слесарь Брындин.

— Нет уж, давайте начистоту!— ершился Алексопулов.— Кто они, мои любимчики?

Переглядывались, шептались, однако назвать не могли целую минуту. Наконец попалась кому-то на язык Люба Гайко:

— Скажешь, не так, старшой?

Ага, заподозрили, что Алексопулов в нее влюбился. Влюбился в тихое, незаметное создание. Да как он посмел? В Любку Гайко! Пара ли он ей? Чепуха! Но поверили.

Ванадзе тоже поверил и сердито вертел лохматой башкой. Подбежав к Алексопулову, панически выкрикнул:

— Горым!

Люба Гайко в слезах скрылась, Алексопулов по-мальчишески покраснел. И все убедились, что Ванадзе попал в самую точку. И не будешь его ругать— Алексопулов сам себя выдал. Откуда к ним пристала Люба? То было на какой-то лесной станции. Поезд должен был с минуты на минуту показаться, чемоданы в руках, перрон наводнен народом. И тут она— безо всего, как на прогулке, в одной юбчонке.

— Здесь я одна, с вами бы хоть куда.

И она поехала...

Спустя полчаса, как разбредись по комнатам, Алексопулов стоял в коридоре у окна. Белые облака на его глазах захватывали все небо. По горизонту скользило розовое заводское пламя. Неловкость не покидала Алексопулова, будто он нечаянно обидел кого-то и не знает, как загладить вину. Особенности—тяжкие—обязанности лежали на нем. Всякая мускульная работа, например, беготня по работе, споры с начальством,— а это он тоже всерьез относил к мускульной работе,— все было пустяком в сравнении с постоянными душевными неурядицами, с неустроенностью. Почему он не женится и всерьез даже никогда не думал о женитьбе? Зачем он, нередко скрепя сердце, выслушивает наскоки подчиненных? Алексопулову давно и постоянно не хватало отца. Он точно знает, что отец был огромный. Николенька,

еще малыш, повисал у него на шее, и они вдвоем неслись по морскому каменистому берегу к соснам. Внизу шуршали волны. Светящиеся брызги летели в небо. Что говорил отец, Алексопулов не запомнил, но говорил что-то хорошее, мягкое. А еще Алексопулов ясно видит широкий отцовский ремень и кожаную кобуру на нем.

А потом — скорбные материнские слова пронзили душу Николеньке:

— Его с нами никогда не будет.

— Почему не будет, мама? — спрашивал он, плача навзрыд.

— Не сумел выплыть, утонул.

Повзрослев, он не верил потере. Куда бы его ни забрасывало, он первым долгом искал отца. То был вечный поиск.

Сбоку прокрался Ванадзе и, коснувшись плеча Алексопулова, виновато сказал:

— Обида, начальник, да? Сердится, начальник? Зря, начальник. Дружба, во!

— Вас много, — отозвался Алексопулов.

— Аха, нас много, ты одын. Одному плохо. Нельзя, понимаешь, чтобы одын.

Учитель!

— Послушай, оставь меня в покое, Ванадзе!

— Нет, начальник.

Досада разжигала Алексопулова:

— Еще что?

— Любка у меня вот тут, — запальчиво объявил Ванадзе и ткнул себя кулаком в грудь — как раз напротив сердца.

— Пустое.

— Пустое?! Нишего? Грех тебе, начальник! Я не говорю, я кричу, слышишь? Люба, Люба... Ее нигде нет, она плачет, Алексопулов.

— Знаю, сам видел.

Когда Алексопулов зашел, она сидела на кровати, поджав под себя ноги. Плечики ее мелко сотрясались под ситцевой кофтой. Розовые пальцы теребили подол юбки. Уши краснели. Ему стало неловко, будто его захватили, когда он подсматривал чужие секреты.

— Что случилось, Люба?

— Николай Никандрыч, почему они так? — спросила она рвущимся голосом. — Почему они грубо о вас и обо мне? Что они видели, когда?

— Ничего они не видели, им пока скучно, и они развлекаются, как могут. Но завтра будет иначе — завтра им будет некогда.

Люба встала, почти успокоенная. Она была невысокая и беспомощная. Казалось, обидеть ее даже мухе ничего не стоит. Алексопулову пришло в голову, что у нее, как и у него, давно нет отца. Так она когда-то сказала, но Алексопулов пропустил мимо ушей.

Она взглянула на него снизу вверх:

— Если есть что стирать, несите.

— Что ты выдумала, Люба? — отозвался он с напускной строгостью. — Я и сам умею.

— Несите!

Она настаивала.

4

Был вечер, и землю укрывали теплые сумерки. Никто не показывался. Может, люди пожаловали раньше, чем надо, — бывает же, домну заставляют перед остановкой подышать еще денька два: чугун давай и давай! Или другие прибыли раньше и перехватили главные работы, а Алексопулов бери хвосты. Возьмешь остатки, ребята не промолчат. Было же прошлым летом, прилетели в Тулу к шапочному разбору. Хватало придирок и упреков. Алексопулов-де и самого простого не умеет. Но в конце концов работу им дали, а потом он отвоевал — вполне честно — для своих добавок.

Кто-то грузно зашел в коридор. Бабахнул начальственный голос:

— Могу я видеть Алексопулова? Кстати, верно ли я называю — Алексопулов?

Шаги слышались рядом, но Алексопулов себя не выдал. Другой бы встретил, рассыпался в любезностях: как же, пожаловал работодатель, так сказать, денежный мешок, от которого в конце-то концов зависят все, и Алексопулов тоже. А он не встретил. И поднялся лишь, когда гость заметил его. Алексопулов без труда узнал Бориса Корешкова. Того самого Бориса, который когда-то надоел Алексопулову своим нытьем. Когда же это было? А, пожалуй, уже годков восемь назад. По слухам, Корешков быстро пошел в гору. И вот он какой теперь, Боря Корешков! Важный, холеный, голова

вскинута — глядит, не видит. Алексопулов рядом не становись!

— Еду и думаю: Алексопулов, а какой же это Алексопулов? — рассуждал Корешков. — Да это вон кто, собственной персоной! Доволен я, вот так доволен! Значит, и директор будет доволен. Таких-то бы нам побольше, мы бы на целые сутки дому раньше распалили. И дело общее, ну и мое, понятно, личное сразу бы выгорело. В данный момент я целиком зависимый от тебя и от твоих молодцов.

По обязанности он подал Алексопулову руку, а тот еще раздумывал, взять ее или не взять. Корешков же любовался своею повисшей белой рукой. Спрятал руку за спину, когда понял, что Алексопулов и не подумает ее пожать.

Для него-то никакая не редкость встретить еще одного прежнего знакомого: много их осело там и тут. Поезды, помотаются, и рады осесть. У Корешкова редкие русые волосы и совершенно короткий нос — две дырки. Подбородок от полноты успел раздвоиться. Лицо пышное, белое, как свежий пшеничный хлеб. Никаких следов былого кочевья.

— Там мы нужны или не нужны? — независимо спросил Алексопулов.

— Он, видите ли, не знает, нужны или не нужны! — весело воскликнул Корешков. — Впрочем, народцу, между нами говоря, хватает — уральцы, мариупольцы... Но я только пробежал глазами телеграмму от вашего Михал Михалыча, что будет сам Алексопулов, знаменитый мастер, так сразу позаботился. А прибыл ты, поймей в виду, последний. Жаль, конечно. Но я всегда помню наше совместное житье, нашу, как говорится, боевую молодость. Ты и тогда стоял на той же высоте, что и теперь. Изумительное постоянство! Ну, а я, если не забыл, пребывал в ту пору в каменщиках, подумать только! Непременно побывай у меня дома. С делом покончим, и побывай. Все на месте: любящая супруга, двое деток, квартира, машина, и прочее. Посидим, отвлечемся от суеты. А ты неужели по-прежнему один? Вот образец прирожденного скитальца! Между прочим, я поберег для тебя солидный кусок, Алексопулов, только меня выручи.

Казалось, Корешков по-отечески так и ахнет Алексопулова по плечу.

— Зря поберег — те, кто раньше прибыл, завидовать будут.

На ясное лицо Корешкова напоззло темное облачко:

— Брось! Помнится, ты и раньше был такой: хватал работу без выбора. Недовольных твоей тактикой много было — трещали заработки. Если дают, не жмись: все равно кого-то и эта работенка не обойдет. Управишься, еще получишь. За добро плачу добром! Только так.

— Наш район?

— Колошник, фурменный пояс и нагреватели. Твою стихию всегда помню. Согласовали?

— Домна уже?

— Да, в режиме охлаждения, — кивнул Корешков. — К утру принимай, Никандрыч, свои зоны, и сразу чтоб дым столбом.

— Так ты что же, начальник ремонта?! — изумился Алексопулов.

— Угадал. А по-твоему, не созрел?

Корешков любовался, что он все вправе: погасить домну, принять или не принять людей, дать или не дать выгодную работу. Он все может! Во всем этом — в некотором высокомерии, в манере говорить, в начальственных жестах, в приглашении посетить семью — Алексопулов угадывал еще и другое: Корешков хотел показать, как он успешен и как не успешен Алексопулов.

— Сколько привез народу? — поинтересовался Корешков.

— Сколько возил лет десяток назад, столько и теперь.

— Восхищаюсь, ты начисто лишен зависти, тщеславия. Вот она, жизнь мастера своего дела! И все же... Если вспомнить, ты учил меня уму-разуму. А я что тогда говорил?

— Да все только слушаюсь, слушаюсь, слушаюсь. — Как мог, Алексопулов скопировал ужимки того, прежнего, Корешкова.

Оба засмеялись — Корешков принужденно, вяло, Алексопулов от души. Ощущение зависимости от Корешкова, хотя бы частичной и временной, было неприятно Алексопулову.

— Теперь иначе, — погордился Корешков.

— Надеешься, я тебе: слушаюсь, слушаюсь, слушаюсь?

— Это еще зачем?

В комнатах пронюхали о прибытии заводского начальства. Ванадзе показался первый. Полуголый, только в брюках, он, как видно, успел подремать.

— О, начальник!— спел он восторженно и почесал нос.

— У тебя дело, Ванадзе?— спросил Алексопулов.

— О, начальник, привэ-эт тебе, самый высокий начальник.— Ванадзе склонил низко голову.

А у него за спиной чернела голова Капиева и блестяли его любопытные глаза.

— Ванадзе, ты мешаешь,— одернул Алексопулов.

— Скажи, Капиев, мы это... мешать?— огорчился Ванадзе.

— Нет, кацо.

— Вижу, новички,— сказал Корешков и спросил у Алексопулова:— Что же им от меня надо?

— Начальник спрашивает у нашего старшего, что нам надо,— разочарованно проговорил Ванадзе.— Да ты бы у нас и спросил, самый высокий начальник, у нас бы!

Уходя, Ванадзе ворчал.

5

Бегом, бегом, бегом! Захватывало дух, болели ноги в коленках, мешал встречный ветер, а они упрямо неслись изо всех сил туда, где черная домна, похожая издали на огромный кувшин, утыкалась своею вершиной в облака. Было глухо с утра. Город еще весь не проснулся, а проснулся одним глазом — главной улицей, по которой к той же домне мчались грузовики. В кузовах краснели кирпичи, звенело железо, на скамьях сидели люди в красных и желтых пластмассовых шлемах. Смешные высокие тракторы тянули сразу два, и то и три прицепа с песком и досками. И все только — у-у-у...

Бегом, бегом... В голове колонны летел Ванадзе. Шаг у него крупный, руки полусогнуты в локтях, как у марафонца в разгар бега, на смуглом лице застыло одно: только вовремя, только занять место первому. Запыхавшийся коротконогий Капиев еле поспевал за ним.

— Зачем тебе, Капиев, эта зеленый крыш?— с подвохом спросил Ванадзе, кивком головы показывая на шлем.— Ага, не знаешь?! Да чтоб твой дурацкий голо-

ву не развалило кирпичом, а только бы мало-мало это... тронуло.

Юнец не обиделся, лишь воскликнул осуждающе:

— О, Ванадзе, о, кацо!

Пожилой Копчик тоже бы хотел бежать, но его натруженные, немало походившие на веку ноги сдали на первых же метрах. Пора бы ему нырнуть на главную улицу, туда, где у Ванадзе только еще прибавилось резвости, как силы иссякли. Правда, Копчик не упал духом: хватит и ему работы. Но все же заявиться последним хорошего мало. Гляди, Брындин как размахался, а помоложе Копчика и всего-то на каких-то два года. Даже Любка Гайко, и та ловко сучит ногами, а он, Копчик, плетется, будто ему и торопиться ни к чему. И это в первый же день, в первый же час! Что подумает Алексопулов? Подумает: не зря Копчик накануне колкие вопросы кидал. Алексопулов тут где-то — наблюдает. Может, и тот, вчерашний начальник с бабьим лицом, тоже встал пораньше и подсматривает. Обо всех скажут: молодцы! Лишь о Копчике: ну, этому не привыкать тащиться последнему. И в отместку дадут самую пустую работку. А Копчику зачем пустая? Он и так обиженный, всю жизнь обиженный. Прежде всего он старше каждого тут годами, и ему бы никак не к лицу мыкаться с юнцами по свету. Ему бы куда-нибудь, где поудобней, ему бы на одном месте жить. Ну, хотя бы пастухом, что ли. А что, кроме смеха, пастухом. Поднялся бы на зорьке: «Эй, вы, милые...» Вечерком тебя каждая хозяйка к себе в дом тащит: «Иди-ка, дружок, молочка парного попей, чайку горяченького... Может, лучше маленькую на стол?» Королем бы ходил Копчик.

Собравшись с силами, он прибавил шагу, но догнать ему скрывшегося за деревьями и палисадами Ванадзе нечего было и думать. Копчик оглянулся, и у него екнуло в боку: за ним следом двигался сам Алексопулов.

— Ловко ты меня вчера поддел, Кобчин! Запел, и как запел!

Копчик нахохлился, будто ему под куртку хлестнул ледяной дождик.

— Было, Николай Никандрыч, было. Эх, да мало ли чего, бывает, несем. По себе знаешь, выпадают минуты, ничему не рад, всех бы крыл почем зря. Уж ты не zapomни.

— Нет, Кобчин, запомню!— без угрозы, но с острой сказал Алексопулов.

— Не запомни, Никандрыч,— взмолился Копчик, и его помятое лицо стало вовсе старым и горестным.— У меня ж, понимаешь, расходы. Думаешь, подкапливаю? Ни рублика не остается. Не запомни!

— Какой ты — и нашим, и вашим.

Откуда-то взялся Борис Корешков, будто нарочно ждал в стороне. Но то был не вчерашний, богато одетый Корешков, а словно другой кто. Только лицо его было вчерашнее, вполне удовлетворенное. А так он был заправский трудяга — в черной мешковатой несвежей куртке, в полотняных широченных штанах, в простецких ботинках. На голове алел пластмассовый шлем — тоже пожить охота. От бега, как видно, он отвык, и приостановил Алексопулова за руку.

— Эвона, как твои парни дружно поднялись! Всюду видна твоя умелая рука. Узнай отличную новость, Алексопулов. За каждый досрочный час против графика ремонта завод платит всем твоим сообща сверх наряда тысячу рублей, за десять досрочных — десять тысяч. Ну, а тебе персонально за десять досрочных пятьсот. Богато, а? И заметь, это не слова. Вот письменное обещание директора. Убедить его было не так просто, но я сумел.

И опять, как вчера, Алексопулов увидел в синих влажных глазах Корешкова самодовольство: мне, мол, даже и такое по плечу! Однако Алексопулов не выказал ни удивления, ни восторга — всюду и всегда так бывало: обскакал график, получай добавку. Но попробуй-ка обскачи! И все же Корешков подхлестнул: ноги сами понесли Алексопулова.

6

Копчик сидел на стальной балке привычно и ловко, как старый воробей на голой ветке. И головой вертел, как воробей. Все было видно внизу — кто куда отправился, кто чего несет, кто волнуит, а кто бьется изо всех сил. «Старайтесь, братцы!» — так и просится на язык Копчику. Ему время бы и самому стараться, но в черном бездонном чреве еще жар, еще широким синим огнем полыхает кратер, еще тащит оттуда гарью и серой. «А ведь и минувшей ночью плавил, хитрили», — дога-

дывается Копчик. Он уверен, без него никто не притронется к кладке — побоятся. Он один знает, где удобнее встать, как ловчее подсунуть пику пневмомолотка, куда откинуть обломки кирпичей. Начни как попало, и собьешься с ноги. Постой, и начальство придет, поторопит: нажми, товарищ Кобчин! Его так и назовут: «товарищ Кобчин», а уж никак ни Копчиком. Даже имя вспомнят: Алеша, Алеша... В праздностях, среди других, он незаметный, средний, а тут, наверху, ему цены нет.

Неподалеку, примостившись на раструбе, как в седле, брызгал слепящими искрами Ванадзе. В такой момент ему никто не мешай. Он бог огня и дыма. И Капиев не мешай. Но тот надрывает голосовые связки откуда-то снизу:

— Кац-цо, минута, кац-цо, минута!

Ванадзе и дела нет.

— Эй, Серго, рука у тебя, отсюда вижу, дрожит,— в шутку крикнул Копчик.

— ...уйт, а не дрожит,— выругался Ванадзе.— У тебя-то не дрожит, сидишь.

Народу везде полно, на всех этажах, на всех подмостях, полнодвигающихся вверх и вниз красных, зеленых, коричневых шлемов. Полно досок, кирпичей, ящиков, лебедок. Не счесть канатов. Всюду рыжая пыль висит в воздухе. Не понять Копчику, почему же в такой вот неразберихе под исход получается что надо? Уж сколько он видел в своей жизни домен, и всюду одно — сперва хаос, беспорядок, а прошли дни и ночи, и домна как новенькая, даже иногда и получше новенькой.

Вскарабкался по жидкой лесенке Алексопулов. Цепкости ему не занимать. Есть лестница, он по лестнице, нет — по балке всползет. С такой-то высоты ему были видны не только люди внизу, но и все окрест — река, леса, железная дорога, поля.

Недосуг любоваться, он к Копчику:

— Почему прохлаждаешься?

Копчик с достоинством мотнул головой на зияющий кратер: там ад, человеку не вытерпеть.

— Ну и хвастун Корешков! — подсадовал Алексопулов. — А сказал вчера: домна ждет.

— Он сказал, а ветерок подхватил его слова, и фьют, — ухмыльнулся Копчик. — У заводского начальства свое: как бы плавить и плавить.

Сверху Алексопулов увидел Корешкова — прогуливается чинно по земле.

— Борис, слушай! Не отмахивайся, ты ж обещал. У меня люди сидят попусту.

— Заставь работать,— бросил Корешков непререкаемо.— Немедленно заставь, иначе сорвешься, вылетишь из графика.

— В огне работать?! Да ты чудишь!

— У нас не рай, у нас по минутам.

От Корешкова иных слов и ждать нельзя. Алексопулов сплюнул горечь. Постоянно так: к началу печь остыть не успевает и бери ее горяченькую. Время не терпит — лезь в огонь. И Копчик ползет в огонь. Перехитрить огонь он умеет, да и сам Алексопулов умеет перехитрить.

— Начнем, Кобчин!

— Начнем-то, понятно, начнем, только видишь ли что... ты ж меня не обрадовал, когда шли.

— Брось плакать, не обижу, понял меня?

Кинул Алексопулов эти слова, как наживку, и она тут же была взята: Копчик медленно, будто ощупью, приближался к кратеру. Из черной ямины на него дынуло подлинно огнем. У Копчика заняло дыхание, сами собой зажмурились глаза. Но это ничего, это ж всегда так вначале... Он нашарил кирпич — первый, самый упрямый,— и давай его выламывать, давай крошить. Осколки с шумом проваливались, натывались на выступы, гремели, как в бездонном котле. «Только мы чуток повременим, чтобы Алексопулов подбавил рублик на огонь и трудность...» — хитро решил Копчик, ощущая, как пот неприятно связывает тело. А это потому, что вчера переложил лишку Копчик, не надо было так много — знал, придется лезть в пекло. И всегда на трезвую голову: поменьше, поменьше, а вот... Мучайся вдвойне. Второй кирпич он выламывал не так усердно, хотя со стороны глядеть, не жалел сил.

— И-ихь, сам видишь, Алексопулов, кирпич кирпичу рознь. Как прирос, сукин сын!

— Вижу, вижу, Кобчин,— стоя в двух шагах, прокричал Алексопулов.— Да ты вот так его, вот так, ы-ы-ы...

Зачем бы Копчику темнить, если бы он знал гарантию, а то он не знает гарантии. Алексопулов лишь прикидывается добрым, а сам ни в чем не уступит Копчику,

при расчете подстрижет под общую гребенку: ему что Ванадзе, что Пирогов, что Брындин, что Любка-электрик. А Брындин известный работник — словами только сыпать... Или Любка... Но ей, наверное, больше перепадет. Не зря про них с Алексопуловым слух.

Подозрительность объяла Алексопулова. Молодцы его сплошь облепили фурменную зону, пригрелись, как мухи,—и ведь не бездельничают, копаются. Только Алексопулова не проведешь, он видит—ни проворства, ни усердия, ни ловкости. Пока ничего! Ругаются, косятся друг на дружку. Отчего, пойми. Неужели он разучился понимать?

Бдительный Корешков позвал Алексопулова. На земле народу было куда больше, чем в поднебесье. Сновали туда-сюда с молотками, с досками, с трубами. На земле что? Тут легче и не так опасно.

— А что, дадут нам отдохнуть или не дадут?—не без умысла спросил мощный Пирогов у подступившего к нему малютки Капиева.

— День отдых, да?!—вытаращил и без того большие глаза Капиев.— Ый, ты, хитрый рысь!

Сердитый Корешков водил Алексопулова под руку и упрекал:

— Не узнаю тебя. Плетемся. Что доложу директору?

— Доложи, вошли в график.

— В график?!—нехорошо ухмыльнулся Корешков.— Меня не проведешь. Бери-ка в помощь моих тридцать парней. Бери!

— Ни за что!—заупрямился Алексопулов.—Мы привыкли без помощников.

— Приказываю!

— Хочешь оставить моих на сухарях, без заработка? Да я всех до одного сниму!—вгорячах пригрозил Алексопулов.

— Вон как! Не забывайся, Никандрыч, вольничать не дадим, немедленно впутаем твое начальство. Сейчас же телеграмму!

Вконец распалившийся Корешков отдалился. Алексопулов заметил неподалеку Любу Гайко. Как и все, она была в рыжей казенной одежде. Любу можно было узнать только по белой шапочке и по выбившимся из-

под нее светлым кудряшкам. На руку надет моток провода.

— Николай Никандрыч, на минуточку,— просяще сказала она.

— Не до тебя, Люба.

— Послушайте!

Беззащитно глядя ему в глаза, она возбужденно пожаловалась:

— Не вынесу, слышите? Я презираю его. Он следит за мной постоянно, грозит увезти меня в свой край, в Шамшири. Не захочу, так он силой, понимаете? А недавно принес много-много конфет. Принес и сказал: жри, Лубка! Противный Ванадзе... Я прошу, скажите ему, чтобы отстал. Иначе будет плохо. Я убью его током!

Она проговорила это так твердо, что Алексопулов смутился: он всегда видел ее тихой и мягкой.

— Жестокая, остынь!

— Убью!

Повернувшись к Алексопулову боком, она так и стояла. А ему надо было идти.

— Николай Никандрыч, давайте в конце дня убежим куда глаза глядят,— вдруг выпалила она.— Убежим, а?

— Куда же? — спросил он растерянно.

— За реку, в лес. Ну?

Ах, Люба, какая же ты наивная и смешная, Люба! Смеет ли Алексопулов бездумно, по-мальчишески, убежать? И на полчаса ему нельзя оставить места. Корешков должен постоянно видеть его и осыпать назиданиями, упреками, требованиями. Дело не дело, крутись на глазах у начальства. Крутишься, ладно, а исчез — скажут: разболтанный, непослушный, чересчур самонадеянный. А если ни на что не глядя хоть раз в жизни уйти? Работа есть у всех. Уйти назло выскочке Корешкову, назло уговорам и ругани. Была ли у Алексопулова любовь? Все-то он пропустил меж пальцев, а Корешков ничего не пропустил. Впрочем, и у Алексопулова была любовь. Марта была красивая и нахальная. Звала его Алексис.

— Поцелуй меня, Алексис.

— Алексис, пожалуйста, надень мне на ножку туфельку.

Она была верной ему лишь неделю...

Сбежать, и пусть ищут, пусть завидуют, пусть знают — Алексопулов тоже человек, и хочет жить, как все. Ему стало легко. Он мало что видел вокруг.

— Идем, Люба,— сказал он.

— Самый подходящий момент, когда все уйдут,— обрадовалась она.— Не уйдет лишь Ванадзе: он будет стеречь меня хоть сутки. Вот и пускай видит, как мы пойдем, пускай!

Пускай видит? Но то ж явная девичья хитрость — столкнуть Алексопулова и Ванадзе лбами.

Что ж, как будет, так и будет.

7

Под вечер каждый дошибал свое, и следить за Алексопуловым было некому. Мог обнаружить отсутствие Корешков, но он как раз уехал по вызову. Не до слежки было и Ванадзе: он так яро строчил электродом, что упустил из виду Любу.

Кончившие дело покидали места.

Подкрались сумерки. На высоких мачтах засияли прожекторы. Тусклое солнце последний раз пришлось по тонким трубам, по устремленным вверх лапам домны. Дневной шум стал глхнуть, растворялся в пространстве.

Истома завладела Ванадзе, и он, чтобы прийти в себя, поднялся на балке во весь рост и призывно заорал:

— Ва-ва-ва...

Из-за сплошного грома крик нельзя было услышать далеко, но чуткий Капиев встревожился. Ему в крике почудилось чужое бедствие. Со всех ног он кинулся в ту сторону. Капиев тоже устал, даже, может, посильнее устал, чем Ванадзе, но можно ли утерпеть? Впечатлительность и небольшой опыт подсказали, что Ванадзе при его горячности в любую минуту может попасть в беду: к примеру, повиснет над пропастью, ушибется или оступится. Капиев не то, чтобы сильно жалел Ванадзе, просто-напросто юнец побежал бы ко всякому на выручку, только крикни. Запрокинув голову, Капиев увидел невредимого Ванадзе. Тот даже посмеивался:

— Чего ты, кацо?

За день Капиев так переменялся, что признать его с высоты было трудно. Выдавал лишь низенький рост.

— Порадок, Капиев, конэц. Понял?

Услышал крик и стоявший на самом верху Копчик. Он ни слова не разобрал, но почуял, что пора бросать работу. Ломка кирпичей так захватила его, что он и не заметил, как опустел целый край и все больше оголялась рыжеватая обшивка домны. «Так мы тебя разденем, мы тебя всю до донышка это... разоблачим...» — все часы держал на уме Копчик. Жара вымотала его, а тяжелый воздух кружил голову. Но теперь уж баста — до утра. Можно думать, придет Алексопулов и похвалит: «Молодчина, Кобчин, за старание получишь прибавку...» Пошатываясь, он подступил к одному краю и к другому: Алексопулова нигде не было видно. А был весь день на глазах. Он не очень-то и нужен был Копчику, ему лишь любопытно было, куда Алексопулов пропал, если раньше перед шабашом он всегда был на месте.

А Ванадзе, сменяя со шва шлак рукавицей, разговаривал громко с Капиевым, и Копчик слышал слово в слово.

— Ах-ах, Капиев, у нас в Грузии теперь виноград кушай, вино добрый пей.

— И у нас, кацо, в Дагестане виноград кушай и вино пей.

— У нас груша, слива.

— И у нас в Дагестане, кацо.

— Почему же ты на Севере, неразумный башка?

— Сам ты почему на Севере, кацо?

Хитрецей светились у них у обоих агатовые глаза.

Капиев ждал, когда спустится на землю Ванадзе и они вместе пойдут отдыхать. Они вправе отдыхать: вместо них пришли те, кому работать вечером и ночью. А завтра Ванадзе и Капиев опять сюда придут. И так до отъезда.

Однако Ванадзе не спустился, а стал так же, как и Копчик, искать глазами Алексопулова: разве тому неинтересно увидеть, чего за день успел Ванадзе? Швы чернеют, как ручьи. Умеет Ванадзе варить, очень хорошо он научился варить. Пусть поглядит. Но нет и нет Алексопулова.

— Слушай, начальника видишь? — спросил Ванадзе у Капиева.

Но ответил сверху Копчик:

— Исчез Никандрч. И ждать мы его не будем. Дело налицо, а время вышло.

Снизу донесся вкрадчивый голосок Капиева:

— И Лубки ни-игде нет.

Для Ванадзе то был гром среди ясного неба. Он опрометью кинулся к тому боку, где все часы белела Любина шапочка. И верно, нет. Холодок прогулялся по спине Ванадзе. Скорей вниз! Вот здесь она днем кружилась. И след простыл. Ну, Любка!

Сошедший с высоты Копчик спросил:

— Что у нас на ужин?

Этому лишь бы поесть и поспать.

Из-за горы кирпичей показался Корешков:

— Срочным порядком Алексопулова! Что такое? Нет?! А где он может быть?

8

Они совершенно не знали эту местность, не знали, какие у здешней реки берега, где дороги, мосты. Они шли, не сговариваясь, наугад, только бы скорей прочь туда, где никого нет, кроме их двоих. Странная свобода пробудилась у Алексопулова. Он ощутил, как был слутан по рукам и ногам все годы, постоянно — с детства и вот до этого часа. Не вспомнить и дня его независимости. В детстве за него боялась мать и не выпускала его из глаз. Он не смел уйти к морю в одиночестве, не смел купаться, не смел уходить далеко в степь со сверстниками. Он ничего не смел. Позднее, в школе, он не смел засмеяться, сказать невпопад. Не потому ли, повзрослев, он сбежал из дому? И в бригаде он мог браться лишь за то, что ему полагалось: у него изо дня в день была своя работа и свои обязанности, как, например, у Копчика есть постоянная обязанность ломать изношенную кладку. Алексопулова одергивали, если он совался со своим словом. Ограничения еще сильнее связали его, когда ему в подчинение послали людей. Им дай все для работы, за них ответь, им помощи, у них прими. Он вставал и ложился с тревожной мыслью: меня ждут... Так было в дороге, на работе, на отдыхе.

И вдруг он свободен! Он оправдывал себя: прежде, когда он был с людьми, ничего не случалось, не должно случиться и тут. Утомленные, они и не заметят, что Алексопулова нет. Может, лишь Ванадзе вспылит, да еще Корешков кинется искать. А что же Алексопулов скажет Любе?

— Хорошо, что Ванадзе не заметил, как мы ушли,— тихо сказала она, глядя на Алексопулова.

Ее подсвеченные заходящим солнцем длинные ресницы делали глаза большими и радужными.

Солнце светило сбоку, большое вечернее солнце, а вдали, куда они шли, на приречную низменность, сходил белый пар. Алексопулову хотелось идти долго, пока не станет вовсе темно.

— Знаю, вы идете не ради меня,— сказала Люба.

— Конечно, не ради,— кивнул он, но тут же, как бы извиняясь, добавил: — А может, и ради.

Откуда-то у него взялся игривый тон. Пожалуй, он может шутить, смеяться. А плакать? Он не плакал с той далекой поры, когда потерял отца. Почему же он плакал тогда? Мать тоже плакала, и его некому было утешить.

— А что за нужда идти ради меня? — кокетливо сказала Люба. — Да еще все бросить.

Ему почему-то хотелось уверить себя, что она дурная, ветреная. Будь она скромней и самостоятельней, разве бы предложила пойти? Может, говорят правду, что Люба легко сближается и так же легко расстается. Но почему же он так плохо о ней думает? Люба, конечно, не сидит взаперти, но разве она на глазах у Алексопулова не отшивала привязчивых? Вероятно, обиженные и плетут о ней вздор.

— Захотелось увидеть свое временное прибежище,— сказал он. — Раньше я жил во многих городах, а что запомнил? Дома, улицы, столовки.

Вода была близко: дынуло теплой влагой. Огромное зеркало реки кое-где раскалывалось всплесками рыбы. Светились, будто цвели, высокие облака.

— Как тихо! — прошептала Люба.

Что он получил там, где побывал прежде, — счастье, опыт, удовлетворение? Ему хотелось сказать Любе, что он и теперь, рядом с ней, чувствует себя одиноким. Поверит ли она? Да и зачем ей знать — одинок он или не одинок?

— Сколько же мы ездим вместе? — спросила она.

— Не знаю.

— Ну, вот, — расстроено сказала она. — Какая же я крохотная в ваших глазах! Исчезни я завтра, и вы не заметите. Может, и лучше будет, правда?

Вчера так бы и было — он бы не заметил, а завтра

уже нет. Почему так — живешь и как бы не видишь? Алексопулов видел Копчика, видел Ванадзе и не замечал Любы. Не будь Копчика и Ванадзе, Алексопулов оказался бы как без рук: кто бы лечил доменную кладку и сваривал кожух? А Люба? Не будь ее, и дело бы не проиграло. Именно так он привык глядеть на своих. На него самого вот так глядели Михал Михалыч и Борис Корешков — что Алексопулов в силах и что не в силах.

Городские огни сняли далеко. Потянулся ровный берег с одной прихотливо выющейся тропкой.

9

Алексопулова дома все еще не было. Не было пока и Любы. Но, казалось, ничего и не произошло: кто-то ел, кто-то наряжался, кто-то лежал в постели. Первый день никому легко не дался. Ломило немолодые косточки у Копчика, слезились глаза у Ванадзе, подкашивались ноги у Капиева. Под подушкой у него походная кладовка. Первым делом там модельные туфли — черные, лаковые, первый сорт. Никому он не одолжит даже на один вечерок. Не одолжит и сам не напялит. Только полюбуется украдкой. Вот ведь лак какой, кожа какая, фасон какой! А подошва? Алмазом чиркай, никакого знака. Дядя Хамазат умеет шить туфли. Это он, когда уезжал из аула Капиев, подарил ему туфельки: возьми и помни старого Хамазата. Вертел, подкидывал туфли Капиев, и весь свет у него сошелся только на них — про усталость не помнил. Кроме туфель под головой у Капиева белая рубаша и черный галстук с искрой. Этого Капиев не бережет: как вечер, надевает рубашу, пристегивает галстук. Капиев лицом и фигурой не такой, на кого заглядываются красавицы, даже вовсе не заглядываются, однако он не вешает голову: ему не семьдесят, а только двадцать — будут, будут у него красавицы! Он выберет. А пока? Пока он может остановить на улице хоть какую, полюбезничает, даже посулит кое-что, но чтобы связывать себе руки... Нет, Капиев вольный, как ветер. Он и летает потому. А еще у него под подушкой...

— Слышь, Капиев, почему Ванадзе чернее ночи? — Копчик сморщил лицо, будто бесслезно плакал.

— Чего Ванадзе? Зачем Ванадзе? — неожиданно

взъярвился Капиев, поняв так, что Копчику нет дела до Ванадзе, а все дело лишь к самому Капиеву.

Ложиться Копчик не торопился: у него свои планы. И вообще, день у него выдался хоть и нелегкий, но с ног валиться ему было рано. К тому же, и необыкновенная новость занимала его. Алексопулова он знал много-много лет, и слухам не верилось. Копчик хоть и обиделся на Капиева, но скандалить не стал, отдалился к еще одному здешнему жителю — к беловолосому чудаковатому Яше Брындину.

— Знаешь иль нет, Брындин, будто начальник с горки покатился, и еще как!

— Яснее, прошу!

— С Любкой Гайко...

— С Любкой?! Да ты что? — выпучил красноватые рыбки глаза Брындин. — Сплетни, надо полагать.

Гордясь своею неизменной благонамеренностью, Копчик не на шутку обиделся:

— Мне, слышь-ка, не по годам всякое такое разносить. Хи, сплетни! Ты бы тому горяченькому Ванадзе на ушко шепнул. Он и сам догадывается, а ты для надежности напomini.

Осторожности у Брындина хватает:

— Докатится к Алексопулову, что я смутил, а ты сам видишь, я у него и без того не в почете. И дело у меня самое срочное.

А искал он деньги. У него была непреоборимая застарелая страсть — распахивать свои получки и авансы по тайникам. Десятки, пятерки, рубли он всовывал под подкладку пиджака, заделывал в особые карманчики, зашивал под воротники. Прятал он свои капиталы под хмельком, а то и вовсе пьяный, и найти их потом, на трезвую голову, оказывалось делом нелегким. Поиски, которые он называл по-научному раскопками, отнимали у него нередко целые вечера. Он ругался, давал себе клятву впредь не прятать. Вероятно, добрая часть тайников раскрывалась другими, денежки уплывали... Он и в тот вечер искал. Потому-то его и не занимала судьба не только одного Алексопулова, но и целого мира.

— Да ты бы, товарищ Кобчин, сам отправился к этому субъекту, — посоветовал Брындин. — Мне как-то неловко. Прошное мое лишает меня морального права.

— А-а, прикрываешься, Яша, — отчужденно заметил Копчик.

По словам самого Брындина, но отнюдь не по документам, он гуманитарий по прежней работе и по образованию. Потому-то он и козырял разными туманными терминами: субъект, объект, субстанция, материя...

— Разве бы я не пошел, но у меня с Ванадзе война,— пояснил Копчик.

— В такой момент он про вашу войну забудет,— успокоил Брындин, засовывая длинные худые пальцы в отворот пиджака в надежде выудить хотя бы рублевку.

— Ты бы, Яш.

— Иди сам, иди сам!

Они бы и еще поторговались, но Ванадзе, казалось, учуял, что говорят про него, и появился в комнате сам. Только повод зайти у него был другой.

— Любезный, лучший душа,— рассыпался он перед Брындиным.— У меня такой гора, у меня плохо, мм-а... Дай пять, а?

Брындину все еще не удалось нашарить и копейки, и он воспринял просьбу за открытую издевку.

— На-с! — Он ловко сложил три пальца и подsunул оскорбительное построение так близко к глазам Ванадзе, что тот растерялся. Спустя минуту, прошипел:

— Иш-шь, ыдиот.

Крайне раздосадованному неудачей Брындину было все равно, с кем схлестнуться:

— Так я идиот? Зачем же за деньгами ползешь к идиоту?

— Ух, Брындя,— дрожал от негодования Ванадзе.— Гляди мене, Брындя!

— Он грозит! Кому грозит? Слышишь, Копчик? Он Якову Яковлевичу Брындину грозит. Ну и ну!

Конечно, лезть хлипкому Брындину с кулаками на Ванадзе было опасно: Ванадзе тут же положил бы его на лопатки. Брындин храбрился только так — для остротки.

— Гляди, Брындя! — вздел кулаки Ванадзе.

Но пыл иссяк.

— Сам гляди в оба, Ванадзе, а то Любка-то... — Брындин злорадно подморгнул и сызнова взялся за тайники.

— А что Любка, что Любка? — затараторил Ванадзе, блестя глазами.— Любка и Любка. Хорошая Любка.

— То же самое и я хотел сказать: хороша Маша,— притворно вздохнул Брындин.

— Дал бы ты мне, товарищ, пять, а? — снова умолял Ванадзе.— Дал бы пять, с гора пить надо. Понял? С гора!

На смуглом лице его, и верно, вырисовывалось неподдельное горе. А Яша Брындин тем временем повеселел: ему в руки попались сразу две пятерки, которые были захоронены так давно, что он считал их потерянными. Помяв в пальцах бесценную находку и, казалось, все еще не доверяя глазам, он с видом благодетеля подал одну бумажку Ванадзе, не забыв, однако, и свой интерес:

— Угостишь, надо думать?

— О, дорогой! — безмерно обрадовался Ванадзе.— Угощаю! Ты стакан, я стакан. Угощаю!

Шумную торговлю Копчик наблюдал со стороны и завидовал. Денег у него, как всегда, не было, а угощать его давно перестали — сам он не угостит, будь у него в кармане хоть миллион.

Для компании Ванадзе взял с собой еще только Капиева.

10

Когда выпивали стоя в каком-то закутке, Брындин и Капиев не подзадоривали беднягу Ванадзе. Капиев даже утешал: мало ли где Любка и Алексопулов? У начальства дело не такое, как у работяг: туда гонят, сюда везут — отчитайся. А про Любку-де и говорить грех — дело девичье.

Захмелевший Брындин прибавил:

— Верь мне, старику, Ванадзе, напрасно ты сник. Никто не знает, куда ветер унес Алексопулова. Субстанция... Ты меня понял? И на девчонку глядеть нечего. Неужели ты не стоишь Любви Гайко? Да таких-то везде много. Поедем ко мне в Пензу, я за тебя племянницу Нинку просватаю. Во, девка!

Возможно, Ванадзе, в крайнем расстройстве, согласился бы на поездку, но и тут помешал Копчик. Одному богу известно, как Копчик нашел их.

— Конченное твоё дело, Ванадзе! — мрачно объявил он.

Ванадзе схватил его за руку:

— Скажи, скажи, будь друг.

— Ты здесь, а Любка...

— Что Любка?! — едва не плача, крикнул Ванадзе. — Идем глядеть Любка. Мене жалко Любка. Алексопулов и Любка, ага?

Копчик не ожидал от Ванадзе такой ярости:

— Ничего я не знаю, один разговор.

Втайне Копчик злорадствовал, что Ванадзе и Алексопулов столкнутся. Сколько бед Алексопулов принес Копчику? Был он и бригадиром, и старшим, и контролером, но все потерял. Это Алексопулов, едва Копчик оступится, начудит по пьянке, отправляет его на самые черновые работы. Вот и пускай схватятся Алексопулов и Ванадзе. Однако тут прямой совет — некудышный совет.

— Глядеть пэжим! — Ванадзе пылал. — Встречать пэжим!

И он побежал. За ним с трудом поспевал Капиев. Копчик плелся на расстоянии.

— Ух, субъекты! — презрительно бросил вслед ушедшим Брындин.

И вылил из бутылки в стакан жалкие остатки.

11

Дикий неустроенный берег сошел на нет, показались асфальтовые дорожки, белые скамьи, редкие, тускло светящие фонари на тонких столбах. Крайний каменный дом пялился всеми большими окнами, и отражение от них стлалось по реке желтоватым полем. Не стало видно звезд и зари — все растворилось в городских огнях.

«Вот же как мало надо, чтобы жить полнее, лучше», — умиротворенно думал Алексопулов. Жил он вчера, и полгода назад. И жила рядом с ним Люба. В этот час есть только двое во всем мире: она и он. И только они двое вправе решать, что им делать.

— Домой, Люба? — спросил Алексопулов, держа ее за руку.

— Так рано? — расстроено воскликнула она. — А что дома? Одни спят, другие ругаются.

Он это знал, дома спят и ругаются. Его волновало и тешило, что они с Любой придут сюда и завтра, и послезавтра. А через месяц или через два они отправятся в Марийку, и он скажет матери: «Прими Любу, как меня...»

Из сумрака вырвались голоса. По белой тропке вниз скользили цепью трое.

— Видим Любку, видим!

Дрожа, Люба ухватилась руками за Алексопулова:

— Ванадзе!

А тот очутился лицом к лицу с Алексопуловым и зло крикнул:

— Ы-ы, гнилой душа! Зачем водыл? Ы-ы, гнилой душа. Начальник, тащишь, да?

— Прочь, Ванадзе!

— Покажу... тащишь! Вор!

— Цо, Лубка,— несердито произнес Капиев.

12

Ехали с деньгами: домна ожила на три часа раньше срока, и каждому досталось немало кроме прямого заработка. Гора с плеч, но впереди новая гора: ехали на юг по срочному вызову.

Властвовал самый младший Капиев:

— Кто ест ныне Капиев? Тамада Капиев. Мене слушай. Рыба ешь, капуста ешь...

— Чего ты знаешь?— ершился Ванадзе.— Ешь и ешь. Почему только ешь?

— Ну, бэри пить,— мягко сказал Капиев.— И бэри есть. Наш дело в шляпе, наши, э-э... Брындин, дядюшка Яков, пить и есть. Копчик, пить.

— Выпью, парень, я выпью,— кивнул Копчик.

— А я первым делом покушаю, а потом, так сказать, и приму самую малость с устатку,— рассудил Брындин, наблюдая, как наливает ему Капиев.— Субстанция. Почему Алексопулов не пьет и не ест? Злитесь, да? Мы провинились? Пусть пояснит, в чем мы провинились. Только начистоту!

— Гыде Алексопулов?— завопил на весь вагон Ванадзе.— Сюда, начальник! И Любка сюда! Но не придут, нет...

Он заплакал, но, может, от песни, которую ясно и громко пел в соседнем купе транзистор: «Идут снега большие...»

ФЕДОТОВА МУЗЫКА

1

Поначалу, когда Федот Ивушков по выслуге лет только-только навсегда расстался с заводским гудком, тот все равно в нужные моменты тревожил его. Проснется Федот ночью, а гудок — вот он, вроде за порогом. Да такой властный и требовательный, что Федот, как молодой, вскочит с постели, обеспокоенно окликнет жену Дашу:

— Слышь, гудит, да и как гудит! Что бы такое обозначало, по-твоему?

Ей сон дороже всего на свете:

— Раскудахтался середь ночи — гудит, гудит! В ушах у тебя только гудит, а больше нигде. Даже и ветерку слабого нет, а люди, куда требуется, без гудка сходятся — у каждого на столе будильник.

В третий послевоенный год, когда Федот своими руками ставил гудок, о личных часах мало кто помышлял. А у него на руках были безотказные — подарок фронтовика-отца. Тогда совсем юного Федота и отрядили: готовься гудеть, Ивушков.

Отправился он к литейщикам: выручайте! Те давай потешаться над парнем: ишь, вислоухому царь-колокол понадобился! Да не все ли равно, из какого материала и хорош ли на вид, лишь бы гудел. Но помогли — меди раздобыли, корпус отлили. Федот сам его обделывал — где долотцем, где напильником, где тонкою шкуркой, а где и шерстяным носком тер.

— Сколь зашибаешь, а, Федот?

— Да сколь выдадут, дело ихнее, начальническое, я не рядился, — простодушно отвечал он.

— Будто выставочную вещь доводишь. Над крышей дождик и пар моментом изъедят.

— Что будет в облаках, с земли не видать, а покуда чтоб товар лицом.

Поднять готовый гудок наверх — высоко крыша, не одну лестницу надо пройти, — Федот сам не мог, лишь наблюдал, чтобы не уронили при подъеме.

— Не вихляй из стороны в сторону, прямиком! — предостерегал он.

— Нам под ноги словами не сыпь, хуже заскользим, — огрызались носчки.

Едва гудок оказался на месте, Федот ухватился рукою за проволочную скобу, открывавшую пар. Чувствовал, не только рука дрожит, но все тело целиком. В весеннем открытом воздухе поплыл высокий звук. Он слышался Федоту торжествующим, переливчатым.

С того дня он и стал в назначенное время открывать пар и слушать.

Когда по болезни не мог выйти, его заменял помощник Юрка Протуберанцев, парень свойский, только без меры восторженный.

— Чур, не подведи меня, Юра, гуди из минуты в минуту.

На такие дни Федот отдавал свои часы Юрке. Похвастывал же Федот не по старости — старость еще не видать и где, — а по слабости тела, перешедшей из детства. Детство он помнил только хорошим. И люди там добрые, и небушко ясное да чистое, и солнышко светило светлее, и луна по ночам была большая-пребольшая, не такая, как теперь — тусклая, всегда ущербная. Такова душа у маленького — запечатлевает навечно доброе и отсеивает пагубное. Федот, к примеру, ясно помнил, что мать кормила его по утрам блинами с постным маслом, но никогда не помнил голодных дней, хотя было их куда больше, чем сытых. Помнил он, как подкармливал студеной зимою синиц и воробьев, но не помнил, как холода убивали птиц. Он пытался их отогреть, оживить.

— Напрасно стараешься, внучек, — внушала ему бабушка Апполинария. — Если птичка в руки далась, значит, бочок приморозило. Не оживет, и думать нечего.

Мертвого воробушка плачущий Федотка выносил на крыльцо и клал на доски, чтобы птица прощально глядела в небо светлыми, не успевшими замутнеть глазками.

Первые дела у выросшего Федота были простые, но с годами усложнялись. Он не помнил, сколько каких дел переделал, говорил неопределенно:

— Ныне одно, завтра другое...

И ни одного дела конторского. Подобные дела были для него непонятны и чужды.

— Отец у меня сапожник. А что? Сшил, подколотил подметки гвоздиками. Хорош! Землепашец хлеб взрастил. Обменялись, оба довольнехоньки — один с хлебом на зиму, другой обутый по мокрой погоде. Но глядь, на дележку еще и писарь примазывается — этому и хлеба давай, и в сапожках лаковых он пофорсить желает. Это ж почему?

Кто же ответит честно, почему? Осторожные даже страшали:

— Говори, Федот, да не заговаривайся. Всяк при своем деле, все берут заработанное, а не просто так. Понимать надо, голова два уха!

2

День сменялся днем, а Федот только и знал, что каждое утро шел к гудку. И весь интерес его был там, в полуподвале, откуда тянулся канатик к паропроводу. Гудок сзывал на работу или возвещал конец смены. Про его занятия говорили — ни покоя, ни денег. Покоя, и вправду, он не видит, а деньги берет свои.

Жена его, Марья, была тихая, но себе на уме. Она ему ни словца, когда он приходил с трудов запоздно. Как ни поздно, а карапузы — Петька с Ленькой — не спят, его ждут. Он не приласкает, прикрикнет даже:

— К матери, к матери марш оба! С мыслей меня только сбиваете.

Заглазно, на людях, Марья о нем отзывалась так:

— Что с моим сделаешь? Умом покачнулся, а покачнешься, не выпрямишься.

Ребятишки незаметно поднялись, отца обогнали ростом. Гудком, однако, ни один не заинтересовался. Старший, Петька, отрезал:

— Ты, отец, как гудел, так и продолжай, а меня к этому не приспособливай, поновей и подходней дело найду. Леньку подговори, он поглупее.

Но и Ленька, лишь разок поглядев, как управляется отец, вторично не пришел:

— Так я же знаю, почему у тебя гудит. Из трубки пар вырывается, бьет по железяке, отсюда и рев несусветный. Этакая музыка, подумаешь!

Федот проглотил первую горькую пилюлю от своих же детей. Для них все понятно, все на виду, а он хотя и давно при гудке, но не все понимает.

Марья долго ждала от Федота ласки и внимания к себе, но дождалась:

— Сколько, видать, ни терпи, ты, Федот, ничего не дашь, кроме пустого гудения.

И, забрав Петьку, навсегда ушла к известному на всю округу столяру Нилу Богатыреву, на другой конец города. Тот самый красавец Богатырев, оказывается, всю жизнь любил одну Марью, теперь же, через годы, и у Марьи проснулась любовь, а любви к Федоту, как видно, у нее вовсе никогда и не было, а было лишь ожидание, которое ей в конце концов надоело. Младшего Леньку, однако, с собой не взяла:

— Куда мне двоих-то? Все равно ты и на одного Петьку мне денег будешь давать почти столько же, как и на двоих.

Федот безропотно согласился, стал послушно высылать бывшей супруге помесечно тридцать рублей. Даже когда Петька вошел в возраст и женился, Федот продолжал одаривать Марью деньгами. Она не отказывалась, хотя Петька и сам получал, став шофером, намного больше родителя.

По матери Ленька не тосковал, никогда о ней — хоть в горе, хоть в радости — ни слова, возможно, дулся, что не его увела к столяру Нилу Богатыреву. Ленька не скрывал зависти, что брат Петька по новому месту имеет завтрак, обед и ужин, а у отца ничего такого нет, кроме сухой пищи, от которой у Леньки вечно изжога.

Федот пробовал перевести сына на горячий режим — стал варить и жарить, однако через неделю выдохся. Привязать себя навсегда к плите, к кастрюлям? И руки не такие, и времени нет.

— Сердись не сердись, Леня, а я тебе не ученый повар.

Так бы, пожалуй, и шло, но остановила Федота на улице женщина — не скажешь, красавица, но и не дурная. Оказалось, он ее не знал вовсе, а она его видит,

знает. Он давно без жены, она без мужа. Посочувствовала:

— Твоя бывшая распоясалась, ушла.

Сочувствие Федот принял близко к сердцу.

— Что и было, вспомнить! Леньку мне оставила, а я в ту пору места себе не находил. Все же с Марьей мы не зря сошлись. Я по сердечной склонности. Верилось, и она так. Ведь клялась же. Так я, как она ушла, снова даже к гудку опоздал. Меня ругать взялись, разгильдяй, мол, Ивушков, вовремя гудка не дал. Премни его лишить, негодника!

— А теперь?

— Ничего теперь,— ответил Федот, вздохнув.— Дело давнее. Перегорело, пепелок остался.

Так и познакомились. Назвалась она Дашей. На завтра она с ним опять встретилась, на этот раз на рынке. Он покупал яблок, она тоже стояла в очереди за яблоками. Она первая попробовала, похвалила — сладкие.

Они за рыночную изгородь вышли вместе. На перекрестке она подала ему руку. Взять-то он взял, но усомнился:

— Не будет ли, Даша, ошибки, смотри, с твоей стороны?

— Рискую по своей воле,— засмеялась она.

Он благодарно поглядел на Дашу. И в самом деле, почему ей не решиться? Чем он плох? Только и надо было открыто представиться, что никакой он не богач, у него, как говорится, ни сада, ни огорода.

— Можно верить, ты ко мне и не вспылала вовсе, а лишь вообразила, что если я век свой работаю, то много чего приобрел — ковры и шевииоты, на перинах валяюсь?

— Да ты что? В чем меня подозреваешь? — замахала она руками.— Ничего, ничего мне от тебя не надо. Только и есть, жалко тебя стало.

— Жить будешь честь честью?

— Не бойся, я терпеливая.

Когда зажили вместе, Федот первым долгом заметил за нею странность: глядит она на него свысока.

Ленька и вовсе смешался. Даже и звать ее не знал как. Матерью? Она ему не мать. И Дашей не назовешь. И он никак не звал. Нужна была ему от нее лишь горячая пища, но Даша от кухонных дел уклонилась, са-

ма жила лишь тем, что перехватывала по пути в буфетах и по столовкам.

Федот проникся к ней некоторым доверием:

— Не будь на мне гудка, не знаю, что со мною и было бы! Этакая музыка! Ты ж, думаю, слышала, может, и ко мне пришла из-за этого?

— Музыка мне ни к чему, я только когда поют люблю.

Это огорчило Федота, но он утешился — люди ко всему приучаются. И он взялся приучать Дашу к гудку. Приведет ее к заводской стене, посадит на скамью:

— Слушай!

А сам бегом на место. В назначенную минуту отомкнет паровой клапан. Полетится притягательный для него звук: у-у-у...

Пока гудело, он успевал выбежать из проходной и справиться:

— Как?

Скамья пустовала.

3

При Леньке Даша без смеха стала называть Федота Гудком:

— Вон наш Гудок идет!

Его это не обижало, даже взбадривало малость: интерес у Федота есть, он живет!

Иногда звук портился, появлялась хриплость. Федот всходил к гудку, протирал тряпицею, чистил наждачной шкуркой, ободряюще похлопывал, будто старого приятеля, по боку:

— Сзывай, друг, народ, хватит ему прохладиться!

В такой момент Федот воображал себя старшим над многими: он вправе сзывать!

Между тем часов на руках у людей прибавлялось, и гудок становился как бы ни к чему.

Однажды Федот услышал в толпе:

— Ревет зря, только пар тратит.

Ошарашенный, пришел домой, сказал Даше:

— Дела наши никудышные: гудок лишь понапрасну воздух сотрясает.

Даша посмеялась:

— А ты только узнал? Всею городу известно.

— Что так и будет, я еще когда догадался,— похвастался Ленька.

Позвали Федота в заводскую контору. Вновь прибывший начальник Павел Павлович Холодилов, смуглолицый, бравый по виду, не тая усмешки, спросил:

— Неужели, Ивушков, век свой только и жил, что гудел да гудел?

— Так точно, все гудел,— с захолонувшим сердцем ответил Федот.

— Изумительное постоянство! А больше не надо, брось! Сними свою механику и куда хочешь девай, хоть на переплавку. Медь, надо полагать, добротная.

Вышел Федот как в тумане. Только и видел наверху светящийся, подобно кресту на церкви, гудок. И когда далеко отошел Федот, гудок сиял. Лезть повременил, надеясь, придет час, приказ изменится: у начальства бывают такие же крутые повороты, как у простых смертных.

Но поворота назад не произошло ни в тот день, ни назавтра, и Федот с двумя помощниками полез на крышу. Как бы ощущая свою вину, он отводил глаза от гудка.

Сразу стронуть его с места не удалось — прикипел к гнезду. Но Федот не осерчал, не пожурил: так и должно быть — за годы все прикипает к месту.

По лестницам спускались тяжело, с отдыхом. Медь больно давила на плечи, будто с годами гудок отяжелел.

— Обвис ты, брат,— дружески пожурил его Федот.

Но время и его не облегчило. Даша трунила над его отяжелением:

— Тебе, Гудок, обувь железная надобна, у простой за неделю подошвы исшаркаешь. Фабрикам не напастись.

На земле употевшего, сторбленного Федота встретили кто как — одни сочувственно, другие насмешливо.

— Закопай поглубже свой инструмент, Ивушков, не то ночью взлезет на крышу, опять заревет.

— И сам ты стал, как свой старый гудок — почернел, износился.

Что Федот почернел лицом, он и сам замечал, бредясь утром перед зеркалом. Докторам не показывался,

хотя и чувствовал тяжесть в правом подреберье. Темноту его лица Даша объяснила по-своему:

— Загорел за жаркое лето.

— С месяца на месяц загораю все гуще,— невесело отшутился он.

На переплавку, как того хотел начальник Холодилов, Федот гудок не потащил, в уверенности, что рано или поздно народ на работу сзывать придется: часы дело ненадежное. Потому-то он вблизи котельной вырыл яму:

— Тут тебе покуда и место.

4

Сулили Федоту, как ветерану, разные дела — дежурить при воротах, убирать мужскую раздевалку — однако он никуда не пошел.

Течение жизни у него стало ровное и гладкое. Когда Даша ворчала,— а это не редкость! — он не оправдывался, лишь осекал:

— Уймись, оса!

Зашел сын Петька, попрекнул:

— Ничего ты мне не дал, отец, никакой даже малости, но я тебя все равно помню, потому что по твоему гудку я торопился на работу. Тебя весь город слышал. А нет гудка, вроде и тебя тоже нет.

Порадоваться бы Федоту, что сын его навестил, но лишнее напоминание о гудке обеспокоило.

— Мать знает, что ты ко мне пошел?

— Не знает, ей и не надо знать, куда я хожу,— сказал Петька.— Видишь, какой я вымахал? На голову выше тебя!

— И умом тоже выше, так надо понимать? — подковырнул Федот.

— Умом выше или ниже, не знаю, только живу я самостоятельно, себя кормлю и одеваю, а ты...

— Что я? Никудышный? А кто вам с Ленькой жизнь-то подарил?

Так отец и сын поспорили малость, однако спор получился тихий, еле различимый. Даша, находясь тут же, думала, они и не спорят, лишь по-родственному переговариваются. Как бы ни было, а сыновья у Федота выросли непохожие на отца и друг на дружку, чему он

не удивился: и братья единокровные бывают далекими один другому, и не только обличем.

Они побыли за столом четверо, без вина и без чая, насухую. Ленька, как и прежде бывало в присутствии Петьки молчал, так и тут ни слова, но отец рассудил, что в молчаливом споре с Петькой Ленька всегда на его, отцовской стороне. Так-то! Много ли видел Ленька от отца? И жизнь без особых радостей, и матери рядом нет, и не ахти в какие люди выбился, а отец не слышит от него плохого слова. Над Петькой же взяла верх Марья.

— Посидели по-родственному, ничего не обсудили, по домам разбрелись,— хмуро сказал Петька, вставая.

— Правда, Петя,— кивнул Федот.— Обсуждать, оказалось, и нечего. Ты летишь себе, а я приземлился, нет силы оторваться. Обсуждай!

5

Забывался Федот, забывался и его гудок, как и все забывается на этом свете исподволь. Смолоду, когда он трусил улицей, ему вдогонку неслошь:

— То Федот Ивушков. Он не знает иного дела, как только гудеть. И плата ему идет малая, а как пристыл.

Спустя годы, забылись его имя и фамилия, осталось на какое-то время с легкой руки жены его Дарьи прозвище — Гудок.

А и прозвище стерлось в памяти, как и сам он не представлял интереса для новых людей. Лишь женившийся Ленька напомним:

— Бывало, мой отец гудки подавал, чтоб на работу не опаздывали.

Но никого это не занимало.

Лишь однажды, под исход летнего дня, зашел к Федоту домой его последний начальник Холодилов, постаревший и ссутулившийся. Даже не сел, сразу заботу высказал:

— По твою душу, Федот Родионыч.— И отчество откуда-то узнал! — У нас скоро праздник, в некотором роде юбилей. Идут, идут годочки, н-да... Никто из стариков, понимаешь, не помнит, кто первый гудок подал. А я предположил, Федот Ивушков. Требуют, а подай сюда Федота, пускай прогудит, прежнее людям напомним.

нит, а заодно и сам вспомнит. Думаю, это похвально, а как ты смотришь?

Воспрянул духом Федот, закружил по комнате, заохал, прослезился даже:

— Как же, Павел Павлыч, все видится, будто минуло вчера. Спасибо, позвали.

Дарью кликнул, тоже отнюдь немолоденькую, но все еще живую на ногу. Выслушав обрадованного Федота, она спросила:

— Денег сколько-то за услугу выпишут?

Крайне оскорбился Федот:

— Кто об чем, а ты о своем интересе печешься. К назначенному часу буду, Павел Павлыч. Только самому мне наверх гудка не затащить.

— Не сомневайся, Родионыч,— уверил бывший начальник.— Тебе только за кольцо взяться и прогудеть.

6

День выдался славный — теплый и ясный, и Федот вовсе не заботился, как одеться. Отыскал ту обтрепанную, с пятнами масла робу, в которой когда-то выходил.

Шаркая подошвами, медленно двигался улицей. Вслед ему никто не глядел.

Собственноручно откопал своего зазеленевшего от долгого лежания в земле сотоварища, сам почистил сукном. Заблестел гудок, как новенький.

— Остальное без тебя, Федот Родионыч, а ты вниз иди,— сказал Холодилов.

И Федот повиновался, сошел в полуподвал. Спусти малое время слабой рукою потащил кольцо. Услышал ту же музыку, какая согревала его сердце давно-давно. И будто не было пустого перерыва между ушедшим и нынешним временем, а было оно неразделимым. Надо было кончать, а Федот держал и держал кольцо, как бы продлевая в памяти свою былую жизнь.

У Евдокии за неполных пять лет замужней жизни друг за дружкой родились три сына, но первый, едва появившись на свет, даже еще не нареченный именем, умер на руках у матери. Остались Алешка да Иван. Отца у них нет, вернее, он есть, однако с семьей не живет, а живет в отдалении, в райцентре, небольшом городе Лукьянове, водит грузовик. Своих сыновей он видит изредка и случайно, лишь когда Евдокия которого-то на колхозной лошади везет в больницу. Тут-то Шурка, бывший муж Евдокии, приостанавливает машину, высовывает рыжую голову из кабины:

— Кого мчишь — Алешку или Ваньку?

Евдокия не только не отвечает, но даже не поднимает на Шурку глаза: разошлись-де, так и нечего себя заботливым представлять.

Старший, Алешка, отец вылитый — большеголовый, светлоглазый и такой же простоватый. Когда его Евдокия наказывает за проделки, то кричит:

— Шкарин ты, Шкарин и есть, только зенки лупишь, хоть бы что тебе.

Невзлюбила Евдокия старшего как раз за это его внешнее сходство с отцом. Держала она Алешку в строгости, можно даже сказать, в черном теле. Еду давала похуже, одежда на нем последняя — из отцовских обносков. И прозвищ у него было не меньше, чем материнских оплеух.

Ванька двумя годами моложе брата. Он узколиц, черноглаз. День-деньской носится по улице. Часто приходит к матери в слезах, жалуется: и тот его побил и этот обидел.

Без хитрости он и шагу не шагнет. Казалось, всосал с молоком матери, что выгоднее всего свои выходки валить на Алешку. Свалил, и тебе хоть бы что, а Алешке попадет. Позлорадствует Ванька:

— Ну, получил, братка, получил?

Ванька при случае и выдать Алешку не прочь:

— Мам, а братка опять самое большое яйцо стащил и сырое выпил.

Евдокия тут же пересчитывала в корзине яйца, и нехватка обнаруживалась. Она не спрашивала, взял не взял, само собой разумелось, взял. Следовал тут же подзатыльник или рывок за вихры, или, самое малое, долгая нудная ругань. Все Алешка сносил безропотно. Не оправдывался, не противоречил, не ревел от боли и обиды, не пытался сбежать, никому не жаловался на несправедливость, даже своему неизменному защитнику — дедушке Игнатию. И, что никак необъяснимо, не мстил Ваньке, даже если тот нахально врал. Алешкина безответность лишь усиливала материнский гнев:

— Шкарин ты бесчувственный, каменный!

Идет Алешка на конный двор, всем лошадям по порядку в глаза заглядывает. Иных, помирнее, ласкает, гладит по холке:

— Ах, Буран ты, Буран, изъездили тебя за зиму, измотали, на ногах не стоишь. А все потому, что нет у тебя постоянного хозяина. Что ни день, новый. По-кормить бедного некому, знай работай!

И Ванька вслед за братом принесется. Он не понимает, как можно жалеть лошадей. Он только и видел, их бьют кнутом и вожжами. Так их, так, чтобы слушались! Ничего живого не жалел Ванька. Увидит божью коровку, иголкой проткнет, в воробья камнем запустит, бабочку картузом накроет:

— Ишь, разлеталась!

Ящерице каблуком на хвост наступит и любитесь, как та извивается от боли. Алешка сунется со своей жалостью:

— Все-то тебе мешает, Ванька!

— Мамке скажешь? — лишь посмеется тот. — Она и пальчиком меня не тронет, ты же и виноватым останешься.

И вправду, Евдокия как раз Алешку бранила много раз за то, что мешал брату:

— Ты большой, тебе не до игры, работать вскоре привыкать, а Ванька ребенок, пускай потешится.

Пришли однажды с конного двора, Ванька не утерпел, нафискалил:

— Что братка делает, мам? Лошадей в конюшне щеткой чесал. Дух-то!

Мать и за это похвалила Ваньку:

— Чуешь, сынок, где плохо, где хорошо пахнет. Алешке все нипочем. К лошади лезет, а не понимает, она же может насмерть уложить! Калекой останешься, кто ходить за тобой будет, Алешка? Опять же я. Уй, Шкарин ты!

Увертываться он так и не научился. Другой не ждал бы ругани и наказания, выскользнул на улицу, а он переминается с ноги на ногу, даже и оправдываться пустится:

— Как же Бурана не пожалеть, если он в руки к пьянице Четвертаку угадал, и тот его не кормит, лишь целый день гоняет и лупит.

— Ишь, ты какой! Лошадь чужую жалеешь, а свою родную мать не жалеешь. Как же ты не Шкарин? Только Ванюшка у меня постоянно на глазах, верный мой сынок.

Тот крутится рядом, к матери на колени садится — этакий большой-то! — вьет у нее на висках волосы колечками, преданно в глаза заглядывает. Ласковее ее Ваньки, как верила Евдокия, и детишек не сыскать.

2

Приехал к ним сродник, двоюродный брат Евдокии, дядя Вася Илюхин. Алешка про него и слыхом не слыхивал, Ванька тем более. Не ласковый и не сердитый — ни приветит, ни обидит. Дядя Вася городской житель, но когда-то давно-давно жил у них в деревне. А жил он тут еще в те времена, когда на свете не было ни Алешки, ни Ваньки. И это заинтересовало их обоих: неужто когда-то их на свете не было? Как же без них обходилось?

Дядя Вася долго ходил по берегу речки Шнары, мямля ногами траву, тосковал по былому и рассказывал идущим с ним рядом Алешке с Ванькой:

— В этой лоштинке всегда тихо, и мы, маленькие, костерок жгли, картошку в горячую золу клали. Ста-

щишь, бывало, у бабушки Пелагеи, испечешь и уминаешь за обе щеки. Вкуснее, казалось, и еды не может быть. А вон там, на выезде, луг расстился и мельница махала крыльями. Влекло меня на крыле прокатиться. Теперь, вижу, той мельницы нет.

— Нету мельницы,— кивнул Алешка.— К нам в ла-рек из города печеный хлеб возят.

— Поблизости от мельницы мы в лапту играли. Мать мне из тряпок мячик шила. Резиновых мячиков в ту пору не было. Носишься, дух захватывает!

Алешка с Ванькой про такую игру не слышали. И вообще, у них никаких игр нет, кроме шашек. Невесело им живется, особенно Алешке.

Приездом дяди Васи он доволен: все дни, пока он у них, мать не ругает Алешку, кормит наравне с Ванькой. Даже просит ласково:

— Ешь знай, Алешка, дяди Васи не стесняйся, он свой, ты, поди, так проголодался!

Будто раньше Алешка не испытал голода, только мать этого не замечала — еду берегла. И как не беречь? Она работает одна, а дедушка Игнатий и они, Алешка с Ванькой, нигде не работают, баклуши бьют, как говорит дедушка. Он совсем немощный, все лежит на печи да кашляет.

Ночует дядя Вася на кровати. Мать притащила от соседей белую-белую простыню и постлала поверх набитого соломой тюфяка. Этаким дядя Вася почетный, таких почетных у них в избе сроду не бывало.

А они трое — мать, Алешка и Ванька — как всегда ложатся на полу. Для тепла мать раскидывает плохую одежонку и засыпает с Ванькой в обнимку, а Алешка ворочается без сна с боку на бок. Ворочается и дядя Вася. У него, наверное, тоска по городу, по жене, по детям, разные взрослые расстройства. У Алешки нет таких расстройств, но своих горестей тоже хватает. Мать его не любит, но это еще ладно — из-за отца. Если она невзлюбила отца, то сына, похожего на него, тоже должна. Но Алешку и в школе без конца дразнят: — Шкарин идет, Шкарин!

Вера Викторовна, учительница, что ни день, мучает его писанием букв мелом на доске. Никого не мучает, только его. Наверное, потому что за него некому заступиться. За Ваньку мать бы заступилась, а за Алешку и не подумает.

— Пока не научишься, Шкарин, выводить буквы, так и будешь у доски торчать,— грозитя Вера Викторовна.— Дома не пишешь, бездельничаешь, так здесь пиши.

А когда ему писать дома — он у матери на побегушках. Лежит и лежит Алешка с открытыми глазами. Месяц светит так, что все в избе видно, даже видна на печи дедушкина белая голова.

3

Поутру дедушка Игнатий затеял с дядей Васей беседу. Дедушка прожил на свете много-много лет, так много, что если сложить годы Алешки, Ваньки, их матери и дядины, все равно будет меньше дедушкиных. Он давно, еще при старом режиме, служил в городе. Недавно он будто в шутку проговорился, что ему недалеко и до сотни. И при этом у него сохранились память и рассудительность. С теперешним городским он говорил ничуть не приниженно, а на равных.

— Бают, в Лукьянове все приречные старые постройки перенесут к казенному пруду, а у реки поставят завод железо ковать? — спрашивает дедушка.

— Перенесут,— кивает дядя Вася.— Понадобилось перенести. Когда понадобится, на все идут.

— А рядом с нами, в Саврасове, прямо на лугу, вроде льнозавод будет, много земли займет? — продолжает дознаваться дедушка.

— Будет и льнозавод. Собрали ленок, лучше на месте и обделать, чем везти куда-то.

— Так-то оно так, но ведь округу загадят,— сомневается дедушка.— А человек кормись и скотину-птицу корми как хошь. Это в расчет берут или не берут?

— Берут,— уверяет дядя Вася.— Но бывает, одно с другим не сходится.

Дедушка Игнатий все живое жалел, как жалел и Алешка, возможно, по примеру дедушки. А Ванька ничего не жалел, и дедушка называл его живодером.

— Вырастешь, Ванька, тебе только на бойне и место. Ножик в руки, и айда кромсать по живому!

А еще дедушка Игнатий без стеснения сказал дяде Васе, что тот в городе все годы живет нахлебником, а такая жизнь пустая и нечестная. Над этим дядя Вася только посмеялся:

— По-твоему, дедушка, и тысячи тысяч городских

все поголовно нахлебники? Работаем же мы, понимаешь? Трудимся!

Будто испугавшись своей смелости, дедушка полез на печь и уже оттуда, как бы повинившись, просипел:

— Да и сам-то я дважды за свою жизнь в нахлебниках побывал. Впервой — в молодости, по неразумению, а теперь в старости. Не пашу, не сею, не убираю, а хлеба давай. Такие-то мои дела, запечные!

На дядю Васю дедушкины слова сильно повлияли — он насупился, позвал Алешку побывать на другом порядке. Зыбким мостком они перешли реку. Солнце било в глаза. Дядя Вася отворачивался от света, Алешка же бежал без картуза, и хоть бы что. Ему представлялось, дядя Вася потому боится солнышка, что в городе его и не бывает — заслоняют высокие дома.

На главном порядке Алешка показывался редко: боялся тамошних ребятишек — озорник на озорнике. В школу, правда, сходились все в одну — с обоих порядков и с Малиновки, дальнего открьлка. Драк не бывало: школа стояла на ничейной земле, на берегу Шнары. Алешкина мать на главном порядке бывала часто: там у нее живет двоюродная сестра. Иногда брала с собою Ваньку, Алешку ни в какую:

— Только и не хватало, Шкарина тащить!

Будто он маленький.

А тут все наоборот — дядя Вася не взял Ваньку, хотя тот все время у дяди на глазах, а взял Алешку.

Поднявшись в гору, они нырнули в улицу. Улицы тут получше и покраще, чем на ихнем захудалом порядке, есть и особенная, каменная, постройка — колхозная контора. Людей не было видно: в будничный день все работают, только Алешка с дядей Васей прохлаждаются. Алешке неловко стало: дядя Вася на отдыхе, а Алешка пропустит уроки. Подошли к старому, обнесенному живыми ветлами будто изгородью пруду с зеленоватой, застойной водой. Здешние ребята постоянно хвастаются, вроде в пруду полно рыбы — пескарей, огольцов, плотвы. Столько-де всего водится, лишь лови да жарь. Но Алешка своей сельской рыбы еще не пробовал. В пруду ловить и не думай, а в реке все живое уморили мокнущие конопли. Дедушка Игнатий, когда потверже и попроворней был, пробовал восстать, чтобы конопли мочили не по всей реке, а лишь в непроточной старице, но никто его не послушал. Последних огольцов

в реке видели позапрошлым летом. Алешке бы в самый раз убедиться, правду ли говорят ребята о прудовой рыбе, но дяде Васе до этого не было никакого дела — повел Алешку к середине порядка. Остановившись возле большого, выпирающего из земли камня, с печальным вздохом проговорил:

— Тут я и жил.

Алешка избы рядом не увидел, а увидел лишь кусты бузины и целый лес крапивы.

— Где, дядя Вася?

— В пяти шагах от камня стояла наша изба. У тебя же есть изба, и у меня была. Без своей избы нельзя жить.

Алешка пытался представить, как бы ему жилось без избы, и не мог. Летом он изредка ночевал на опушке леса или в пустующем поле, когда пас колхозных лошадей, но все равно помнил, что ему скоро в свою избу. И хотя там нет отца, а мать всегда сердитая, однако изба бережет его от холода и дождя. Здесь же и дедушка Игнатий, с ним-то у Алешки лад.

Стороною проходили бабы, не знавшие ни дядю Васю, ни Алешку. Лишь одна, седая и сгорбленная, приглядевшись к дяде Васе, спросила:

— Не Илюхин ли будешь?

— Илюхин, бабушка. Михаила Илюхина сын.

— Похож, вижу, похож, такой же большеносый и востроглазый. А Мишки, чай, и живого нет?

— Нет, бабушка, похоронен на городском кладбище.

— Почему же ты так распорядился, сынок, на городском положил?— понедоумевала старуха.— Туда бы вез, где он родился. Денег на перевозку пожалел, что ли? Али забыл, где человек ни живет, как ни мыкается по свету, а спать вечным сном надо дома. И матери, Марьи, нет?

— Нет, рядом с отцом похоронена,— ответил дядя Вася.

— Так и должно,— одобрила старуха.— Где хозяин, там и ее место. Как ни живи, что ни ешь, ни пей, исход один. Тщета наша...

Что-то еще бормоча, она поковыляла вдоль порядка.

Дядя Вася еще посидел на камне, понаблюдал. Встряхнувшись, поднялся, и они направились назад к мостку.

В то утро, как уходить в город, дядя Вася снял с руки часы и пристегнул Алешке:

— Носи и береги время.

Первый раз Алешке подарили. Кто прежде ему что давал? Отец никогда ничего, мать и подавно. Дедушка Игнатий и дал бы, но нечего. А тут часы, и не какие-нибудь, а со стрелками. Блестят-то! Приложил к уху — тикают. Одного он не понял, почему следует беречь время, а не часы. Их запросто могут стащить, а кто украдет бесплотное время?

Оставив дядю Васю одного в избе, Алешка вылетел на улицу. На бегу всем показывал: часы у меня, ох, часики!

Они сверкали, слепили ему глаза, как маленькое солнце.

В тот день, хоть и с опозданием, он пошел в школу, и там все пялили глаза на его настоящие часы. Часики были и еще кое у кого, но лишь игрушечные, с мертвыми стрелками. Часы он то и дело подкручивал, чтобы ходили без остановки.

Лишь учительница Вера Викторовна не хотела замечать его подарка. Она как прежде, да еще с сердитой присказкой: ага, опоздал, Шкарин! — вызвала его к доске и он писал мелом буквы. Вера Викторовна внушала:

— Убедись, хуже, чем вчера. У одного у тебя хуже. Куда дальше?

За партами смеялись, перешептывались. А Колька Брыкалов, завистник и пустомеля, выкрикнул:

— Получил?

Алешка понуро сел на место. Солнце у него на руке померкло, светило лишь одним робким лучиком.

Дома он дядю Васю не застал. Стало одиноко и горько. Дедушка Игнатий понял настроение внука и с печи утешил:

— Никуда он не денется дядя Вася, опять скоро здесь будет. Поташило его сюда, и поташило не куда-нибудь на чужую сторону, а туда, где родился.

Пристал Ванька:

— Дай, братка, часики поносить.
— Разобьешь или потеряешь.
— Ты не разбиваешь, а я разобью! Попросишь, сразу и отдам.

Мать вечером взяла у Алешки часы:

— Не жадничай, пускай ребенок наглядится.

А Ванька вовсе не поглядеть взял, а баловаться, как пустой безделушкой. Алешку разобрала такая обида, что захотелось уйти к отцу в город. Плохим ему отец не казался. Мать же об отце свое несла: гуляка, глупый, мот, болтун, лентяй. Кто допытывался, говорила, почему разошлись:

— Толку-то от такого! Зачем он к нам жить перешел, разве непонятно? Я, дура молоденькая, думала, он жить по-людски будет. Мамоньку-покойницу настраивала: хороший он, душевный, работающий, вас, стариков, кормить-поить до самой кончины намерен. Сперва вроде так и было. Дома он не сидел, деньги все до рублика в семью приносил, детишек помнил. А потом как покати, как покати, пыль столбом! Все ему в избе чужое, ничто не любо не дорого.

— Он же не пил,— сомневались люди.

— Пил, еще как пил-то! — уверяла Евдокия.

Дедушка Игнатий не очень-то горячо, правда, осуждал дочь, говоря при случае, что мужик ей попался неплохой, только и надо было ей за него держаться. Теперь-то каково одной бабенке двух сыновей поднимать?

Она свое:

— Останься у меня на руках тройка, я все равно бы разошлась. Опостылел он мне, опостылел, и все!

— Но ребятишкам отец нужен.

Евдокия обращалась к Ваньке.

— Разве тебе нужен такой тятка?

— Нет, не нужен,— твердо отвечал Ванька.— Никак не нужен!

Хотя Алешку мать и не спрашивала, он совался:

— А мне тятка нужен. Не воротится, к нему уйду.

— Иди, живите вместе, два Шкариных, непутевых,— горячилась мать.— Он еще разок женится, а мачеха выгонит тебя из дому скитаться. Зачем ты ей? А я не приму, и не думай!

— И не принимай, мама,— поддержал ее Ванька.— Без него нам лучше. И часики мне навсегда достанутся.

А тут еще дедушка Игнатий тяжело захворал — сразу надломился и ослаб. И во двор ему выйти до ветру стало в большую неволю. Голос вовсе запал.

— Будь добрый, пособи, Алешка. Ноги не таскают, дыханья вовсе нет. Пособи! Да меня-то не бойся, дурачок, я как-никак все еще чуть-чуть живой. И каждый в конечный момент становится всем в тягость.

Алешке представлялось, он-то никогда не будет хилым и старым. Болеть он болел, и не раз, но живо от болезни не оставалось и следа.

Опасался он брать дедушку под руку. Рука у него худая, одни кости, и холодная, жилы толстые и тугие. Дедушка Игнатий ощупью находил под ногами ступени крыльца и спускался во двор на солому.

— На мостке, Алешка, побудь, пока я тут.

— Вовсе бы не выходил, дедушка, — жалел его Алешка. — Я бы ведро плохое подал, пока мамки дома нет.

— Еще чего выдумашь! Не совсем слег без движения. Люди ведь, по избе дух пойдет.

Наступил скоро день, попробовал дедушка сам с печи спуститься, ан не вышло. Все же с Алешкиной помощью сполз на пол. Лицо серое, руки повисли, как плети.

— Ша, Алешка, нету, считай, Игнатия, нету, как не бывало. Почему заморгал? Не реви, старикам уготовано умирать.

К закату он тихо, без мук, кончился. Испугавшись покойника, Ванька убежал из избы. С улицы уже слышался его голос:

— А у нас дедушка Игнатий помер.

Сиротливо стало Алешке. Скребло на сердце: дедушка хоть слово, бывало, за него молвил. Он спросился у матери:

— К тятеньке в город слетаю. Пускай узнает, нет у нас дедушки.

Неожиданно мать раздобрилась:

— Не торчи дома, скройся из моих глаз.

На крыльце при обоих ребятишках она взывала:

— Нету больше мово тятеньки, нету у нас наставника и радетеля. Как и жить будем, сиротинушки? Откуда умного слова ждать? Оеньки, ой!

Ванька прижался к матери, утешил ласково:

— От тебя ни на шаг, мама, с тобой к мертвому де-душке ворочусь.

— Ах ты, мой пригожий, душевный, сынок ты мой,— умилилась мать.

— И убиваться нечего, дедушка старенький-старень-кий,— рассудил Ванька.

— Старенький, а жить хотелось,— сказал Алешка, но его слова остались без ответа.

Ванька с матерью скрылись в избе, а Алешке туда было не надо. Задами своего двора он вышел на город-скую дорогу. Всю ее пешком он никогда не проходил, проходил едва половину — до деревни Сонинки. По сто-ронам дороги лежала голая земля — ни деревца ни кус-тика, лишь тягуче ноющие телеграфные столбы. Алешка прикладывался ухом, думая различить слова. Ему слы-шалось: у-уль-и, у-уль-и... От столба к столбу шел он по сухой ровной дороге. Туда и обратно сновали маши-ны. На гул он оборачивался, надеясь увидеть отца, но по кабинам сидели незнакомые дяди, коим до Алешки не было дела. Грузовик вез на бойню старую, со сбиты-ми рогами корову. Пожалел ее Алешка: пускай бы жи-ла да жила. Приходил к ним однажды дядя Гриша, муж материной сестры Александры.

— Которую будем, Евдокия? Эту? Ишь, какая ясно-глазая! — Схватив за голову овцу Липу, он подмял ее под себя, одним махом перерезал горло.

Потом как ни в чем не бывало встал, вытер окровав-ленный ножик соломой, сказал:

— Затихнет, обделаю.

Сбежав со двора, расстроенный Алешка долго но-сился по порядку: ему все слышался жалобный овечий крик.

Когда пришел домой, там ели жареную на свежем овечьем сале картошку. Дядя Гриша пил вино и, крас-нолицый, сытый, похваливал:

— На базаре, Дуня, немалые деньги выручишь. Ба-ранина добрая, душистая.

— Гоже, поболе бы взять,— отозвалась мать, пере-жеывая картошку.— У Ваньки одежонка поистрепа-лась, и в хозяйстве полно прорех. Беда наша!

Об Алешкиной одежке ни слова, хотя она намного хуже Ванькиной.

Из-за холма показался город — весь как на ладони.

Белые дома кучно стеснились вплоть до дымящей трубами и поездами станции. В частых тополях прятались кресты старого городского кладбища. Кончились тополя, потянулись обочь дороги деревянные дома. В открытое окно на Алешку уставилось заспанное женское лицо.

— Тятьку бы мне отыскать, Шурку Шкарина,— несмело сказал Алешка.

Лицо поморщилось, трескуче отозвалось:

— Кого-кого тебе, мальчик? Да он кто — судья или милиционер, что его должен весь город знать?

Окошко сердито захлопнулось.

Добрел Алешка до железной дороги, спрашивая всех встречных про отца, однако ни один его не знал. Проголодался, поташнивало, еле переставлял ноги. Одно твердил:

— Тятьку, Шурку Шкарина, не знаешь ли?

Время повернуло с обеда, а отца нет и нет. Никудышные дела у Алешки.

На его удачу у реки остановился грузовик. Парень в кумачовой рубаше вылез, хотел спуститься с ведром за водой. Алешка остановил:

— Тятьку бы мне.

— Ищи, найдешь, не самый ты маленький.

— Сколько ищу, на глаза не попадается, вот диво!

— Кто он?

— Шкарин Шурка.

— Шкарин, говоришь?

— Ага. Ушел от нас с браткой.— У Алешки появилась слабая надежда.— Его мамка прогнала, он и ушел.

— Не знаю, как и быть.

— Тятьку не знаешь?

— Знать-то Шкарина знаю, но денек у него ныне особенный, не рабочий, словом, денек. Попадешь ты к нему некстати, и будет тебе плохо, а ему еще хуже. Откуда ты притопал?

— Из деревни, от мамки,— ответил Алешка, не понимая, почему шофер вдруг замялся.

— Не отправила ли тебя мамка со своей бабьей целью — образумить отца? — вдруг осенило парня.

— Ничего подобного, я сам ушел, соскучился по тятке. Когда он с нами жил, каждый день я его видел. А ушел, и будто мы чужие друг дружке. Едет, бывает, нашей деревней, мимо избы прошмыгнет... Вот мне и надо.

— Ладно, надо, так надо! — решился шофер, ударяя Алешку по плечу ладонью. — Со мной поедем, довезу, куда требуется.

Он мигом слетал с ведром к реке, и они помчались, благо и ехать было считанные минуты.

7

У Шкарина старшего готовилось нечто вроде свадьбы: свою первую, с Евдокией, он, было время, плохо или хорошо, отгулял, а тут замышлялась вторая. Жил он в городе пока стесненно, в малой отдельной комнате, платил хозяйке тридцатку в месяц. Хозяйка Полина Венедиктовна, полная дама, повторную его женитьбу одобрила:

— Не вздумай, Шура, идти на попятную. Соня не ошиблась, привязалась к тебе, да и мудрено не привязаться. Ты старательный, на работе тебя вон как выставляют — на красной доске ты первым номером.

На предстоящие пиршества Шкарин потратил немало денег.

— Только ради Сони, а так бы я еще погодил. После первой горькой женитьбы, вторая бы поперек горла: можно шутя другой раз наколоться. А что, Венедиктовна, по-твоему, можно или нельзя?

— Можно, как не можно, — кивнула седой головой хозяйка. — Еще как, поглядишь, накалываются! Знала я одного, до тебя тут проживал, Феденька, примерный такой мужчина. Не курил. Если и выпивал изредка, то самую малость. Вино живости ему прибавляло. Словом, человек самый что ни на есть показательный. Начнет, бывало, раскрываться. Как думаешь, Венедиктовна, достоин я лучшей женщины или нет? А почему бы, говорю, бери и лучшую, ты ж и сам не из последних. И правда, привел. Лишь напрасно он говорил про нее, будто самая лучшая из всего города. Пожила немало, видать, во всяких удовольствиях. Эх, думаю, Феденька, любовь-то, и верно, слепа! И первый ее вопрос ко мне, когда вдвоем остались: «А куда Федя деньги прячет?» У меня делов-то до его денег, делов-то! Знать, говорю, не знаю, где у него деньги и много ли? Может, и денег никаких нет, меж пальцами просыпаются. «Как так нет, он же обещал?» — ворчит. Вскоре переселились они ближе к

главной площади — вертеться у всех на виду ей пожелалось. Но вместе они недолго прожили.

— У нас так не должно, — предположил Шкарин.

— Нет, не должно, — уверила Полина Венедиктовна. — Только и не хватало, чтобы так.

Лишь успели они переговорить, как сама Соня будто тут и была — молодая, оживленная. Возможно, предстоящая жизненная перемена воодушевила ее. Шкарин же был гораздо старше Сони, и поработал немало. Лишился отца маленьким. Обличье у него огрубелое, как у полевого камня, лишенного непогодой гладкости, усеянного выбоинами и трещинами.

А Соня в жизни ничего тяжкого не видела. Она и замужем ни дня не была. Единственное прежде увлечение не принесло счастья, но дало опыт и умение вести себя сообразно обстоятельствам и собственному настроению. Она хоть и была почти всегда оживлена, и веселая игра замечалась у нее в глазах, но все же то была деланная живость и напускная игра, идущие не от сердца, а от рассудка. А рассудок ей подсказал, что Шкарин здоров и силен, водит машину, немало зарабатывает, и жить с ним будет не так плохо. Был он когда-то женатый, но что за беда? Может, даже и лучше: будет ценить Соню.

Влетев радостная и нарядная, Соня сразу попала к Шкарину в объятия, и они стали дурачиться, как дети. Оборвав игру, она удивилась:

— Ба, Шура, ты всего-всего накупил, хоть сразу гостей приводи. Много ли твоих будет?

— Ни одного, — ответил он. — Ты же знаешь, я круглый сирота с малолетства. Что-то было с войной связано. Брат и сестра живут далеко, ехать не пожелают. Между прочим я и сам ни у кого из своих не бывал на свадьбе.

— И пусть, пусть ни одного, — дурашливо забила в ладоши Соня. — Моим больше достанется. Они любят и выпить, и закусить.

— Не мало ли припасено? — усомнился он. — Так я еще прикуплю.

— Еще, еще, Шура!

Тут-то под самое окошко и подкатила машина. Через мигнуто мальчишечья головенка робко просунулась в дверь. Увидев сидящего с чужою тетей отца, Алешка оробел и попятился. Глаза его уже не видели ни отца, ни женщину. «Не нужен я тятке, ничуть не нужен!»

Шкарин старший замер. Чего угодно ожидал он, только не появления сына. Пожалуй, Евдокия разнюхала и послала.

— Алешка, ты?

— Ага, к тебе вот... А у нас дедушка помер.

Отец поначалу не понял, о каком дедушке речь:

— Не то, Алешка.

— То самое, дедушка Игнатий, говорю, кончился,— глухо сказал Алешка, едва не заплакав: ему стало нестерпимо жалко дедушку, даже неживого.

— Ну-ну, Игнатий Михалыч,— с печалью отозвался Шкарин старший.— Хворал или так?

— Не жаловался. Лежание его одолело. Ничего не болит, а встать не может... Послезавтра, мамка сказывала, закапывать понесут.

— Так ты не звать ли меня?

— Нет. Да если и позову, не пойдешь. Мамка меня проводила, чтобы я не мешал дедушку обмывать да наряжать на тот свет.

У Шкарина старшего возникло минутное сомнение: «Как быть, перенести мое дело или пускай, как есть, там похороны, здесь моя веселая женитьба? Правда, правда, мне ни к чему, но как быть с Алешкой?»

— Добрый старик был, мне вреда не сделал,— сказал Шкарин старший.

— Он тебя тоже хвалил, я сам слышал,— сообщил Алешка.

Теперь-то он видел, что помешал чему-то для отца важному. Тетя здесь не зря.

— Женишься, тять? — вдруг спросил Алешка.

— Вон ты про что! — неловко засмеялся отец.

Алешка видел припасы на подоконнике и по углам, и у него потекли слюнки. Конфеты, рыба, колбаса, пряники, сладкое питье в бутылках. Попотчует отец или и не подумает? Где там! Куплено не для того, чтобы раздавать налево и направо.

Они стояли друг против друга — маленький и большой, деревенский мальчик и городской, одетый для гулянья мужчина. Один думал, что оставаться тут ему нельзя и совестно — он незванный, лишний. А другой соображал, как отослать малыша к матери. Лучше, если он сам уйдет, а отец только проводит.

Устроилось само собой — Алешка сказал:

— До свидания.

Отец вышел следом, но Алешка остановил:

— Сам знаю дорогу.

Тотчас перестали течь голодные слюнки. Зато хлынули неостановимые слезы. Алешка не видел улицы, на ходу утешал себя: домой, домой. Все равно без него дедушку не похоронят, а отец тут пускай как знает.

8

Давно нет дедушки Игнатия. Бывая в городе, Алешка с чувством неловкости проходил мимо дома, где живет отец. Только однажды увидел его Алешка в машине. Отец гнал огромный, как дом, грузовик, груженный известкой — следом вилась белая пыль. В другой раз Алешка увидел женщину, которая когда-то сидела у отца в комнате. Теперь она катила белую детскую коляску. «Вон что, у меня в городе сестренка или братишка!» — подумалось Алешке.

Брат его Ванька в школе учился прилежно, учительница его хвалила: примерный, тихий. Похварывавшая Евдокия заботилась об его учении:

— Из тебя, Алешка, ученого все равно не получится, никуда ты по этой дорожке не пошел и не пойдешь, а Ванька пойдет, в школе только о нем и говорят. Но ему не выучиться, средств не хватит. И пожалуй бедного некому. Я, видишь, больше лежу, а с отца какие деньги? Он приспособился — работает, где поменьше платят.

У Алешки доброе сердце и большая забывчивость: он не помнил зла ни на мать, ни на Ваньку. К тому же и сам видел, шибко ученым ему не быть. А тут еще и председатель колхоза, Матвей Спиридонович, пристал:

— Подрос и окреп ты, Алексей, так и выручи нас. Куда ни кинь, нет рук. Мы тебе дело бы на выбор дали. Скажи, куда хочешь?

Даже для виду не поупрямился Алешка:

— К лошадям лучше всего.

А председателю думалось залатать совсем другие дыры:

— Нежелательно бы, слышь-ка, Шкарин. Дело такое: что нам дают лошади? Пашем и сеем машинной тягой, возим и скирдуюм опять же моторной техникой. Конечно, и на лошадей кое-что падает, лишь не самое первое. — Пятерня прошлась по затылку. — Но ладно, для начала иди на конный.

Евдокия порадовалась его постоянному делу, несмотря на хворь, сготовила отдельно для него обед:

— Отныне ты наш коренной работник. Ваня, чти своего выручателя.

На каждодневных работах Алешка не замечал, как катилось время. Тайком стал подбривать усики. Девки, прежде не жаловавшие его почетом и вниманием, стали поглядывать на него с надеждой, называли его не Шкариным, а Алешей. Не любил он толкаться среди парней и девок. Сядет в сторонке на бревно и думает, как это выходит на свете, что в какой-то момент человек остается один. Все было вокруг много людей, и вдруг один. Работает, работает, получает деньги, несет матери. Она прячет в сундук:

— Целее будут.

Другую неделю Ваньки нет дома — уехал в большой город учиться. Прислал, не пожалел денег — они Алешкины! — телеграмму: поступил, помогайте. Евдокия мигом на почту: шлет опять же из Алешкина заработка.

У него свои заботы. Ходил он, ходил вечерами на гулянку, и приглянулась ему девка, Анночка, не своя, приезжая, саратовская. Девка по обличью как девка, но для него самая лучшая — глаз с нее не сводит.

— Почему, Леня, на меня устался?

— Куда-то надо, на то и глаза.

Случилось, остались один на один. Идут ночной улицей, молчат, а назавтра Евдокия прознала — без наблюдателей ничто не обходится, — взялась отчитывать:

— И что придумал, Алешка? Зачем нам такая-то? Ни избы, ни курицы. Неизвестно, какая и кто у нее отец с матерью. Ныне у нас, завтра засверкала пятками. Облопошит она тебя, увезет.

Он по-своему собою располагал: «Как бы не так! Почему же я супротив себя пойду? Ничего-то нет в Анночке плохого, одно хорошее...»

Матери он про свадьбу, а она:

— Никакой свадьбы не будет. У нее родных нет, а я хвораю.

Пришлось им лишь записаться в сельсовете.

Привел Алешка жену в избу.

Приутихла Евдокия, не ругалась: все же Алешка денег давал — на Ваньку, чтобы учился, и самой матери,

чтоб жила. Болезнь у нее не унималась. Поехала она в район. Обследовали ее доктора, намекнули, что лучше не будет, лишь хуже бы не было. Воротилась вконец расстроенная:

— Обуза я для тебя, Алешка, еще какая обуза-то! Но будет ли он прибавлять ей расстройства?

— Никакой обузы и нет. Если такое дело, лежи. Хворь поселяется, у нас позволения не спрашивает.

9

Приехал побывать на два дня Ванька. Его и звать Ванькой стало неловко. На голове высокая темно-синяя фуражка с белой кокардой-«кочанком», на крепком теле черный мундир с блестящими пуговицами. Ходил по порядку с поднятой головой, только и справлялся:

— А там что такое? А это кто?

Будто свою деревню впервые видит.

Когда одноподервенцы примерно его лет любопытствовали, где Ванька там трудится и по какой должности, он с достоинством отвечал:

— На самоходке «Герой-матрос Сергей Назарук» младпомом.

А что за младпом, какие у него права и положение среди команды, не пояснял. Зато подробно описывал свой корабль, какая у него длина-ширина, на сколько метров уходит в воду при полной загрузке и какая сила толкает его идти.

О своем житье на воде говорил возвышенно:

— У нас свой повар. Еда по нашим заказам и желаниям — каждому свое. Я, примерно, пристрастился к спаржевому супу. Не слышали? Э-э, на большой! Плаваем автономно, ни от кого не зависим, другим помогаем при случае. Пристаем к берегу изредка, чтобы разгрузиться, взять еду, папиросы, мороженое и еще кое-что для жизни. Самое плохое, если долго стоим на якоре посередь Волги, много часов ни с места. Девчонок ни одной. Скука!

— Можно бы и жениться,— советовали ему всерьез.— Разве мало путешественниц?

— На каждом шагу,— подтверждал Ванька.— Но глаза при такой жизни разбегаются: эта хороша, а та еще лучше. Выбери попробуй!

Евдокия глядела на него зачарованно:

— Отдохнул бы, Ванюша, поел бы.

Увидев на руке у Алешки часы, подаренные ему давно-давно дядей Васей, погордился, засучил рукав белой рубахи:

— Гляди сюда, брат. Часики «Полет» называются. Хочешь знать фирму? Москва! Без малого полсотни выложил. Деньги у меня всегда есть. Даже сразу и не поймешь, ходят или нет. Никакого звона-звука!

Уезжая — пешком до станции семь километров, идти не захотел, — позвонил в город, чтобы прислали такси. Мать при проводах убивалась:

— Может, и не свидимся боле, Ваня, плоха я стала, никуда не пожусь.

— Нет, мама, ты у меня еще молодчина, надеюсь на тебя!

За всякого вида помощь не сказал Алешке спасибо. А тот, отнюдь не ради подковырки, спросил:

— Не выслать ли еще когда деньжонок?

— Больше, брат, ни рублика не возьму, — наотрез отказался Ванька.

10

Вскоре после его отбытия Евдокия и вовсе слегла. Силы неумолимо покидали ее, глаза потухли. Алешка не жалел времени, ходил за нею, подавал есть и пить. Кое-что по мелочи делала и жена, но признавалась Алешке:

— Не могу, сам должен понять.

— Брезгуешь. Понимаю, тебе она чужая, а мне мать.

Запряг он в дрожки самую лучшую лошадь, Опушку, и поехал к известному районному доктору Вадиму Сергеевичу Парину. Поначалу тот отказывался, не мое, мол, это дело по деревням ездить, но затем соблазнился прокатиться хоть раз в жизни не на машине, а на лошадке.

— Вези, вези, — живо сказал доктор, надевая у себя дома шляпу и дорожный плащ. — Подобным образом я никогда не ездил. Летал, плавал, но чтоб на лошади — не было. Читал лишь, как в старое время доктора разъезжали на телегах. Попробую!

Он именно лишь попробовал: когда приехали, Евдокия лежала мертвая. Расстроенному Алешке пришлось тут же везти Вадима Сергеевича обратно. Попутно в го-

роде Алешка подал телеграмму брату о кончине матери.

В ожидании Ваньки усопшую не хоронили лишней день, но он так и не приехал.

Лишь через месяц уведомил Алешку, что не мог выбраться. «Затолкала меня здешняя жизнь, нет воздуха», — сослался он неизвестно на что.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Следы живые	5
Носки своей вязки	96
Пополнение приходит на рассвете	129

РАССКАЗЫ

Девочка на телеге	179
Журавли-лебеди	204
Федотова музыка	239
Часы на руке	249

Литературно-художественное издание

Бодрёнков Иван Михайлович

СЛЕДЫ ЖИВЫЕ

Повести, рассказы

Редактор А. А. Цыганов

Художник В. И. Новиков

Художественный редактор С. А. Трубин

Технический редактор Н. Н. Гаврилова

Корректор В. А. Фокина

ИБ № 958

Сдано в набор 2.10.90. Подписано в печать 13.05.91. Бум. тип. № 1.
Формат 84×108/32. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,28. Уч.-изд. л. 14,123, Тир. 10000,
Заказ 617. Цена 2 руб.

Северо-Западное книжное издательство.
Вологодское отделение, 160000, г. Вологда, ул. Урицкого, 2.
ВППО. Областная типография, 160001, г. Вологда,
ул. Челюскинцев, 3.

Б75 Бодрёнков И. М.
Следы живые: Повести, рассказы. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, Вологод. отд-ние, 1991. — 269 с.

В своей новой книге Иван Бодрёнков возвращается памятью как во времена фронтовые, так и в дни мирные — пристально вглядывается в дорогие и горькие его сердцу «следы живые».

Б 4702010201 — 6—91
М 157(03)—91

84Р7